

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Политическая
Наука **2** *2025*

POLITICAL SCIENCE (RU)

Учредитель: Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук

Редакционная коллегия

О.Ю. Малинова – д-р филос. наук, *главный редактор*, главный научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН; **В.С. Авдонин** – д-р полит. наук, ведущий научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН; **Г. Вольман** – д-р юрид. наук, профессор Университета им. Гумбольдта (Германия); **Д.В. Ефременко** – д-р полит. наук, главный научный сотрудник ИНИОН РАН; **О.И. Зазнаев** – д-р юрид. наук, заведующий кафедрой политологии Казанского (Приволжского) федерального университета; **С.Т. Золян** – д-р филос. наук, профессор Российско-Армянского университета (Армения), профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта; **М.В. Ильин** – д-р полит. наук, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ; **Ю.Г. Корзунков** – д-р полит. наук, и.о. зав. отделом политической науки ИНИОН РАН; **А.В. Кузнецов** – д-р эконом. наук, член-корреспондент РАН, директор ИНИОН РАН; **Е.Ю. Мелешкина** – д-р полит. наук, *заместитель главного редактора*, главный научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН; **П.В. Панов** – д-р полит. наук, ведущий научный сотрудник Пермского научного центра Уральского отделения РАН; **С.В. Патрушев** – канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник, руководитель отдела сравнительных политических исследований Института социологии ФНИСЦ РАН; **И.А. Помигуев** – канд. полит. наук, *ответственный секретарь*, научный сотрудник ИНИОН РАН; **А.И. Соловьёв** – д-р полит. наук, заведующий кафедрой политического анализа факультета государственного управления МГУ им. Ломоносова; **Р.Ф. Туровский** – д-р полит. наук, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ; **Ж. Фаварель-Гарриг** – PhD (Pol. Sci.), ведущий научный сотрудник Центра международных исследований (CNRS) (Франция); **Цуй Вэнь И** – PhD (Int. Pol.), профессор Ляонинского университета (Китай); **П. Чейсти** – PhD (Pol. Sci.), профессор Оксфордского университета (Великобритания)

Редакция журнала

Научный редактор: д-р филос. наук *О.Ю. Малинова*

Главный редактор: д-р филос. наук *О.Ю. Малинова*

Заместитель главного редактора: д-р полит. наук *Е.Ю. Мелешкина*

Ответственный секретарь: канд. полит. наук *И.А. Помигуев*

Литературный редактор: канд. полит. наук *О.А. Толыгина*

Технические редакторы: *П.С. Копылова, Т.Л. Прокopcук*

Ответственный за номер: канд. полит. наук *И.А. Помигуев*

Издание рекомендовано **Высшей аттестационной комиссией** Министерства образования и науки Российской Федерации и включено в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» по политологии.

Журнал включен в **Russian Science Citation Index (RSCI)** на платформе Web of Science. Издается при участии **Российской ассоциации политической науки (РАПН)**.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации – ПИ NФC77–36084 от 28.04.2009.

ISSN 1998-1775

DOI: 10.31249/poln/2025.02.00

© ИНИОН РАН, 2025

POLITICAL SCIENCE (RU)

Political science (RU) is one of the key Russian periodicals dedicated to the political science. Founded in 1997, it is well known among foreign researchers. The journal is quarterly **published by the Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (INION RAN)** and with the assistance of the **Russian Political Science Association (RAPN)**.

The journal always pays attention to the actual situation in the political science in general and its trends, as well as to the overview and analysis of up-to-date scientific achievements. Articles and other materials dedicated to the methodology are featured in the journal. Informational and research & information sources (abstract reviews, synopses, book reviews, etc.), materials from other periodicals and results obtained by various think tanks and institutes are always published in **Political science (RU)**.

Political science (RU) is included in the list of the academic journals recommended by the **High Certification Commission (VAK)** of the Ministry of Education and Science of Russian Federation. The journal is also in the list of the **Russian Science Citation Index** database of the **Web of Science** platform.

Editorial Board

Editor-in-Chief – Olga MALINOVA, Dr. Sci. (Philos.), chief researcher, INION, (Moscow, Russia); **Deputy Editor-in-Chief – Elena MELESHKINA**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), chief researcher, INION (Moscow, Russia); **Executive secretary – Ilya POMIGUEV**, Cand. Sci. (Pol. Sci.), research fellow, INION (Moscow, Russia); **Vladimir AVDONIN**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), leading researcher, INION (Moscow, Russia); **Hellmut WOLLMANN**, Dr. Sci. (Law), Prof., Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin, Germany); **Dmitry EFREMENKO**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), chief researcher, INION (Moscow, Russia); **Oleg ZAZNAEV**, Dr. Sci. (Law), Prof., Head of Political Science Department, Kazan Federal University (Kazan, Russia); **Suren ZOLYAN**, Dr. Sci. (Philology), Professor of the Russian-Armenian University (Armenia), Professor of the Baltic Federal Immanuel Kant University; **Mikhail ILYIN**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., HSE University (Moscow, Russia); **Yuriy KORGUNYUK**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), acting head of Political Science Department, INION (Moscow, Russia); **Alexey KUZNETSOV**, Dr. Sci. (Economics), Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Director, INION (Moscow, Russia); **Petr PANOV**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), leading researcher, Department of Research of political institutions and processes, Perm Scientific Center of the Ural Branch Russian Academy of Sciences (Perm, Russia); **Sergey PATRUSHEV**, Cand. Sci. (Hist.), leading researcher, Head of Comparative Political Studies Department, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia); **Aleksandr SOLOVYEV**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Head of Political Analysis Department, Faculty of Public Administration, M.V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia); **Rostislav TUROVSKY**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., HSE University (Moscow, Russia); **Gilles FAVAREL-GARRIGUES**, PhD (Pol. Sci.), Senior research fellow, CNRS, CERI (Paris, France); **Qu WENYI**, PhD (Int. Pol.), Prof., School of International Studies, Liaoning University (Shenyang, China); **Paul CHAISTY**, PhD (Pol. Sci.), Prof., University of Oxford (Oxford, United Kingdom).

**ТЕМА НОМЕРА:
СЛОВА И СИМВОЛЫ КАК МЕДИАТОРЫ В ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ**

СОДЕРЖАНИЕ

Представляем номер 9

КОНТЕКСТ

Соловьев А.И. Нарративы в пространстве власти.
Возможности и пределы нарративных политик 18
Януш О.Б., Мухарямов Н.М. Концепты суверенности
в семантической деривации 41

РАКУРСЫ

Ван Я. (Пере)воображая регион: нарративы о «Евразии»
в дискурсе В.В. Путина (2011–2024) 62
Харитонов О.Г., Абдуллаев Ш.И., Пастушенко Е.В.
In verbum veritas: победные фреймы в дискурсивном
пространстве итальянских крайне правых популистов 88
Аватков В.А., Сбитнева А.И. Слова и смыслы
во внешнеполитическом дискурсе Турции 115

ИДЕИ И ПРАКТИКА

Павлов В.В., Павлова А.В. Воспроизводство мифа
об американской исключительности в кинематографе
на примере фильма «падение империи» (Civil War, 2024) 138
Тернов Н.М., Михайлов Д.А. Особенности медиатизации
политических скандалов в современной России 162
Растегаев Д.О. Рутинизация представления
о коллективной жертве как механизм поиска
онтологической безопасности: случай Сербии 182

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ

<i>Муронец В.С.</i> Вперед к истокам: обзор подходов к изучению политических предубеждений больших языковых моделей	204
<i>Туренко К.А.</i> Концепция суверенитета в постколониальной Мексике: либеральные и консервативные толкования	227

С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

<i>Авдонин В.С.</i> Методология контекстуализма, ее достижения и проблемы	248
<i>Малинова О.Ю.</i> Генеалогия Политического величия, или Почему великая держава – не калька <i>great power</i>	258
<i>Жигadlo К.В., Забуга Е.Р.</i> Марсель Гоше – соединяя несоединимое: универсальное и контекстуальное в понятиях «левые» и «правые»	269

**THEME OF THE ISSUE:
WORDS AND SYMBOLS AS MEDIATORS
IN POLITICS AND POLITICAL STUDIES**

CONTENTS

Introducing the issue.....	9
----------------------------	---

CONTEXT

<i>Soloviev A.I.</i> Narratives in the area of power. The possibilities and limits of narrative politics.....	18
<i>Yanush O.B., Mukharyamov N.M.</i> Concepts of sovereignty in semantic derivation.....	41

PROSPECTS

<i>Wang Ya.</i> (Re)imagining the region: narratives of “Eurasia” in the discourse of Vladimir Putin (2011–2024)	62
<i>Kharitonova O.G., Abdullaev Sh.E., Pastushenko E.V.</i> In verbum veritas: winning frames in the discursive space of Italian far right populists.....	88
<i>Avatkov V.A., Sbitneva A.I.</i> Words and Meanings in Türkiye’s Foreign Policy Discourse.....	115

IDEAS AND PRACTICE

<i>Pavlov V.V., Pavlova A.V.</i> Reproducing the myth of U.S. exceptionalism in cinematography: the case of civil war (2024)	138
<i>Ternov N.M., Mikhaylov D.A.</i> The features of the political scandals mediatization in contemporary Russia	162
<i>Rastegaev D.O.</i> Routinisation of the victimhood as a mechanism of ontological security seeking: the case of Serbia.....	182

FIRST DEGREE

<i>Muronets V.S.</i> The basics yet ahead: an overview of the approaches to investigating political bias in large language models	204
<i>Turenko K.A.</i> The concept of sovereignty in post-colonial Mexico: liberal and conservative interpretations	227

FROM THE BOOKSHELF

<i>Avdonin V.S.</i> Methodology of contextualism, its achievements and problems (Review)	248
<i>Malinova O.Yu.</i> Genealogy of political greatness, or why velikaia derzhava is not a copycat of great power (Review)	258
<i>Zhigadlo K.V., Zabuga E.R.</i> Marcel Gauchet – Connecting the unconnected: universal and contextual in terms of “left” and “right”	269

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОМЕР

Предлагаемый вниманию читателей номер журнала посвящен анализу слов и символов в качестве смысловых медиаторов политических процессов и политических исследований. Обосновывая исследовательскую программу, фокусирующуюся на символическом измерении политики, Мюррей Эдельман заметил, что «из всех живых существ только человек реконструирует собственное прошлое, воспринимает условия настоящего и предвидит будущее, основываясь на символах, которые помогают абстрагироваться, отражают, сводят воедино, искажают, нарушают связи и даже творят то, что представляют его вниманию органы чувств» [Edelman, 1971, p. 2]. При этом «символы», конденсирующие устойчивые конфигурации смыслов, с одной стороны, влияют на восприятие социальной реальности, а, значит, на политическое поведение, а с другой – подвергаются оспариванию. Другими словами, они не только играют роль медиаторов, но и являются предметами борьбы. Потребность в изучении символического использования политики Эдельман аргументировал необходимостью принимать данное обстоятельство всерьез, т.е. рассматривать «формирование общих смыслов и их изменение» в качестве «комплексного элемента, опосредующего связь между средой и человеческим поведением» [ibid.].

Мы не случайно берем слово «символы» в кавычки: в рамках исследовательской традиции, заложенной Эдельманом, оно часто используется расширительно [Малинова, 2014, с. 5–12]. Политологи склонны пренебрегать различиями между символами и иными знаками, столь существенными с точки зрения семиотики или философии [Лотман, 2010; Лосев, 1995]. Фокусируясь на социально-коммуникативной функции «символов», Эдельман рассматривал их в качестве знаков, устойчиво конденсирующих смыслы. В этом

отношении он разделял терминологическую конвенцию, предложенную теоретиками символического интеракционизма. Джордж Герберт Мид рассматривал «символизацию» как функцию, обеспечивающую согласование человеческого поведения на более высоких ступенях человеческой эволюции, когда этот процесс осуществляется с участием речи (языка) [Mead, 1956, p. 177–199]. В бихевиоралистской логике языковые символы выступают как медиаторы социальных взаимодействий, обладающие способностью конституировать «объекты, которые в противном случае не существовали бы в контексте социальных отношений, где происходит символизация» [ibid., p. 180]. По мысли Мида, именно закрепление складывающихся в социальном поведении смыслов в наборах символов обеспечивает проективный уровень опыта, возможность целеполагания, ориентированного на будущее [ibid., p. 199].

Хотя формулировка темы, предложенная в этом номере, и отсылает к идеям теоретиков, обосновывавших необходимость изучения «символов» как медиаторов социальных взаимодействий для приверженцев мейстримной позитивистской парадигмы, она не ограничивается таким подходом. Номер включает теоретические и эмпирические статьи, рассматривающие производство и обращение смыслов, сконденсированных в словах и символах, с точки зрения разных методологических перспектив. Авторы концептуализируют *слова* и *символы*, опираясь на теоретический арсенал политической лингвистики, дискурс-анализа, истории понятий и исследований коммуникаций. Их внимание сосредоточено как на свойствах самих медиаторов, так и на особенностях их функционирования в политических контекстах и возникающих в связи с этим эффектах.

Поскольку в таких случаях речь идет об устойчивых смысловых конструкциях, исследователь имеет дело не столько со словами, сколько с понятиями. Слова (лексемы как языковые единицы) находятся в динамических отношениях с выражаемыми значениями (meanings, содержание понятия) и тем, что они означают (объектами реальности, идеями, элементами культурного кода и т.п.). И в общественно-политическом, и в научном дискурсе понятия играют роль инструментов, организующих мышление. По определению Ю. Кагарлицкого и Б. Маслова, «понятия составляют устойчивые структуры, которые позволяют сообществу носителей понятийного аппарата участвовать в совместном толковании и

изменении социального (и природного) мира» [Кагарлицкий, Маслов, 2019, с. 33]¹. Изучение истории понятий как истории связей между словами и идеями, которые могут иметь разное языковое воплощение, позволяет, с одной стороны, обнаруживать изменения в политическом сознании, а с другой – лучше понимать, каким образом слова формируют восприятие реальности. Некоторые из авторов этого номера развивают такой подход как на историческом, так и на современном материале.

Вопрос о соотношении терминов, понятий и описываемых ими феноменов правомерен и в отношении научного дискурса. На этот счет не существует единого мнения. Как отмечал Дж. Сартори, в то время как одни социальные исследователи склонны рассматривать слова как «нейтральные инструменты для выражения мыслей», другие считают слова «инструментами мышления (а не только коммуникации)», полагая, что они «сами по себе ориентируют наше восприятие и интерпретацию» [Sartori, 2009, p. 68]. При этом Дж. Сартори признавал, что СОСТА – Исследовательский комитет Международной ассоциации политической науки по концептуальному и терминологическому анализу – ближе к первой позиции. Этот подход в основном разделяют и авторы данного номера. Однако вторая позиция также имеет немало приверженцев среди политологов, последовательно предпочитающих интерпретирующую парадигму [Bevir, Kedar, 2008; Schwartz-Shea, Yanov, 2012, p. 49–51].

С идеал-типической точки зрения механизмы формирования общественно-политических и научных понятий разные. В рамках мейнстримного подхода научные понятия разрабатываются с помощью логических процедур, приписывающих термину определенное значение, что должно в широких социальных дискурсах вести к исключению «лишних» лексикографических значений, накопленных словами, выступающими в роли терминов [Sartori, 2009, p. 70]. Впрочем, на практике так происходит не всегда: порой обществоведы привносят понятия из общественно-политического дискурса, некритически принимая их расширительные значения. На наш взгляд, именно это произошло со словом «нарратив»: понятие, продуктивно разрабатывавшееся исследователями текстов (литературных, медийных, политических и др.), перекочевало в широкий публичный дискурс, откуда «вернулось» в социально-

¹ Ср. с определением понятий как «единиц мышления» в научном дискурсе у Дж. Сартори [Sartori, 2009, p. 67].

научные исследования, утратив определенность содержания. Впрочем, эта тенденция не должна заслонять усилия исследователей, направленные на более строгую концептуализацию данного понятия, примером чему могут служить и некоторые публикации в нашем журнале.

Интерпретирующий подход, принципиально отказывающийся от универсализирующих понятий в пользу исторически обусловленных, принимающих во внимание перспективы вовлеченных акторов, в большей степени стремится учитывать логику «реальной жизни». Однако и он в конечном счете опирается на процедуры абдуктивной логики, помогающие различать и агрегировать смыслы, приписываемые изучаемым явлениям релевантными акторами и другими исследователями, результатом чего оказываются динамически развивающиеся, но вместе с тем логически упорядоченные понятия [Schwartz-Shea, Yanov, 2012, p. 38–39].

Вне зависимости от принимаемой стратегии формирования социально-научных понятий – разрабатываются ли они «силой логики» исследователя, структурирующего смыслы согласно принимаемым правилам [Sartori, 2009, p. 70], или в результате интерактивной кумуляции интерпретаций, разделяемых вовлеченными социальными акторами [Bevir, Kedar, 2008, p. 507], – используемые для анализа понятия играют роль линз, имеющих вполне определенную разрешающую способность. Это в полной мере относится к публикациям настоящего номера.

Его открывает статья *А.И. Соловьев* «Нарративы в пространстве власти. Возможности и пределы нарративных политик», помещенная в рубрику «Контекст». Для описания политических эффектов публичного продвижения тех или иных нарративов, трансформирующих общественные реакции на заложенные в них ценности и смыслы, автор вводит понятие «нарративных политик». Под этим термином он предлагает понимать «скоординированные акции и интеракции политических игроков, связывающих задачи и основные параметры своей целенаправленной деятельности с применением политических повествований, выступающих решающим инструментом координации и контроля их действий со своими последователями в гражданском и корпоративном секторах общества, необходимой коррекции поставленных планов, своевременного оспаривания пропагандистских стратегий соперников и размывания их политического имиджа» (с. 23). Нетрудно увидеть в этом определении параллели с понятием символической политики в интерпретации С.П. Поцелуева [Поцелуев, 2009] и от-

части – с более широкой интерпретацией, предложенной нами [Малинова, 2012]. Хотя в плане объема понятия «нарративные политики» можно рассматривать как частный случай практик символической политики, с точки зрения содержания это понятие имеет вполне определенную специфику. Во-первых, оно смещает внимание с анализа самих нарративов на особенности их функционирования и на обусловленные ими политические эффекты. Во-вторых, оно подчеркивает роль нарративных конструкций, оставляя за скобками другие способы репрезентации смыслов в политических коммуникациях. Автор аргументирует это радикальным изменением коммуникативных практик: он полагает, что в условиях «нарастающей сложности и разнородности социума» повествовательные конструкции приходят на смену доктринальным (идеологическим) способам организации политических коммуникаций (с. 21). На наш взгляд, это слишком радикальное утверждение. С одной стороны, есть обширная литература, рассматривающая нарративы в качестве неотъемлемых составляющих доктринальной идеологической коммуникации. С другой стороны, в российском контексте активно развиваются коммуникативные практики, в которых нарративный принцип подачи контента заменяется клиповым, транслирующим череду образов, не связанных эксплицитным повествованием, примером могут служить экспозиции российских регионов на выставке «Россия» на ВДНХ в 2024–2024 гг. Впрочем, эти возражения не отменяют необходимости изучения политических эффектов публичных нарративов, а значит, научного вклада обсуждаемой статьи.

Рубрику «Контекст» продолжает статья политических лингвистов *О.Б. Януш* и *Н.М. Мухарямова*, посвященная пролиферации понятия «суверенитет» и его производных в российском публично-информационном пространстве. Они описывают данное явление как «семантическую деривацию», т.е. смысловое расщепление языковых единиц, линейно порождающее иерархические структуры, отмечая, однако, что в силу спорадичности и несистематичности использования рассматриваемого понятия о деривации в строгом смысле слова говорить не приходится. Авторы показывают, как в результате «расползания» понятия за рамки исходного юридического значения появляются новые семантические образования – «концепты-переживания, концепты-события, конвенционально нагруженные символы и, наконец, эмблемы идейных диспозиций» (с. 42). В результате «суверенитет» и его производные

все чаще используются вне общепринятого значения, что ведет к хаотическому расширению объема понятия.

В рубрике «Ракурсы» публикуются статьи, посвященные анализу слов и понятий в политических дискурсах России, Италии и Турции. Ее открывает статья молодой исследовательницы из КНР *Я. Ван*, посвященная анализу трансформации понятия «Евразия» в дискурсе президента В.В. Путина. Предлагая нарративный подход к изучению процесса конструирования региона, автор статьи демонстрирует иной, по сравнению с представленной выше статьей А.И. Соловьева, способ работы с данным понятием. Ван предлагает обстоятельную методологию сравнительного анализа текстов, опирающуюся на герменевтическую теорию нарратива и концепцию нарративного шаблона Дж. Верча. Это позволяет, во-первых, выделить в речах В. Путина три значения слова «Евразия» – государство (Россия), регион (постсоветский) и континент («Большая Евразия»); во-вторых, реконструировать два нарративных шаблона, различающихся моделями построения сюжета и темпорально-пространственных связей – функционально-экономический и цивилизационно-суверенный; в-третьих, обнаружить, что до 2022 г. первый из этих шаблонов использовался чаще, а начиная с 2022 г. одинаково активно стали применяться оба.

Цель статьи *О.Г. Харитоновой, Ш.И. Абдуллаева и Е.В. Пастушенко* – проследить трансформацию дискурса крайне правых популистских лидеров в Италии до и после прихода к власти. Авторы доказывают, что успехи правопопулистских партий связаны с конфигурациями фреймов, использовавшихся для презентации образа «народа». При анализе фреймов использовалась типология, дифференцирующая популизм, разделяющий общество по вертикали (народ против элиты), и нативизм, проводящий водоразделы по горизонтали (инсайдеры против аутсайдеров, определяемым по этническим, расовым и культурным признакам). Оба типа, в свою очередь, подразделялись на позитивный («для» Италии) и негативный («против» врагов итальянского народа). На основе этой типологии был проведен качественный контент-анализ с последующим подсчетом частоты использования тех или иных фреймов. Исследование выявило разные конфигурации фреймов популизма и нативизма и разную степень радикализации правопопулистского дискурса М. Сальвини и Дж. Мелони. По заключению авторов, Сальвини оказался более последовательным популистом, тогда как более прагматичной Мелони удалось найти «золотую середину» между популизмом и нативизмом, что привело ее к победе.

В статье *В.А. Аваткова и А.И. Сбитневой* на примере речей Р.Т. Эрдогана проанализированы дискурсивные конструкции, составляющие основу внешнеполитического дискурса Республики Турция. Особое внимание уделено конструкциям, представляющим Турцию в качестве лидера, мирового «хаба», нарративу о справедливости и формуле «мир больше пяти» (постоянных членов СБ ООН), в соответствии с которой влияние на международную повестку имеют не только признанные мировые государства. Авторы обращают внимание на специфичность интерпретации некоторых общих понятий в турецком внешнеполитическом дискурсе, что, по их мнению, может сказываться на его конкурентоспособности у внешних аудиторий.

Статья *В.В. Павлова и А.В. Павловой*, открывающая рубрику «Идеи и практика», посвящена анализу художественного фильма «Падение империи» (“Civil War”) – триллера-дистопии, действие которого разворачивается на фоне ужасов воображаемой гражданской войны в США. В сюжете фильма авторы обнаруживают материал для критики и деконструкции мифа об американской исключительности. Они пытаются выявить символы, связанные с этим мифом, и проанализировать способы их репрезентации в фильме.

В статье *Н.М. Тернова и Д.А. Михайлова* предпринята попытка обнаружить особенности развития политических скандалов в российских СМИ. Авторы полагают, что скандалы играют ключевую роль в формировании морального облика руководителей и их оценке гражданами. Сортируя категории проступков, упоминаемых в СМИ, они обнаруживают, что центральное место в российской политической повестке играют скандалы, связанные с коррупцией.

Статья *Д.О. Растегаева*, заключающая рубрику «Идеи и практика», развивает теорию онтологической безопасности, которая интерпретирует безопасность как ощущение сообществом себя-в-мире, основанное на предсказуемой социальной среде и устойчивости представлений о себе в прошлом, настоящем и будущем. Одним из механизмов конструирования такой безопасности полагается рутинизация – многократное повторение социальных действий, способствующих вытеснению тревожности. Растегаев предлагает операционализацию этого процесса на примере конструирования образа сообщества в качестве жертвы и апробирует ее, анализируя дискурсы о Второй мировой войне и Югославских войн в современной Сербии.

В рубрике «Первая степень» представлены статьи молодых исследователей. *В.С. Муронец* анализирует литературу по проблеме политических предубеждений, присущих большим языковым моделям (LLM). Он выделяет три подхода к изучению факторов, которыми может быть обусловлена предубежденность LLM – сбор информации при помощи анкет, изучение взаимосвязи между способами составления промптов и откликами модели, и манипуляции с возможными источниками предубеждений. *К.А. Туренко*, применяя методологию истории понятий К. Скиннера, изучает развитие концепции суверенитета в Мексике в 1820–1830 гг.

В рубрике «С книжной полки» представлены рецензии на книги, связанные с темой данного номера. *В.С. Авдонин* делится впечатлениями о втором издании сборника, посвященного теории и практике кембриджской школы истории понятий. Опираясь на предыдущий опыт изучения методологии *Begriffsgeschichte* Р. Козеллека, автор рецензии пытается выделить общее и особенное в этих двух направлениях истории понятий. *О.Ю. Малинова* рассказывает о монографии А. Решетникова «Погоня за величием: тысячелетний диалог России с Западом», анализируя ее в ряду других работ, посвященных истории отношений России и ее Значимого Другого в рамках конструктивистских исследований международных отношений. *К.В. Жигadlo* и *Е.Р. Забуга* представляют книгу М. Гоше о развитии понятий «правые» и «левые» во Франции.

*О.Ю. Малинова*¹

References

- Bevir M., Kedar A. Concept formation in political science: An anti-naturalist critique of qualitative methodology. *Perspectives on politics*. 2008, N 6 (3), P. 503–517.
- Edelman M. *Politics as symbolic action: Mass arousal and quiescence*. Chicago: Markham publishing company, 1971, 188 p.
- Kagarlitsky Yu., Maslov B. Between Frege and Foucault: Methodological guidelines of historical semantics. In: Kagarlitsky Yu., Kalugin D., Maslov B. (eds). *Concepts, ideas, constructions: essays on comparative historical semantics*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2019, P. 9–38. (In Russ.)

¹ **Малинова Ольга Юрьевна**, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела политической науки, Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, e-mail: omalinova@mail.ru
Malinova Olga, INION (Moscow, Russia), e-mail: omalinova@mail.ru

- Losev A.F. *The problem of symbol and realistic art*. Moscow: Iskuststvo, 1995, 320 p. (In Russ.)
- Lotman Yu. M. Symbol in the system of culture. In: Lotman Yu.M. *What people learn. Articles and notes*. Moscow: Tsentr knigi VGBIL im. M.I. Rudomino, 2010, P. 293–308. (In Russ.)
- Malinova O. Yu. Symbolic politics: the contours of the problem field. In: Malinova O. (ed.). *Symbolic politics. Issue 1: Constructing ideas about the past as a power resource*. Moscow: INION RAN, 2012, P. 5–16. (In Russ.)
- Malinova O.Yu. Temporality and other properties of the symbolic in politics. In: Malinova O. (ed.). *Symbolic Politics. Issue 2: Debating the Past as Designing the Future*. Moscow: INION RAN, 2014, P. 5–17 (In Russ.)
- Mead G.H. *The social psychology of George Herbert Mead*. In: Strauss A. (ed.). Chicago: University of Chicago Press, 1956, Vol. 16, 298 p.
- Potseluev S.P. Symbolic politics: A constellation of concepts for approaching the problem. *Polis. Political Studies*. 1999, N 5, P. 62–76. (In Russ.)
- Sartori J. The Tower of Babel. In: Collier D., Gerring J. (eds). *Concepts and method in social science. The Tradition of Giovanni Sartori*. New York: Routledge, 2009, P. 61–96.
- Schwartz-Shea P., Yanow D. *Interpretative research design: Concepts and process*. New York: Routledge, 2012, Vol. 14, 184 p.

Литература на русском языке

- Кагарлицкий Ю., Маслов Б. Между Фреге и Фуко: методологические ориентиры исторической семантики // Кагарлицкий Ю., Маслов Б. Понятия, идеи, конструкции: очерки сравнительной исторической семантики. – М.: Новое литературное обозрение, 2019. – С. 9–38.
- Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.: Искусство, 1995. – 320 с.
- Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Лотман Ю.М. Чему учатся люди. Статьи и заметки. – М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2010. – С. 293–308.
- Малинова О.Ю. Символическая политика: контуры проблемного поля // Символическая политика. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – М.: ИНИОН РАН, 2012. – С. 5–16.
- Малинова О.Ю. Темпоральность и другие свойства символического в политике // Символическая политика. Вып. 2: Споры о прошлом как проектирование будущего. – М.: ИНИОН РАН, 2014. – С. 5–17.
- Поцелуев С.П. Символическая политика: констелляция понятий для подхода к проблеме // Полис. Политические исследования. – 1999. – № 5. – С. 62–76.

КОНТЕКСТ

А.И. СОЛОВЬЕВ*

НАРРАТИВЫ В ПРОСТРАНСТВЕ ВЛАСТИ. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ НАРРАТИВНЫХ ПОЛИТИК

Аннотация. Опыт показывает, что нарративы постепенно превращаются в основной инструмент организации публичного дискурса, обретая субстанциональное значение для всех политических акторов, маневрирующих в пространстве власти. В этой связи возникает исследовательская проблема: как механизмы публичного продвижения политических историй изменяют коммуникативную среду в пространстве власти, вписываясь при этом в общеполитический курс государства и влияя на цели конкурирующих с ним акторов, тем самым трансформируя реакцию общества на соперничество заложенных в историях политических смыслов и ценностей.

Одним из способов решения этой проблемы является рассмотрение роли нарративов в поле публичной политики, где последняя понимается как разновидность пространства власти, отражающего конкуренцию соперничающих сил и их целенаправленных проектов. Такой ракурс изучения, соединяющий устоявшиеся в научной литературе трактовки государственных политик с целенаправленным использованием нарративов, позволяет уточнить политический функционал этой когнитивной конструкции, влияющей на общественное мнение и политические изменения.

Методологически решение этой задачи предполагает использование принципов неклассической и неонеклассической методологий с их номотетическими стратегиями, позволяющими связать развертывание политических повествований с акторами публичной политики, а также структурами и механизмами

* **Соловьев Александр Иванович**, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политического анализа, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия), e-mail: solovyev@sps.msu.ru

© Соловьев А.И., 2025

DOI: 10.31249/poln/2025.02.01

политико-административного регулирования. Это позволяет корректно использовать лексику целевого применения нарративов, описывая соответствующие акции структур и институтов через призму конструктивистских, коммуникативных и нарративных подходов, раскрывающих процесс усвоения людьми целевых инвективов и учитывающих трансверсальные связи публичных и латентных акторов, административные и политические методы политического проектирования.

Ключевые слова: власть; пространство политики; публичный дискурс; профанная культура; нарративы; нарративные политики; стратегии.

Для цитирования: Соловьев А.И. Нарративы в пространстве власти. Возможности и пределы нарративных политик // Политическая наука. – 2025. – № 2. – С. 18–40. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.01>

Введение

Как особые когнитивные конструкции, нарративы в отечественном общественном сознании изучаются в рамках различных научных направлений, в частности, предполагающих их рассмотрение как инструментов изучения дискурса и символической политики [Malinova, 2022], описания лингвосемантического и семиотического содержания этого типа текстов [Кириллов, 2007; Шейгал, 2007; Помигуев, Прокопчук, Кошкин, 2024] (включая характеристику их вербальных и иконических компонентов [Подшибякина, 2021]) или же рассмотрения их как средств «выразительности» замыслов человека в его речевом общении [Мусихин, 2024]. Однако существуют и работы, выходящие за рамки коммуникативного формата и связывающие нарративы со специфическими политическими процессами, например, с парламентскими дебатами, рассматриваемыми в качестве фазы формирования правительственной повестки [Ульданов, 2024]. Такое направление расширяет методологическую рамку изучения нарративов, рассматриваемых не только как «убедительные рассказы, преследующие... политическую цель» [Shanahan et al., 2011, p. 540] и которые побуждают соответствующую активность человека, апеллируя к его повседневным интерпретационным стандартам, не требуя при этом использования сложных когнитивных механизмов и навыков вычленения смыслов, содержащихся в политических явлениях, но и как средство, используемое в целеполагающей активности *всех* политических акторов. В этом контексте, раскрывающем их собственно политическое значение (аттестующее конкурентную среду в сфере завоевания и применения власти), нарративы выступают как те смысловые конструкции, которые, будучи помещенными в пространство

властной конкуренции, активируют их определенные субстанциональные и структурные компоненты и в этом смысле могут рассматриваться как инструменты инициации политических проектов, сопровождения и корректировки их целей, оспаривания позиций конкурентов и т.д.

Так, сторонники оформившейся после работы МакБита (2010) «концепции политического нарратива»¹ (narrative policy framework – NPF) выделяют в структуре нарративов лишь те его элементы (героев и злодеев, сюжетную фабулу и контекстуальные параметры их взаимосвязи, в итоге обуславливающие наличие некоего морального выбора) [Jones, Radaelli, 2015 p. 342], которые порождают политические и поведенческие отклики реципиента на исходные послания и явления. То есть являются необходимыми и минимально достаточными для образования коммуникативных связей в сфере власти. Поскольку исследователи, в том числе сторонники NPF, в основном рассматривают «нарративные политики» как зонтичный термин для изучения дискурсивных практик, появляется задача спецификации этого понятия, связывающая содержание нарративов с политико-административными механизмами осуществления властно значимых целей. В этом плане задача данной статьи состоит в утверждении специфического содержания этих *нарративных* политик, а также выявлении их возможностей при властном позиционировании политических игроков (в том числе и корректировке претензий государства). Учитывая же эпистемическую емкость решения данной задачи, можно говорить только об описании наиболее общих граней этой проблемы, обозначающих лишь контур позиционирования нарративных политик в пространстве власти.

Нарративы и нарративы

Хотя ««общество» не может быть объектом эффективного расчета, менеджмента, управления или руководства» [Jessop, 2012, p. 6], государство вместе с другими политическими игроками активно воздействует на массовое сознание для поддержания своих проектов, поощрения социального энтузиазма или же провоцирования «эндогенных вспышек протестной активности» [Epstein,

¹ Другой вариант перевода – теория нарративного анализа политики. – Прим. ред.

2002], направленных против своих конкурентов. В то же время сложность культурного разнообразия общества, сопряженная с постоянным «заражением» человека идеями и ценностями, отражающими «эндогенные уязвимости» его жизненных стандартов [Jessop, 2012, p. 1], требуют от политических игроков постоянного обновления методов влияния на сознание общества, предполагающих «верное» считывание людьми смыслов и ценностей в их политических месседжах. Поскольку же для большей части населения коммуникация с политическими структурами и институтами не является острой жизненной необходимостью, то поддержание таких контактов и связей (в конечном счете обуславливающих характер подчинения или повиновения государственным требованиям) зависит от используемого в дискурсе разнообразия когнитивных инструментов.

Длительное время национальные государства использовали доктринальные (идеологические) способы организации политических коммуникаций. Однако нарастающая сложность и усиливающаяся разнородность социума, подогреваемая динамикой «не-соизмеримых друг с другом культур» [Лихачев, 1990, с. 3], стали выдвигать на первые позиции повествовательные конструкции (нарративы), ранее обладавшие вспомогательной ролью в организации публичного дискурса [Соловьев, 2025]. Предлагая людям бесхитростные доводы и не используя сложную аргументацию и терминологию, эти когнитивные конструкции стали выстраивать в сознании людей прочные символические конструкции интерпретации политических явлений, как прошлых, так и будущих¹. Более того, апеллируя к нормам профанной (бытовой, повседневной) культуры населения и даже «неврологическим реакциям» людей на экзогенные факторы [Berinsky, Kinder, 2006], нарративы позволяли людям эмоционально (порой бессознательно) солидаризироваться с (подчас далекими от их интересов) приоритетами и целями политических игроков², которые использовали «убеждения»

¹ В этом собственно политическом контексте нарративы обладают вполне синонимичным характером с иными повествовательными конструкциями вербального (рассказы, истории, мистерии, сказки, песенный материал) и иконического содержания.

² Как говорил бывший президент США Б. Обама, «Я пришел к выводу, что люди голосуют не на основе политики, даже не на основе фактов. Они голосуют на основе рассказов. И я стал президентом, честно говоря, потому что рассказал довольно хорошую историю о том, какой Америка может быть и должна

людей для того, чтобы «поддержать предпочитаемые ими политические действия» [Tosun, Schaub, 2021, p. 345].

Коротко говоря, мнимое простодушие нарративов (не требующих от человека ни особых компетенций, ни даже политического опыта), не только помогает политическим месседжам проникать в глубокие структуры сознания, но и становится «важнейшим источником понимания политического маневрирования, различения политических идеологий и определения проблем» [Shanahan et al., 2011, p. 536]. Но хотя применение нарративов делает публичный дискурс более открытым для человека процессом (сохраняя гипотетическую готовность к выполнению различных ролей и функций), такое положение ведет и к исчезновению у них потребности в повышении своей коммуникативной компетентности, необходимой для более точной и аутентичной градации политических объектов.

Однако функционирующие в публичном пространстве власти нарративы поддерживают различные и отличающиеся по своему функционалу акции и интеракции политических акторов. Так, NPF-исследователи, различая разработку политики [Knoepfel et al., 2007; Pleger et al., 2018] и ее процессуальные особенности [Weible, Sabatier, 2017], предлагают отличать нарративы и их элементы, «которые фокусируются на содержании политики», раскрывая «ее конкретную конфигурацию» (включая «определение проблемы, политические инструменты, обозначение целевых групп и т.д.»), от тех рассказов, которые вовлечены в реальный политический «процесс», аттестуя в этом случае «жизненный цикл политики», «различные этапы, через которые она проходит», «общественную динамику, разворачивающуюся вокруг нее», «факторы, вызывающие изменение политики», а также иные аналогичные характеристики [Kuenzler, Stauffer, 2022, p. 2]¹.

Коротко говоря, «содержательные элементы политического нарратива относятся к модели реализации политики», а «относящиеся к процессу фокусируются на конфликтах власти в жизненном цикле политики» [ibid., p. 2–3]. Таким образом, «нарративы в

быть» (Obama B. In a German TV interview in November, available at: https://www.youtube.com/watch?v=7B_IN3RbXF8 (accessed: 5 January 2021).

¹ Сторонники такого подхода иллюстрируют эти различия на примере архетипической для нарратива фигуры «злодея», которая в случае причинения боли «жертве» рассматривается в контексте содержательного исследования политики, а в качестве фактора, который «противостоит... целям» «героя», в рамках процессуального подхода [Shanahan et al., 2018 b, p. 343].

части содержания дебатов нуждаются в утверждениях относительно эффективности политики, тогда как политические нарративы в части процесса дебатов могут опираться на личные нападки политических акторов, которые не имеют ничего общего с реальной политикой, которая обсуждается в данный момент» [Kuenzler, Stauffer, 2022, p. 2–3]. Одним словом, проблемы сюжетного наполнения нарративов (оцениваемые с точки зрения их публичной эффективности) качественно отличаются от их процессуальной роли (связанной с сопровождением и изменением повестки, предупреждением рисков, оправданием изменения целей, поддержкой институтов и т.д.). Собственно, второе из указанных направлений анализа и является теоретической платформой спецификации нарративных политик как тех взаимосвязанных и целенаправленных акций политических игроков, которые используют повествования в качестве информационно-символического инструмента мобилизации и координации действий своих сторонников, коррекции планов и оспаривания позиций конкурентов при решении поставленных задач.

В то же время многочисленные исследования процессуальной роли нарративов, учитывая характер различных институциональных контекстов и областей политики и продолжая «уточняться по мере применения NPF к новым областям и контекстам» [Schlauffer et al., 2022, p. 251], сохраняют немалое число проблем, предполагающих их интерпретацию в рамках политико-административных действий государства, групп организованных интересов и прочих акторов, действующих в пространстве власти. Благодаря «методологической открытости» NPF, позволяющей расширять эту теоретическую базу и сочетаться с «иными концептами» [ibid.], можно предложить некоторые подходы, позволяющие уточнить их собственно проектное измерение, расширяющее возможности для урегулирования конфликтов и продвижении инноваций.

Раскрывая содержание *нарративных политик*, мы будем понимать их как скоординированные акции и интеракции политических игроков, связывающих задачи и основные параметры своей целенаправленной деятельности с применением политических повествований, выступающих решающим инструментом координации и контроля их действий со своими последователями в гражданском и корпоративном секторах общества, необходимой коррекции поставленных планов, своевременного оспаривания пропагандистских стратегий соперников и размывания их политического имиджа. Однако многогранное содержание этих политик требует обратить внимание на различные типы повествований, используемых при их

формировании и осуществлении. Хотя ученые признают, что политические нарративы «генерируются и публично распространяются заинтересованными группами, отдельными гражданами, выборными должностными лицами и средствами массовой информации» [Shanahan et al., 2011, p. 542], тем не менее можно выделить всего *три* типа таких повествований, значимых для формирования и продвижения политических проектов.

Прежде всего, к ним следует отнести политические повествования, обслуживающие *целенаправленные* акции (стратегии, отраслевые и территориальные политики, программы, проекты и др.) структур и институтов на макро- и мезоуровнях политической системы, отражающие цели и замыслы отдельных фигур и элитарных микрогруппировок и осуществляемые на различных аренах и площадках публичной политики (накладывающих определенные ограничения на их применение). В их реализации важную роль играют *политтехнологи и эксперты в области коммуникативного менеджмента*. Здесь безраздельно властвуют «стратегически сконструированные рассказы, призванные убедить общество и / или лиц, принимающих решения, в предпочтительном для коалиций [а равно и иных акторов] политическом результате» [Shanahan et al., 2011, p. 536].

Используемые здесь нарративы неизбежно поддерживают общие параметры публичного продвижения политических проектов, сохраняя возможности инсценирования и театрализации политических событий, сокрытия правительством или его оппонентами своих подлинных целей, внезапного «пере-обозначения проблем» [Windhoff-Héritier, 1987], а также другие характеристики политически целесообразных действий структур и институтов, конкурирующих за прерогативы государственной власти. Это касается не только проектов государства, но и стратегий партий и групп организованных интересов (корпоративных игроков), стремящихся использовать нарративы для того, чтобы «создавать господствующие» или разрабатывать «суб- или контргосподствующие смысловые системы», демонстрирующие свои формы «избирательной апперцепции (узнавания и неузнавания)» политических требований [Jessop, 2012, p. 2, 9]. В конечном счете корпоративные повествования становятся «контрнарративами» по отношению к целям других политических игроков и предполагают «критику выбранных реакций» и нарративов, «которые доминировали в коммуникации правительства» [Kuhlmann, Blum, 2021, p. 298].

В ряде случаев используемые корпоративными игроками рассказы могут не транслировать особые политические идеи, но и просто сопутствовать и быть полезными при решении отдельных проблем. Одним словом, заявленные «сверху» нарративы обладают как атрибутивным значением для обозначения экзогенных по отношению к обществу целей и ценностей, так и вспомогательным характером (выступая в виде инструментов осуществления доктринальных установок). Однако в условиях конкуренции даже тот факт, что государство конструирует очертания публичного дискурса, не позволяет утверждать, что «следует *априори* отдавать предпочтение» идеям этого гегемона, являющегося лишь одним из акторов, действующих в этом политическом «семиозисе» с его «интерсубъективными смыслами» [Jessop, 2012, p. 2].

Второй разновидностью влияющих на политическое проектирование нарративов являются мистерии и рассказы, формирующиеся внутри *элитарного корпуса*, чьи представители закладывают в публичные акции структур и институтов собственные интересы и замыслы, корректирующие содержание публичных акций. С одной стороны, производимые правящими кругами истории обладают способностью к масштабированию «защитых» в них партикулярных и корпоративных ценностей и убеждений при помощи институциональных образований. Что в ряде случаев создает риски искажения общественных интересов, институциональных девиаций и приватизации находящихся в их непосредственном распоряжении ресурсов.

Сопровождая различные стадии урегулирования внутри элитарных конфликтов, эти нарративы проявляются в публичной сфере в виде различного рода не всегда обоснованных инноваций, медиакампаний, демонстрирующих «критику общественностью» коррупции и иных прегрешений соперников и конкурентов (стремящихся выдвинуть соперничающие проекты, но уже со своими корпоративными приоритетами). Коротко говоря, инъекции *своих* нарративных политик в публичном поле обусловлены потребностями различных групп правящего класса задействовать массовую активность населения в качестве ресурса повышения своей конкурентоспособности и получения дополнительных общественных ресурсов. Одновременно власти предрежающие решают задачу недопущения «сливов», т.е. просачивания в публичный дискурс вредных для них сведений и подлинных целей политических маневров, наделяющих отдельные персоны «экстраординарными мандатами» при использовании власти (создающие для конкурен-

тов своеобразные вето-пространства). В целом же последствия опубликования микрогрупповых целей (требующих сюжетного обновления политических повествований) простирается от угроз своим конкурентам до имитации целенаправленной политики государственных институтов.

С другой стороны, нарративы, порожденные интересами правящего слоя, подкрепляя групповую «герметизацию» элитарных слоев и их деловых контактов [Смирнов, 2017, с. 17], формируют тот коммуникативный контур, который неразрывно связан с поддержанием их ролевых контактов, а также отношений с бенефициарами (составляющими с правящими слоями особую коллаборацию). Однако эти порождаемые нарративами внутри элитарные коммуникации в ряде случаев превращаются в разновидность политических игр крупных персон, полностью игнорирующих интересы общества и гражданских целей. Тем самым поддерживаемая нарративами «игротека», сохраняя цели окол властной коммуникации, лишается своего подлинно политического смысла.

Крайне важно подчеркнуть наличие и политическую роль мистерий и рассказов, которые образуются в скрытых от общества властных коммуникациях, образующихся в латентной сфере политики [Коньков, 2021; Соловьев, Коньков, 2024]. Нарративы, производимые этими сетевыми ассоциациями, являются неким «коалиционным клеем», позволяющим им поддерживать внутреннюю сплоченность и придерживаться «набора базовых ценностей, каузальных предположений и восприятий проблем» [Sabatier, Jenkins-Smith, 1993, с. 25]¹. При этом, используя неформальные каналы влияния на институты власти, эти «малые миры» способны пре-

¹ По сути, будучи единственным средством общения и предпосылкой самоосуществления функционала правящих кругов, эти нарративы обслуживают их конфиденциальные и недекларируемые контакты в системе государственного управления, наполняя свои политические контакты сведениями, необходимыми для поддержания и усиления своих позиций в зоне власти. Так, к задачам, решаемым на основе обращения нарративов, относится обнаружение угроз безопасности и рисков сохранения представителями элитарных групп своего местоположения (особенно в связи с возможными распознаваниями их несанкционированных связей с бизнес-партнерами за пределами служебной иерархии или криминальной коллаборации с бенефициарами принимаемых ими решений); определение состава конкурирующих группировок и шансов компрометации противников, а также получение сведений, обуславливающих возможности снижения транзакционных издержек микрогрупповой конкуренции и сочетания своих «фланговых» проектов с центральными задачами государственной политики [Соловьев, 2024].

одолевать административные барьеры в аппарате государственного управления и «воплощать эти убеждения в предпочтительную публичную политику» [Shanahan et al., 2011, p. 548].

Одним словом, формируясь вокруг центров принятия политических решений (как основной зоны распределения ресурсов, перекрывающей по своему значению такие атрибуты властного позиционирования, как размер занимаемых кабинетов, численность охраны, марки машин, типы используемых летательных аппаратов и проч.), они способны, продвигая свои истории, влиять на характер микрогрупповых коммуникаций в правящей элите и самым существенным образом воздействовать на цели официальной государственной политики.

Как бы то ни было, но во внутриэлитарных коммуникациях политические рассказы становятся принципиально важными когнициями, содержащими смысловые и символические сигналы (включая даже косвенные намеки), позволяющие элитарным игрокам повышать свою конкурентоспособность и одновременно обеспечивать безопасность в условиях острого соперничества за власть и распределяемые ресурсы. Более того, нарративы позволяют не только извлекать из внутреннего инфополя важные для политических персон сведения или получать доступ к их информационным ресурсам конкурентов, но и использовать в своих целях скрытые, потенциально значимые смыслы этих посланий [Петросян, 2018, с. 113].

Третьей группой политически значимых нарративов являются истории, которые формируются в *социальной толще* повседневной жизнедеятельности населения и содержат сформированные культурным контекстом устойчивые политические убеждения, в рамках которых люди интерпретируют политические проблемы. С одной стороны, выделение этого класса историй позволяет различать «политические нарративы» как некие целостные повествования, формирующиеся стихийным образом, и нарративы, распространяемые, чтобы получить «предпочтительный политический результат» [Shanahan et al., 2011, p. 545]. Такие повествования поддерживают и даже укрепляют субкультурную диверсификацию общества, поскольку «люди могут одновременно» отдавать предпочтения «нескольким различным нарративам» [Shanahan et al., 2018 a, p. 922]. С другой стороны, их политический функционал обладает высоким уровнем волатильности или, другими словами, вполне очаговым характером влияния на государственные и корпоративные нарративные политики. Чаще всего их влияние на

исходные задачи и цели этих игроков носит корректирующий характер, выступая как некий эндогенный фактор, позволяющий в ряде случаев обновлять сюжетную линию достижения целей.

Апеллируя к различным традициям и нормам повседневности, эти нарративы не столько конкурируют с заданными политическими игроками историями, сколько дополняют, корректируют, а временами даже противостоят содержащимся в них смыслом и замыслом. Конечно, не все нарративы из этого резервуара повседневности обретают публичные и тем более политические формы. Однако в любом случае эти повествования (будучи своеобразными отблесками смыслов и ценностей населения, запечатленных в кинофильмах, театральных постановках, коммуникациях сарафанного радио), фильтруя и корректируя их содержание, сохраняют определенную резистентность по отношению к целям государственных и корпоративных проектов. Нередко столкновение с этим культурным массивом исключает доминирование официальных целей, стимулируя дискурсивную напряженность и образование точек напряженности и увеличения альтернатив политической активности. В силу этого политические игроки, надеясь, что «политические истории» общества, «как и сказки, имеют универсальные темы и культурно-специфические вариации» [Stone, 2012, p. 164]¹, стремятся гармонизировать с ними свои цели, популяризируя сюжеты, наполненные стереотипами любви к родине, жертвенности, доверия вождям, сопротивления внешним захватчикам и т.д. Но как показывает опыт, в странах, где складываются формы авторитарно-догматического плюрализма, амплитуда «низовых» нарративов, порожденных стихийным разнообразием культурных паттернов, функционирует в рамках устойчивого контроля за их смысловым и символическим содержанием.

¹ Такие универсальные темы, как правило, связаны с историями о перспективах упадка или развития страны, снижения уровня жизни и иными сюжетами, в которых используются аллегории, мифы, обещания и надежды на справедливость и равенство прав и возможностей, соотношение контроля и свободы человеческой активности, вспоможествования или дистанцирования от помощи другому, отношение к потерям и обретениям, сохранение достоинства и унижение, заговоров, обвинений жертвы и т.д. [Stone, 2012, p. 160–168]. Ряд ученых добавляют в этот перечень новые сюжеты, например, «историю побед» [Shanahan et al., 2018 a] или же обсуждение коррупционных практик, критика которых помогает людям «чувствовать свою связь с общественной жизнью» и осмысливать политику, «как бы далеко они ни находились в стороне от политической системы» [Forattini, 2021, p. 2].

Нарративные политики: возможности и пределы

В пространстве власти масштабное использование нарративов иллюстрирует «*символические стратегии*, посредством которых агенты намереваются учредить... свое положение» в социальном мире» [Бурдье, 2007, с. 28]. На этом фоне «нарративные политики» олицетворяют базовые формы целенаправленного использования политических повествований, складывающихся на всех уровнях и аренах публичной сферы, транслируя интересы институциональных акторов и структур и насыщая дискурс сюжетным разнообразием, в конечном счете влияют на динамические параметры «легитимации политики» [Kuhlmann, Blum, 2021, p. 276].

Используемые в этом контексте нарративные политики в процессе целеосуществления решают весьма сложную задачу: учитывая свою принципиальную зависимость от конгруэнтности тиражируемых историй культурным нормам политических, корпоративных и гражданских акторов (а равно и от устойчивости восприятия людьми конкурирующих повествований), им необходимо оперативно учитывать влияние сложно связанных экзогенных и эндогенных факторов, применять соответствующие контексту способы координации совместных действий, гасить экстраординарные всплески активности отдельных политиков, реагировать на изменения институционально-правового регулирования публичного поля. То есть совмещать формы масштабной коммуникации с параметрами столь же массового проектирования. Существенным фактором их успешности становятся ресурсная оснащенность и решимость инициаторов проектов.

Олицетворяя специфический тип целенаправленной активности государственных и корпоративных акторов, нарративные политики выдвигают повествования в качестве преобладающего ресурса и источника их активности, способного поддержать их претензии на устойчивое позиционирование в пространстве власти. Однако желание политических игроков обеспечить «доминирование» своих «ключевых нарративов» [Hajer, 1993, p. 47, 55] связывается не только с внушением людям ожиданий планируемых результатов или формированием аффективных реакций на основе сигналов, нарушающих или драматизирующих важные для человека знаковые события (например, за счет активизации ценностных ориентаций, провоцирующих подчас катастрофическое отрицание неприемлемых подходов и желания отстоять свою «правду» и «истину»), но и с использованием дополнительных организаци-

онных, технических и иных ресурсов. Поэтому те игроки, которые не способны – за счет этой совокупных ресурсов – преодолеть границы публичного дискурса и не могут по-своему «рассказать, что происходит», вынуждены «прекращать свое существование и исчезают» из пространства соперничества за властные диспозиции [Jungrav-Gieorgica, 2021]. Так что «добиться победы в политической битве» с «контрнарративами», используемыми «другими политическими акторами и содержащими критику выбранных реакций» [Shanahan et al., 2013, p. 468], нарративные политики могут не только за счет повышения дискурсивной мощи и повышения конгруэнтного характера предлагаемых повествований, но и институциональной или неформальной поддержки крупных игроков на арене власти, способных придать активности «пропагандистских» коалиций необходимый масштаб и влияние.

Одним словом, речь в данном случае идет о дополнении силы повествований иными находящимися в распоряжении политических игроков ресурсами. И только общий набор этих ресурсов и инструментов в конечном счете помогает актуализированным в дискурсе нарративам прочерчивать границу между тем, на что могут влиять коммуникативные усилия структур и институтов, а на что нет (в конечном счете – чем могут в этой стране управлять правящие круги, и на что их власть распространяться не способна). Иначе говоря, важнейшей характеристикой нарративных политик является ресурсная взаимодополняемость целенаправленных акций, которая, в свою очередь, неразрывно связана с различными формами коллаборации с союзническими акторами, развитием партнерских отношений с поддерживающими эти цели НКО и бизнес-организациями (способствующих также успеху в соперничестве с оппонирующими игроками).

Другими словами, нарративные политики неизбежно представляют собой форму *совместных* действий структур и институтов (испытывающих влияние *скрытых* от общества коалиций правящего класса) с поддерживающими их цели и ценности сегментами гражданского сектора и использующими наряду с играющими центральную роль нарративами набор разнообразных (финансовых, организационных, технических и иных) ресурсов и инструментов, направленных на решение общественно значимой задачи повышения *конкурентоспособности* инициаторов этих проектов в пространстве власти.

В этом плане нарративная политика государства, популяризируя политические смыслы и символы в публичной сфере и будучи

составной частью общеполитического курса правительства, должна подкреплять своими акциями кооперацию и координацию усилий участников своего проекта. Однако не во всех государствах даже политический курс обладает длительной временной стабильностью. А в некоторых случаях он вообще подвергается резкому изменению и, следовательно, изменению объема лоялистов. В этих случаях именно нарративные политики первыми откликаются на конъюнктурные трансформации и вынуждены реагировать на волны политической активности общества, не исключая политического «переобозначения проблем» [Windhoff-Héritier, 1987] (или, проще говоря, конъюнктурного изменения позиций властей).

При этом в государстве, несмотря на то что его институты представляют свои позиции как направленные на интересы широких слоев населения (в отличие от конкурентов, решающих проблемы для своей узкокорыстной пользы [Stone, 2012]), всегда различается и объем аудитории, которая рассматривают эти месседжи как повод для подчинения и повиновения, и набор лиц, принимающих решения. Иначе говоря, «слова, изображения и символы для ... создания политических нарративов» находят здесь различный «отклик» и в обществе, и среди «заинтересованных сторон и ... лиц, принимающих решения в правительстве, с целью создания побеждающей коалиции» [Shanahan et al., 2011, p. 536].

Такая разрозненная реакция показывает, что нарративные политики со всем набором аргументов и «контрриторических стратегий» срабатывают только в том случае, если на них откликаются аудитории и лица, приверженные транслируемым смыслам и ценностям, приоритетам и целям (справедливости или порядку, иерархии или делиберации, также иным параметрам политического поля власти). Это показывает, что в понятие нарративных политик (в отличие от канонических трактовок государственных, отраслевых, региональных и прочих политик) целесообразно включать ценностно-ориентационные и поведенческие *последствия* тиражирования политических историй. Другими словами, учитывая конкурентное столкновение различных политических повествований, нарративные политики демонстрируют не только *проективные* усилия политических игроков, но и *результаты* их фактического (официального и неформального) взаимодействия, показывающего, насколько политические рассказы смогли получить поддержку, необходимую для продвижения заявленных целей.

Следует, однако, заметить, что в государстве неизбежно срабатывают факторы, снижающие такую результативность. В част-

ности, скрытые от публики неформальные группировки правящего класса, стремясь монетизировать свои скрытые от общества позиции в институтах и структурах власти, используют свои возможности «не для привлечения союзников, а разобщения соперников» [Pralle, 2006, p. 201]. Такая активность влиятельных политических инвесторов неизбежно усиливает межинституциональную напряженность в государственном управлении, теневые транзиты в сфере кадрового обеспечения политики, постоянные отклонения институтов от нормативных требований служебной деятельности и т.д. В конечном счете испытывающие эти влияния нарративные политики сосредоточиваются на частных конфликтах, персональных разборках ведомств, порождающих смуту в общественном сознании и риски доверия к власти.

Крайне существенно, что нарративные *политики* как форма «коллективных действий, в которых участвуют ... группы», занимающие определенное «место в процессах, результатах, реализации и проектах публичной политики» [Jones et al., 2014], вмещают в себя не только идейно-политические инвективы (апеллирующие к союзническим или оппонирующим структурам), но и неизбежные административные механизмы (технологии), координирующие и организационно направляющие совместную активность участников этого процесса. Иначе говоря, если удачно найденные нарративы (даже конфликтующие с массовыми стереотипами) могут оказаться мощным средством изменения политики, коллективные акторы могут использовать эти рассказы только в сочетании с организационными ресурсами, комбинируя их применение с другими инструментами. Для отображения этих параметров целенаправленной деятельности коллективного актора, как правило, используется термин *стратегии*, отстраивающий управленческие смыслы проектирования от политических, коммуникативных и дискурсивных (в этом плане стратегию и политику будет соединять лишь использование публичных и латентных практик целеполагания [Соловьев, 2022]).

С этой точки зрения «нарративные стратегии» должны рассматриваться *не* как «средство влияния», «способ побуждения к действию» или инструмент по защите интересов», оказывающий воздействие «на решения органов власти» [Shanahan et al., 2011, p. 552; Hirsch, Baxter, Brown, 2010], а как обобщенная характеристика целенаправленной активности коллективных акторов, которая – при соотношении с политическими смыслами – акцентирует управленческие, административные параметры использования

нарративов для изменения правительственной повестки, нанесения ущерба соперникам, отвлечение внимания общества от политически опасных проблем, реконфигурации общественного мнения и т.д.

Одним словом, для уточнения возможностей нарративных политик следует различать «стратегический характер», который носят используемые в нарративах символы и языки, «предназначенные для привлечения подкрепления (сторонников. – *А. И.*) на свою сторону в конфликте» [Stone, 2012, p. 155], со стратегиями как особыми формами коллективной деятельности. Такое более аутентичное прочтение стратегий (отражающее скоординированность совместных действий коллективных акторов) хорошо заметно в работах, рассматривающих активность различных вовлеченных в формирование и воплощение нарративных политик коалиций («побеждающей», «оппонирующей», связанной «убеждениями» и др. [McBeth et al., 2007; Mc Beth et al., 2010; Hajer, 1993]), которые выполняют разные функции в тиражировании и институционализации предпочитаемых историй или же расставляющие смысловые акценты, принципиально меняющие политическую аргументацию.

Соотношение политических и стратегических параметров нарративных политик по-своему проявляется в типичных разновидностях этого типа деятельности. Наиболее показательными в данном случае можно считать формы регуляторной, распределительной и перераспределительной политик, которые, по мнению ученых, наиболее полно соответствуют задачам расширения «базы оппозиции или поддержки» [Lowi, 1964, p. 715].

В этой связи NPF-исследователи полагают, что хотя нарративные политики государства в основном обладают регуляторным характером (направленным на нахождение и поддержание необходимого баланса сил), однако они выполнены в терминах перераспределения, демонстрирующих не только политическую целесообразность таких действий, поскольку реагируют на чувствительное отношение людей к базовым для них смысловым конструкциям – изъятию и прибытку [Kuhlmann, Blum, 2021, p. 281, 296], но и предполагают применение организационных акций, без которых эти цели достигнуты быть не могут. Причем в рамках перераспределительной политики (и семантики), порождающей «гораздо больше конфликтов, чем политика распределения» [Knill, Tosun, 2020, p. 15], вообще не используют «нарративы, легитимирующие ограничительные меры» [Kuhlmann, Blum, 2021, p. 285], а упор

делается не на фигуры лиц, принимающих решения, а на целевые группы и особенно на бенефициаров.

В дополнение необходимо упомянуть и то, что особая роль в продвижении целей нарративных политик принадлежит «рассказчикам» и дискурсивным коалициям, способным поддерживать традиции и нормы данного (со)общества, использовать фольклоризацию культурного опыта, учитывать ментальные стереотипы и многоликие проявления национального характера, за которыми скрываются значимые традиции и обряды, ценности семейной и личной жизни, отношение людей к властям предрешающим и др. В самом общем виде трансляторы и интерпретаторы избранных сюжетов должны делать убедительные акценты на выгодах и преимуществах своих целей, затрагивающих жизненные интересы людей, и, преуменьшая собственные издержки, обращать внимание на потери и чрезмерность затрат оппонентов [McBeth et al., 2007]. Технологически это требует от рассказчиков привязки сюжетов и образов «героев / негодяев» к местоположению адресатов, их этническим и гендерным особенностям, а также иным субстанциональным параметрам.

Однако при всей важности фигур «рассказчиков» основной источник мощи нарративных политик – это уровень институциональной поддержки, способный при использовании «идеологизированных аппаратов» (А. Грамши) (киноиндустрии, театрального и художественного искусства, системы образования и спорта высоких достижений, подстраивающих сюжетные линии под специфику различных интересов гражданского сектора) побудить достаточное количество людей «переформулировать свою ... идентичность и интересы» [Jessop, 2012, p. 3]. Однако чрезмерно активные акции институтов, популяризирующих отношение к соперникам как к носителям негативной валентности ценностей, может спровоцировать их собственную дискредитацию. В целом же эскалация нарративного давления на культурное тело человека и превращение популяризируемых сюжетов в инструмент разжигания (классовой, этнической, гендерной и др.) ненависти, не исключаяющей установки на физическое уничтожение соперников, способно спровоцировать массовое сенситивное потрясение в обществе, образование ложных идентификационных моделей (связывающих групповую солидарность с нанесением ущерба другому), доводящих «биополитические» позиции людей до ненависти и «зубовного скрежета» от самого факта наличия противоположных идей и ценностей. Одним словом, нарративные политики, апеллируя к сокровенным

глубинам человеческого сознания, в условиях острой конкуренции за власть и жизненные ресурсы сохраняют риски культурной инверсии, растворяющей высокие смыслы и символы солидарности, патриотизма и иных этических максим в ненависти к реальным или выдуманым противникам. Такие государственные и корпоративные нарративные политики, поощряющие враждебность и призывающие человека лишь «щетиниться на врага», обесценивают смысл политической коммуникации, заставляя его руководствоваться стандартами догосударственного порядка, где «война всех против всех» разрушает институциональное и общегражданское сообщество.

Боле того, перенося такой стиль нарративных политик на пространство мировой политики, где современные «правительства находятся в постоянном конфликте внутри анархической глобальной системы», где «основные лица, принимающие решения во внешней политике, имеют значительную ... свободу действий в рамках ... модели волюнтаризма (подразумевающей уверенность в свободной воле и личной приверженности)» [Narzary, Narzary, 2023, р. 2667–2668], может случиться, что глобальные игроки (особенно в странах, возглавляемых несистемными политиками) способны в своем противостоянии отбросить человечество к каменному веку.

Конечно, реальные формы нарративных политик на национальных площадках, где «языковая игра» нарративов «становится игрой власти» [Ульданов, 2024, с. 69] со всеми присущими ей особенностями игроков и их интересов, требуют существенной спецификации и серьезных эмпирических исследований. Но это уже задача другого характера.

Заключение

Нарративные политики, постепенно становясь мощным инструментом перестройки дискурса и отношений государства и общества, обладают особым содержанием и функционалом. В конечном счете сила и мощь их различных версий в пространстве власти обусловлена институциональной поддержкой масштабируемых повествований, уровнем конгруэнтности политических рассказов основным субкультурным образованиям общества и им идентификационным моделям (включая мастерство и репутацию «рассказчиков»), а также результативностью использования организационно-

административных ресурсов (поддерживающих координацию с последователями и конституэнтами). В то же время политическое влияние скрытых от общества сегментов правящего класса на нарративные политики и стратегии сохраняет высокий уровень неопределенности в понимании и оценке подлинных целей этих политических проектов (прикрываемых различными историями).

Таким образом, с одной стороны, предлагаемая NPF-исследователями трактовка и структура нарратива, будучи надежным основанием аутентичной интерпретации их политической роли в формировании и осуществлении различных отношений государства и общества, не позволяет до конца убедительно раскрыть этот тип политического проектирования в пространстве власти, а, следовательно, упреждение новых рисков, несущих угрозы стабильности, а в логическом пределе и опасности катастрофических последствий нерегулируемой конкуренции и доминирования крупных политических инвесторов. Остаются вопросы и относительно сочетания нарративных политик с их административным каркасом, предопределяющим стратегические усилия политических игроков и в первую очередь государства.

И все же, несмотря на трудности, связанные с выявлением подлинных, прикрываемых повествовательными конструкциями целей правящих элитарных групп, исследования нарративных политик помогут глубже оценить не столько масштаб диссиминации политических рассказов и их конгруэнтность ориентирам и ценностям доминирующих в обществе и в структурах власти групп, сколько роль нарративов в осуществлении политически целесообразных проектов и возможностей общества повлиять на такие планы. Возможно, такие исследования помогут глубже понять те шансы, которые существуют у общества, чтобы услышать в нарративах угрозы крупных политических игроков в части усиления контроля и манипулятивного содержания дискурса (т.е. нанесения нарративными политиками ущерба правам, свободам и безопасности гражданского населения) и даже разрушения зоны безопасности индивида в социуме.

A.I. Soloviev *

Narratives in the area of power.

The possibilities and limits of narrative politics

Abstract. Experience shows that narratives are gradually becoming the main tool for organizing public discourse, gaining substantial significance for all political actors maneuvering in the space of power. This raises a research problem: how do the mechanisms of public promotion of political stories change the communicative environment in the space of power, while fitting into the general political course of the state and influencing the goals of competing actors, thereby transforming society's reaction to the rivalry of political meanings and values embedded in stories.

One way to solve this problem is to consider the role of narratives in the area of public policy, where the latter is understood as a type of power space that reflects the competition of rival forces and their targeted projects. This perspective, which combines the established interpretations of state policies in the scientific literature with the targeted use of narratives, allows us to clarify the political functionality of this cognitive construct that influences public opinion and political change.

Methodologically, the solution to this problem involves the use of the principles of non-classical and non-classical methodologies with their nomothetic strategies, which make it possible to link the deployment of political narratives with public policy actors, as well as structures and mechanisms of political and administrative regulation. This allows us to correctly use the vocabulary of the targeted use of narratives, describing the relevant actions of structures and institutions through the prism of constructivist, communicative and narrative approaches that reveal the process of assimilation of target invectives by people and taking into account the transversal connections of public and latent actors, administrative and political methods of political design.

Keywords: power; the field of politics; public discourse; profane culture; narratives; narrative politics.

For citation: Soloviev A.I. Narratives in the area of power. The possibilities and limits of narrative politics. *Political science (RU)*. 2025, N 2, P. 18–40. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.01>

References

- Berinsky A.J., Kinder D. R. Making sense of issues through media frames: understanding the Kosovo crisis. *The Journal of politics*. 2006, Vol. 68, N 3, P. 640–656.
- Bourdieu P. *Sociology of social space*. Moscow: Institute of Experimental Sociology; St. Petersburg: Aleteya, 2007, 288 p. (In Russ.)
- Epstein J. M. Modeling civil violence: An agent-based computational approach. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2002, Vol. 99, N 3, P. 7243–7250.
- Forattini F. For a broader understanding of corruption as a culture fact, and its influence in society. *Academia letters*. 2021, Article 2245.

* **Soloviev Alexander**, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), e-mail: solovyev@spa.msu.ru

- Hajer M. Discourse coalitions and the Institutionalization of practice: The case of acid rain in Britain. In: Fischer F., Forester J. (eds). *The argumentative turn*. Durham: Duke university press, 1993, P. 43–76.
- Hirsch R., Baxter J., Brown C. The importance of skillful leaders: understanding municipal pesticide policy change in Calgary and Halifax. *Journal of environmental planning and management*. 2010, Vol. 53, N 6, P. 743–757.
- Jessop B. Cultural political economy, spatial imaginaries, regional economic dynamics. In: Brand O., Eser P., Dörhöfer S. (eds). *Ambivalenzen regionaler kulturen und identitäten*. Münster: Westfälisches Dampfboot, 2012, P. 2–29.
- Jones M., McBeth M., Shanahan E. Introducing the narrative policy framework. In: Jones M. D., Shanahan E. A., McBeth M. K. *The science of stories: Applications of the narrative policy framework*. New York: Palgrave, 2014, P. 1–25.
- Jones M., Radaelli C. Narrative policy framework: child or monster? *Critical policy studies*. 2015, Vol. 9, N 3, P. 339–355.
- Jungrav-Gieorgica N. Narrative policy framework – public policy as a battle of narratives. *Studia z Polityki Publicznej*. 2020, Vol. 7, N 2, P. 109–135.
- Kirillov A.G. *Political narrative: structure and pragmatics: based on the material of the modern English-language press*. Ph. D. degree dissertation. Samara, 2007, 209 p. (In Russ.)
- Knill C., Tosun J. *Public policy: A new introduction*. London: Bloomsbury Publishing, 2020, 363 p.
- Knoepfel P., Larrue C., Varone F., Hill M. *Public policy analysis*. Bristol: Policy Press, 2007, 336 p.
- Konkov A.E. *The latent space of public policy in the modern state: in search of a theoretical model*. Moscow: Argamak-media, 2021, 222 p. (In Russ.)
- Kuenzler J., Stauffer B. Policy dimension: A new concept to distinguish substance from process in the narrative policy framework. *Policy studies journal*. 2022, Vol. 51, N 1, P. 11–32.
- Kuhlmann J., Blum S. Narrative plots for regulatory, distributive, and redistributive policies. *European policy analysis*. 2021, Vol. 7, N S2, P. 276–302.
- Likhachev D.S. On the national character of Russians. *Philosophical sciences*. 1990, N 4, P. 3–6. (In Russ.)
- Lowi T. American business, public policy, case-studies, and political theory. *World politics*. 1964, N 16 (4), P. 677–715.
- McBeth M., Lybecker D., Garner K. The Story of good citizenship: framing public policy in the context of duty-based versus engaged citizenship. *Politics & Policy*. 2010, N 38 (1), P. 1–23.
- Malinova O. Legitimizing Putin's regime. The transformations of the narrative of Russia's Post-Soviet transition. *Communist and post-communist studies*. 2022, Vol. 55, N 1, P. 52–75.
- McBeth M., Shanahan E., Arnell R., Hathaway P. The intersection of narrative policy analysis and policy change theory. *The policy studies journal*. 2007, N 35, P. 87–108.
- Musikhin G.I. Narrative as a semantic element of political symbolization. *Questions of theoretical economics*. 2024, N 2, P. 116–133. (In Russ.)
- Narzary K., Narzary A. Analyzing the diverse perspectives on balance of power. *Journal of propulsion technology*. 2023, Vol. 44, N 4, P. 2665–2670.

- Petrosyan S.P. Symbol: essence and purpose. *Bulletin of Omsk University*. 2018, N 4 (23), P. 103–114. (In Russ.)
- Pleger L., Lutz P., Sugar F. Public acceptance of incentive-based spatial planning policies: A framing experiment. *Land use policy*. 2018, N 73, P. 225–238.
- Podshibyakina T.A. Narrative politics: theory and discursive practices. *Questions of political science*. 2021, N 11, P. 1968–1979. (In Russ.)
- Pomiguyev M.A., Prokopchuk T.L., Koshkin A.V. Possibilities of the method of narrative analysis or how to look for political values in Russian cinema? *Political Science (RU)*. 2024, N 3, P. 45–65. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2024.04.02> (In Russ.)
- Pralle S. *Branching out digging in: environmental advocacy and agenda setting*. Washington: Georgetown Press, 2006, 279 p.
- Sabatier P., Jenkins-Smith H. (eds) *Policy change and learning: An advocacy coalition approach*. Boulder: Westview Press, 1993, 290 p.
- Schlauffer C., Kuenzler J., Jones M., Shanahan E. The narrative policy framework: A traveler's guide to policy stories. *Polit vierteljahresschr*. 2022, N 63, P. 249–273.
- Shanahan E., Jones M., McBeth M. Policy narratives and policy processes. *The policy studies journal*. 2011, Vol. 39, N 3, P. 535–561.
- Shanahan E., Jones M., McBeth M., Lane R. An angel on the wind: How heroic policy narratives shape policy realities. *The Policy studies journal*. 2013, N 41 (3), P. 453–483.
- Shanahan E., Raile E., French K., McEvoy J. Bounded stories. *The policy studies journal*. 2018 a, N 46 (4), P. 922–948.
- Shanahan E., Jones M., McBeth M. How to conduct a narrative policy framework study. *The social science journal*. 2018 b, N 55 (3), P. 332–45.
- Sheigal E.I. The multifaceted narrative. *Political linguistics*. 2007, Vol. 22, N 2, P. 86–93. (In Russ.)
- Smirnov V.A. *Political elites in small countries: questions of theory*. Moscow: ROSSPEN, 2017, 151 p. (In Russ.)
- Soloviev A.I., Konkov A.E. *Latent mechanisms of public policy formation*. Moscow: Aspect-press, 2022, 96 p. (In Russ.)
- Soloviev A.I. Latent functionality of public policy. *Political Science (RU)*. 2022, N 3, P. 57–79. (In Russ.)
- Soloviev A.I. Inside elite communication: collisions of ideological and narrative symbolization. *Power and elites*. 2024, Vol. 11, N 3, P. 7–28. (In Russ.)
- Soloviev A.I. Doctrinal symbolization and political vernacular of narratives. What is changing in the public field? *Policy. Political Studies*. 2025, N 1, P. 66–87. (In Russ.)
- Stone D. *Policy paradox: The art of political decision making*. New York: WW. Norton, 2012, 408 p.
- Tosun J., Schaub S. Constructing policy narratives for transnational mobilization: Insights from European citizens' initiatives. *European Policy Analysis*. 2021, Vol. 7, P. 344–364.
- Uldanov A.A. Policy narratives in parliamentary debates: approaches to analyzing narrative elements, functions, and strategies. *Political science (RU)*. 2024, N 3, P. 66–86. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2024.03.03> (In Russ.)
- Weible C., Sabatier P. (eds). *Theories of the policy process*. New York: Westview Press, 2017, 416 p.
- Windhoff-Héritier A. *Policy-Analyse*. Frankfurt am Main: Campus-Verlag, 1987, 185 p.

Литература на русском языке

- Бурдые П. Социология социального пространства / пер. с франц.; отв. ред. перевода Н.А. Шматко. – Москва: Институт экспериментальной социологии; Санкт-Петербург: Алетейя, 2007. – 288 с.
- Кириллов А.Г. Политический нарратив: структура и прагматика: на материале современной англоязычной прессы: дис. ... канд. филол. наук. – Самара, 2007. – 209 с.
- Коньков А.Е. Латентное пространство публичной политики в современном государстве: в поисках теоретической модели. – М.: Аргмак-медиа, 2021. – 222 с.
- Лихачев Д.С. О национальном характере русских // Философские науки. – 1990. – № 4. – С. 3–6.
- Мусихин Г.И. Нарратив как смыслообразующий элемент политической символизации // Вопросы теоретической экономики. – 2024. – № 2. – С. 116–133.
- Петросян С.П. Символ: сущность и предназначение // Вестник Омского университета. – 2018. – № 4. – С. 103–114.
- Пошибякина Т.А. Нарративная политика: теория и дискурсивные практики // Вопросы политологии. – 2021. – № 11. – С. 1968–1979.
- Помигуев М.А., Прокопчук Т.Л., Кошкин А.В. Возможности метода нарративного анализа, или Как искать политические ценности в российском кино? // Политическая наука. – 2024. – № 3. – С. 45–65. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2024.04.02>
- Смирнов В.А. Политические элиты в малых странах: вопросы теории. – М.: РОССПЭН, 2017. – 151 с.
- Соловьев А.И., Коньков А.Е. Латентные механизмы формирования государственной политики. – М.: Аспект-пресс, 2022. – 96 с.
- Соловьев А.И. Латентный функционал публичной политики // Политическая наука. – 2022. – № 3. – С. 57–79.
- Соловьев А.И. Внутриэлитарная коммуникация: коллизии идеологической и нарративной символизации // Власть и элиты. – 2024. – Т. 11, № 3. – С. 7–28.
- Соловьев А.И. Доктринальная символизация и политическое просторечие нарративов. Что меняется в публичном поле? // Полис. Политические исследования. – 2025. – № 1. – С. 66–87.
- Ульданов А.А. Политические нарративы в парламентских дебатах: подходы к анализу нарративных элементов, функций и стратегий // Политическая наука. – 2024. – № 3. – С. 66–86. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2024.03.03>
- Шейгал Е.И. Многоликий нарратив // Политическая лингвистика. – 2007. – Т. 22, № 2. – С. 86–93.

О.Б. ЯНУШ, Н.М. МУХАРЯМОВ*

КОНЦЕПТЫ СУВЕРЕННОСТИ В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ¹

Аннотация. «Суверенитет» как единица языка стремительно начинает заполнять многообразные смысловые ниши, выступая при этом в качественно различающихся семантических статусах. Традиционно терминология суверенитета увязывается с его государственными, народными и национальными версиями, с дихотомией верховенства и независимости, с распространенной таксономией С. Краснера (1) внутренний суверенитет публичной власти во взаимодействии с обществом; 2) международный суверенитет как международно-правовой принцип; 3) «вестфальский» суверенитет как равноправие игроков в международной политике; 4) суверенитет взаимозависимости как способность государства контролировать трансграничные потоки). В нынешнем публично-информационном пространстве номинации, связанные с суверенитетом (шире – свойствами суверенности), проникают в самые разные предметные области. В так называемых «экстралегальных» значениях и словосочетаниях – применительно к политическим, культурным, технологическим, гносеологическим, виртуальным предметам, в виде концептов, или (в отличие от терминов в строгом понимании), образований с открытыми возможностями множественных интерпретаций, с выраженными субъективными началами.

* **Януш Ольга Борисовна**, кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры социологии, политологии и права, Казанский государственный энергетический университет (Казань, Россия), e-mail: yanush_ob@yahoo.com; **Мухарямов Наиль Мидхатович**, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии, политологии и права, Казанский государственный энергетический университет (Казань, Россия), e-mail: n.mukharyamov@yandex.ru

¹ Работа выполнена за счет гранта Академии наук Республики Татарстан, предоставленного молодым кандидатам наук (постдокторантам) с целью защиты докторской диссертации, выполнения научно-исследовательских работ, а также выполнения трудовых функций в научных и образовательных организациях Республики Татарстан в рамках Государственной программы Республики Татарстан «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан».

© Мухарямов Н.М., Януш О.Б., 2025

DOI: 10.31249/poln/2025.02.02

Здесь возникают все новые контурные схемы, концептуальные фреймы, семантические образования. Из общего корневого прототипа начинают произрастать многочисленные производные. Суверенитет в политико-языковой коммуникации перестает восприниматься как что-то само собой разумеющееся, автореферентное. Появляющиеся во множестве концепты (в отличие от юридически строгих категорий) предстают в различных семантических позициях, берут на себя оборачиваемые субъектно-предикатные роли. Наряду с политико-правовыми терминами здесь появляются концепты-переживания, концепты-события, конвенционально нагруженные символы и, наконец, эмблемы идейных диспозиций. Этот процесс разрастания смысловых нюансов и вариантов словоупотребления отмечен своей стадийностью и происходит в различных режимах. Семантическая деривация организована по правилам регулярности, логически последовательно, порождает иерархические структуры производных в их линейности. В иной версии новые концепты могут появляться и вне определенного узуса. Они, скорее, характеризуются спорадичностью, калейдоскопической ситуативностью, используются вне общепринятого значения, множатся ризоматически, проникая в контексты, которые, казалось бы, не связаны между собой. Такой режим семантической производности характеризуется как окказиональный, или обусловленный отдельными случаями. Концепты суверенности в зависимости от этого служат разноплановым целям.

Ключевые слова: суверенность; концепты; деривация; узуальное и окказиональное; дизъюнкция; экстенционал и интенционал; символы; эмблемы.

Для цитирования: Януш О.Б., Мухарямов Н.М. Концепты суверенности в семантической деривации // Политическая наука. – 2025. – № 2. – С. 41–61. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.02>

...в каждый данный момент сожительствоуют языки разных эпох и периодов социально-идеологической жизни. Существуют даже языки дней: ведь и сегодняшний и вчерашний социально-идеологический и политический день в известном смысле не имеют общего языка; у каждого своя социально-идеологическая, смысловая конъюнктура, свой словарь, своя акцентная система, свой лозунг, своя брань и своя похвала.
М.М. Бахтин

Введение

В той реальности, которую вслед за М.М. Бахтиным можно назвать «словесно-идеологической» [Бахтин, 1975, с. 87], необычайную распространенность получают сегодня семантические средства, связанные с проблематикой суверенитета. «Суверенитет» выступает в чрезвычайно множественных ипостасях и лингво-

коммуникативных статусах: от конституционно-правовой формулы и аналитического фрейма и до хештега, мема. При этом обнаруживаются «сквозные» поливалентные эффекты, проникновение в самые что ни на есть разнородные области, вхождение в столь же разные лексические коллокации, – или «совместную встречаемость»: от цивилизационного и экологического до продовольственного и лекарственного. Диахроническая семантика этого понятия показывает особую множественно-смысловую природу, всякий раз по-разному проявляющуюся то в виде ди- или триады, то в виде сложносоставной структуры категориальных признаков.

Предлагаемая статья в предметном плане ориентирована на рассмотрение, во-первых, исторических предпосылок того, как «суверенитет» претерпел в дискурсивном пространстве радикальный поворот в сторону семантической вариативности, и, во-вторых, на сравнение различных версий того, как множатся концептуальные обличья суверенитета – в каскадном режиме и в виде иерархических сетей или, напротив, в режиме произвольного конфигурирования знаков.

В плане некоторых предваряющих соображений следует обратить внимание на следующее.

Первое. В исследовательском поле суверенитет понимается по-разному, в зависимости от предметных ракурсов и теоретических ориентаций. Для правоведов-международников, как поясняет один из наиболее цитируемых исследователей С. Краснер, суверенитет постулируется через понимание отдельного государства как краеугольного камня в системе международных отношений подобно тому месту, которое занимает индивид в либеральных политических теориях. В понимании школ международно-политической мысли реализма и неореализма суверенитет – это онтологическая данность. В теоретических структурах знания о политическом – это «аналитический постулат», согласно которому государства выступают как рациональные, унитарные и независимые акторы, «обладающие правом и возможностью вступать друг с другом в договорные отношения» [Krasner, 2001, p. 5]. В области социологии суверенитет предстает в виде «сценария», или «когнитивной карты», что не предполагает каких-то предписаний. С позиций сторонников конструктивистской парадигмы суверенитет проблематичен и не может быть чем-то самим собой разумеющимся. В этой проекции суверенитета «структуры и агенты постоянно реконституируют друг друга» [Krasner, 2001, p. 6].

Второе. Речь далее пойдет преимущественно о концептах. Термин – это категориальная единица, претендующая на точное отображение существенных признаков объекта. Поэтому формально-логически, одному референту правовой реальности соответствует однозначный семантический знак.

В рассматриваемом контексте первостепенное значение приобретает принципиальное различие между двумя когнитивными статусами. В отличие от термина (того, что должно обладать строгостью), концепт – это продукт авторско-индивидуального понимания, когда в объективном отражении существенных признаков предмета не менее важная роль отводится мнению. Там, где речь идет об онтологической данности нормативного установления, место есть для термина в единственном числе. Концептов же, напротив, может быть много. Суверенитет как формально-нормативная субстанция государственности либо наличествует, либо нет. Суверенность в переносных смыслах – применительно, например, к метафизическим сущностям, напротив, может отражаться посредством множественных концептов.

Вслед за Делёзом и Гваттари в работах российских авторов концепты трактуются как порождающие модели языка и «кванты смысла», как единицы поведения. Концепты в таком понимании – это нечто творимое. Они не соотнесены непосредственно с объектами действительности, то есть автореферентны. Тем самым они представляют собой не экстенционал («объектный язык», предметное содержание, референция), но интенционал (метаязык, смысловое значение и смысл в коммуникации) (см.: [Неретина, Огурцов, 2011, с. 182, 186]). В принципе лексическая семантика, как разъясняет М. Кронгауз, «по преимуществу интенциональна, она описывает не отношения слов с внешним миром, а, скорее, свойства, ими выражаемые... в первую очередь то, что слова значат, а не то, что они обозначают во внешнем мире» [Кронгауз, 2001, с. 131]. Если понятие, как разъяснял Ю.С. Степанов, «определяется», концепт же «переживается» [Степанов, 2007, с. 20]. В близкой манере высказывается Ф. Гиренок: «Чтобы получился концепт, нужен хорошо обоснованный вымысел. И тогда концепт становится точкой сингулярности сознания, его индивидуальной неповторимостью. И под концептом можно ставить подпись» [Гиренок, 2025, с. 45]. В отличие от понятий-терминов, поддающихся дефинициям, обрамляющих значения и подводящих итог постижения предметов, или терминов с их устойчивой однозначностью и когнитивной определенностью концепты включают факультативные – с точки

зрения формальной логики – моменты: ассоциации, индивидуально и культурно обусловленные особенности использования.

Третье. Различая субстантивно-функциональные моменты суверенитета, с одной стороны, и его знаково-ценностные аспекты – с другой, следует прибегнуть к еще одной аналитической процедуре – учесть принципиальную разницу в уровнях символической и эмблематической презентаций. С точки зрения лингвосемиотики, как отмечает В.И. Карасик, символ противоположен эмблеме, которая выполняет такие функции, как «идентификация, информационное дублирование, упрощение содержания». При этом предполагается, что сигналы опознаются как однозначные. «Эмблема узнается, а символ требует разгадки... Эмблема представляет собой указание посредством образа на ту или иную референтную группу либо ситуацию, не требует развернутой интерпретации, направлена на выработку немедленной реакции на определенный стимул, в максимальной мере соответствует канонам массового сознания и массовой культуры» [Карасик, 2010, с. 33, 46]. Иначе говоря, языковые единицы, образуемые с использованием словаря суверенности, существенно разнятся и семантически, и прагматически. Эти единицы присутствуют в различных сочетаниях, синтаксических конструкциях (логическое подлежащее или логическое сказуемое), имеют различное предназначение в различных контекстах.

Наконец, самое, пожалуй, существенное из вводных соображений: редко какая из знаково-словесных единиц в политическом словаре обладает, по сравнению с «суверенитетом», такими же свойствами «семантической чувствительности» [Bartelson, 2008, p. 36]. Сама феноменология суверенности иногда рассматривается в контексте лингвистического поворота, анализируется как языковой акт с соответствующими перформативами, перлокуцией [Walker, 2008, p. 26]. В предметном поле конституционного права категория суверенитета наделена высокой значимостью. Одна из последних поправок в Конституцию Российской Федерации, принятая по Закону от 14 марта 2020 г., содержит в ст. 67, п. 2, формулу «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности». Однако при этом специальной *дефиниции* эта категория не получает. Иначе говоря, в своем терминологическом статусе суверенитет относится, скорее, к доктринальной разновидности правовых положений. Это предполагает особую роль авторитетных суждений правоведов и правовых учений, которые могут быть официально санкционированы государством, то, на что можно ссылаться. С другой сторо-

ны, здесь остается возможность оспаривания, выбора интерпретаций. Эта ситуация в правоведении связана, в свою очередь, с широкими горизонтами «экстраюридических» трактовок. Отсюда появляется неограниченный простор не только для академической рефлексии, но и для творчества различной профессиональной, жанровой, стилистической и прочей принадлежности.

Очерченный выше предмет – стадияльное нарастание смысловой производности «суверенитета» – ниже будет рассмотрен на основе подходов контекстуального и рефлексивного анализа (в отличие от процедур количественного характера). При этом режимы семантической деривации и образования структурированных последовательностей, с одной стороны, и произвольной комбинаторики знаковых единиц – с другой, могут расцениваться не как жестко противопоставленные семантические модели, но как чередующиеся в своей приоритетности.

Суверенитет как предмет семантической диахронии: русские исторические контексты

При всей онтологической значимости суверенитета масштабы и способы его концептуализации в истории отечественной политической мысли варьировались самым существенным образом. Идеино-историческая реконструкция темы – это, со всей очевидностью, задача, требующая специального изложения. Однако вполне уместно обратить внимание на некоторые национально-специфические стороны предмета в их ретроспекции.

Начать с того, что можно видеть некий смысловой параллелизм западноевропейского термина «суверенитет» и русского – «самодержавие». И то и другое построено в виде внутреннего дуализма, дихотомии или, точнее, дизъюнкции как соединительно-разделительного логического союза, при помощи которого сопрягаются оборачиваемые ипостаси верховенства, с одной стороны, и независимости – с другой. Такая динамичная ситуативность усугублялась тем обстоятельством, что собственно концепты суверенности в русской политической лингвокультуре не были прецедентно укоренены и аутентичных прототипов в семантике не имели.

В дореволюционной историографии было сформулировано: «Точно так же, как “суверенитет” на Западе первоначально обозначал власть независимого государства, так и у нас... соответствующим термином первоначально желали выразить независимость

Московского государя от какой-либо внешней власти. “Самодержец” вводится в титул Московского государя с Ивана III-го и является переводом с греческого “autocrator”. Этот термин (так же как, и слово “царь”) был знаком того, что Московский государь уже не признает себя данником татарского хана, что он имеет власть самостоятельную, независимую от другой власти. Только с течением времени слово “самодержец” приобретает и другой смысл: оно начинает означать не только независимость государства, но и неограниченность монархической власти» [Гурвич, 1915, с. 46]. Примечательный семантический момент: уже в Петровскую эпоху Феофан Прокопович (при всем своем подробном знакомстве с учениями Гуго Гроция и Самуэля Пуфендорфа) предпочитал пользоваться не понятием «суверенитет» и «суверен», а «маестат» (“majestas”) или «величество», имея в виду не субъектность государства, а персону монарха. «Идея государства, как юридической личности, вообще оставалась совершенно чуждой. В соответствии с этим он не делает никаких попыток приписать суверенитет государству» [Гурвич, 1915, с. 46].

В конце XIX – начале XX в. в отечественной юридической науке, как показано Е.Л. Поцелуевым, шла полемика между сторонниками теории абсолютного – единого и неделимого, относящегося только к государству в целом – суверенитета (консервативный либерал Б.Н. Чичерин и юридический позитивист Г.Ф. Шершеневич) и теории ограниченного суверенитета (социологический позитивист Н.М. Коркунов и психологический позитивист Л.И. Петражицкий) [Поцелуев, 2016]. Таким образом, в рамках академического правоведения тема суверенитета семиотической дробности не предполагала из-за доминирующего методологического этатизма и геополитических коннотаций.

Послереволюционный период применительно к проблематике суверенности был отмечен своими политико-идеологическими мотивами, связанными сначала с марксистскими идеалами отмирания государства, грезами о мировой революции, пролетарско-интернационалистским романтизмом, большевистскими представлениями о праве наций на самоопределение, реалиями национально-государственного строительства и собирания союзной федеративной государственности. Политическая система советского типа во главе с коммунистической партией не создавала в политическом мышлении каких-то предпосылок для разработки оригинальной концепции суверенитета, но при этом определяла свою динамику

«триангуляции» государственного, народного и национального образов суверенитета.

Советский подход к суверенитету строился на антиимпериалистических установках и на поддержке национально-освободительных движений. СССР инициировал международно-правовые акты (например, Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам от 14 декабря 1960 года: «...все народы имеют неотъемлемое право на полную свободу, осуществление своего суверенитета и целостность их национальной территории»¹).

Семантическая фрагментация категории «государственный суверенитет» в «буржуазных концепциях» на Западе – «относительный», «функциональный», теория «эффективности» осуществления государством своего суверенитета – расценивалась как идеологическая манипуляция с целью «оправдать противоправное вмешательство в суверенные дела иностранных государств» [Суверенитет, 1986, с. 437].

Семантические метаморфозы в тематическом поле суверенитета набирают динамику в публично-информационных процессах новейшего времени.

Начальная стадия – это «парад суверенитетов» в начале 1990-х годов. Параллельно с дезинтеграцией государственности Союза ССР скоротечно провозглашался суверенитет российских автономий. За вторую половину 1990 г. свой суверенный статус декларировали Северная Осетия, Карельская АССР, Татарстан, Удмуртия, Якутия, Бурятия, Башкирия, Калмыкия, Марийская АССР, Горно-Алтайская АО, Чечено-Ингушская АССР, Тува, Ямало-Ненецкий АО. Примечательно, что наряду с интересами региональных элит, в этих «суверенитетах» присутствует очевидной эффект семиотизации – «ознаковления», оттесняющего субстантивный референт на задний план. Это были своеобразные концептуальные образы – без набора соответствующих суверенных прерогатив и иммунитетов, без фискальной монополии, без денежной эмиссии и юрисдикций, например, без права на помилование и амнистии или на решение вопросов войны и мира, и проч. и проч.

Не следует, впрочем, сводить дело только лишь к словесным жестам в виде ельцинского «берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». В этом «параде» была по-разному мотиви-

¹ Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Принята резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 года // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml

рованная прагматика. Заявления о «суверенитете» были тогда ставками в политико-административном обмене, номинациями региональных притязаний, которые после октября 1993 г. стали переименовываться в терминах договорной модели федерализма и в семантике не сецессии, но разграничения предметов ведения.

Показательна реакция на происходящее со стороны публичных интеллектуалов. В. Цымбурский в 1991 г. выступил на страницах журнала «Век XX и мир» со статьей с говорящим названием «Бес независимости». Формулируя антиномию притязаний на суверенитет и империю как «пространство нормы», автор писал тогда: «Для сохранения единого “пространства нормы” ничего не может быть опаснее союза национального люмпен-пролетария с трайбалистски ориентированными священником и интеллигентом на платформе “Суверенные ценности – суверенные нормы”» [Цымбурский, 2011, с. 182].

Таким образом, постсоветский «суверенитет 1.0» артикулировался посредством концептов – концептов-переживаний.

Последовавшая далее стадия – «суверенитет 2.0» – связана со своей семантической версией слова «концепт» – концепт как событие или проявление коммуникативного поворота социогуманитарного знания, перехода от пропозиций к речевым актам.

Сказанное как нельзя к месту для характеристики концепта «суверенной демократии» и его семантической природы как события. Появившийся в российском публично-информационном поле на подступах к думскому и президентскому избирательным циклам 2007–2008 гг., он сыграл роль детонатора во взрывном расширении словоупотреблений, связанных с суверенностью.

Приоритетные авторские права на этот концепт традиционно отдаются В. Суркову. Хотя иногда усматривают прецедентные высказывания на этот счет и в словах Ж.-Ж. Руссо, и в выступлении Романо Проди в Университете Ольстера (2004), и в речи Дика Чейни в Вильнюсе (май 2006 г.). Однако протагонисты идеи эксплицитно подчеркивали, что суверенная демократия – это не калька с *sovereign democracy*, а в число соавторов самого этого доктринального начинания включают довольно широкий круг публичных интеллектуалов. «К лету 2006 года вокруг суверенной демократии консолидировалась большая часть политического класса» [Орлов, 2007, с. 6]. Масштаб и уровень концептуальных притязаний суверенной демократии достигали в тот период уровня мегаломании. Как писал А. Чадаев, это – «первая со времен распада СССР внятная

формула создаваемой в России политической системы, произнесенная от имени верховной власти» [Гараджа, 2006, с. 4].

Концепт «суверенная демократия» вызвал небывалый ажиотажный резонанс в массмедиа, стал триггером чрезвычайно широких обсуждений, породил массив публикаций. На эту тему высказались практически все фигуры из числа символической элиты страны, или, во всяком случае, абсолютно репрезентативное большинство «мыслящего класса». Характерным моментом стало и то, что многие из прозвучавших суждений содержали аллюзии к семиотической стороне вопроса. «Суверенная (и справедливая) демократия России – вот лингвистическая и сущностная формула политической философии Путина, – говорил В. Третьяков, комментируя президентское Послание 25 апреля 2005 г., – прямо не выведенная в Послании, но фактически все его пронизывающая» [Гараджа, 2006, с. 84].

Для интересов данного изложения существенное значение имеет тот факт, что разгоревшиеся дискуссии по-новому наметили вектор семантической дифференциации значений суверенности. Никита Гараджа – составитель сборника материалов «Суверенитет» (2006), заявленного как редкое событие, когда под одной обложкой оказываются статьи «крупных государственных чиновников, опытных политиков и серьезных публицистов-аналитиков», сформулировал своего рода квинтэссенцию метафизического видения предмета. «Мы суверенны, – декларировал он тогда, – в логике энергетики России как идеального внеисторического цивилизационного субъекта, включающего в себя не только момент ее актуальной истории, но и ее прошлое и будущее» [Гараджа, 2006, с. 229].

Контекстуальная фрагментация словоупотреблений применительно к суверенитету, экспоненциальное усиление частотности идиомы «суверенитет» и лексических коллокаций с ее участием – все это подчас расценивалось как своего рода конфуз или аналитическое недоразумение. «Зачастую этот термин используется в сферах, частично или полностью отличных друг от друга. Даже в случае его применения в политической и правовой науках мы часто имеем дело с совершенно разными и плохо взаимодействующими смыслами суверенитета. Не говоря уже о метафорическом заимствовании понятия “суверенитет” теми сферами знания, где оно традиционно не использовалось, – рассуждает, к примеру, Г.И. Мусихин. – В результате правоведа, политические философы, конституционные теоретики, политологи постоянно “умножают смыслы” суверенитета, наделяя его все новыми и новыми эпитетами: внутрен-

ний и внешний, *de jure* и *de facto*, позитивный и негативный, национальный, государственный, народный, правовой, территориальный, технологический, культурный, экономический, институциональный и даже расовый суверенитет... И, хотя некоторые из вышеприведенных словосочетаний образуют действительно базовое поле понимания суверенитета, массивный «натиск прилагательных» на исследуемое нами понятие безусловно усиливал (и усиливает) путаницу, связанную с осмыслением суверенитета» [Мусихин, 2010, с. 65]. Формула «натиск прилагательных» здесь выглядит ключевой, в том числе применительно к ситуации взаимозаменяемости «суверенитета» как в качестве логического и коммуникативного субъекта, так и логического и коммуникативного предиката.

Так или иначе, но дискуссии на предмет концепта «суверенная демократия» создали достаточные предпосылки, на базе которых впоследствии стало возможным появление «суверенитета 3.0».

Суверенизация символического и суверенизация субстантивного

До недавнего времени на переднем плане находилось симметричное соотношение двух проекций суверенитета, того, что В. Цымбурский называл внутренними «диадами», «семантическим двучленом» [Цымбурский, 2011, с. 21]. Эта бинарность, можно сказать, архетип, уходящий корнями в позднеевропейское Средневековье, в доктрину «двух тел короля». Помимо смертного тела «суверен обладает нетленным политическим телом», в котором «концентрируется суть суверенитета» [Музи, 2018, с. 343]; когда «Короли умирают, но Король – никогда».

Дизъюнкции суверенности представляют собой множества, не поддающиеся, вероятно, какой-то каталогизации, но могут быть иллюстрированы:

- суверенитет как принадлежность государства-института (Гуго Гроций) и суверенитет как политическая собственность монарха (Феофан Прокопович);

- субъект власти участвует в двоякого рода отношениях: «он взаимодействует, с одной стороны, со всем, что входит в сферу его власти, а с другой – с силами и субъектами, независимыми от этой власти, но точно так же признающими ее независимость от них в

этой якобы «неотъемлемо» присущей ей сфере»; «полновластие и независимость» [Цымбурский, 2011, с. 203–204];

– «разделение суверенитета на «внешний» и «внутренний» есть лишь расчленение выраженной этим концептом динамической связи между фактом власти и ее внешним признанием» [там же];

– «суверенитет режима» и «суверенитет личности» (как предпосылка «суверенитета признания») [там же];

– дилемма суверенитета: признак государственности (который не предполагает акта провозглашения) или «одна из характеристик государства, которая в той или иной мере присуща определенной стране, но никак не признак самой государственности» [Субочев, 2016, с. 20];

– две «итерации» – суверенитет «от» и суверенитет «для» [Романова, 2024].

Другая концептуальная версия суверенности возникает тогда, когда она онтологически предстает ситуативно, в виде «релятивистской сущности» и «феномена флюидного суверенитета» [Евстафьев, Межевич, 2022, с. 147]. Эрозия «ветстфальского» суверенитета сопровождалась возникновением множественных эвфемизмов «многослойный» (layered), «разделенный» (divided), «фрагментированный» или «дисагрегированный» (disaggregated), «мягкий» (softened), «исчезающий» (waning) и т.п. [Кузнецова, 2013, с. 17; Соловьев, 2015, с. 45].

Отсюда же по-новому инициированная эвристика, все больше и больше вовлекающая политико-лингвистический инструментарий. Помимо ставших привычными приемов дискурс-анализа, предложено использовать процедуры «деконтекстации» или встраивания концепта и смежных речевых единиц в семантическое облако, а далее – выявление соответствующих детерминантов (см.: [Коцур, 2023]).

Сказанное относится к процессу логической предикации по отношению к одному логическому же субъекту, к центру или прототипу, к тому, что в семантике обозначается как тема (в отличие от ремы). На новом витке «словесно-идеологического» (пользуясь упомянутым определением М.М. Бахтина) процесса происходит рассредоточение концептов суверенности и умножение тем в разных секторах и сегментах социальной реальности.

Семантическая деривация, как было отмечено в вводных замечаниях, предстает при этом не как единственный режим смыслового «расщепления» языковых единиц. О деривации в строгом значении речь следует вести применительно к наименованиям узу-

сов – привычных, иерархически организованных, формально систематизированных, и субстантивно понимаемых вещей, того, что нормативно зафиксировано в юридических и технико-организационных конструкциях. Такая версия предполагает наличие инварианта и производных радиального типа. С большой долей условности такой режим семантической производности можно поместить в контекст институционального дискурса.

При этом выстраиваются структурированные и линейные последовательности (пучки, кластеры, цепочки), где производными от государственного суверенитета становятся «суверенитеты» над территорией страны, ее внутренними водами и территориальным морем, воздушное пространство (Конституция Российской Федерации, ст. 67). То же самое, вероятно, можно усматривать в «оборонном суверенитете», «стратегическом», «ракетно-ядерном» и т.п. В перспективе кредитно-финансовых категорий это, например, все то, что характеризует главенствующую роль национальных правительств (в отличие от корпораций или муниципий). Это – «суверенные долговые обязательства», «суверенные облигации», «суверенные гарантии», «суверенные риски», «суверенный дефолт» и проч.

Так или иначе, здесь в семантическом ядре – государственный суверенитет в его субстантивных проявлениях. Тогда же, когда речь заходит о сущностях не материального порядка, о вещах, наделяющихся смыслами и выражаемых символами и другими условными именами, о ценностях, то говорить о семантической деривации в эпидигматическом, как говорилось ранее, режиме становится очень затруднительно, если возможно в принципе. В случае, когда суверенность получает предикацию в отношении духовных, ценностных, культурных и социально-лингвистических сущностей, вряд ли убедительным будет суждение о том, что в данном случае присутствует инвариант или независимая переменная, когда концептуальным ядром служит государственность как таковая, публично-властные инстанции. На авансцену при этом выдвинуты (или подразумеваются) смыслы самобытности, самостояния, самодовления, автономного духовного производства и воспроизводства.

Примечательно, что еще советская традиция правоведческой мысли ассоциировала культурно-языковые феномены не с государственным, но с национальным суверенитетом. Соответствующая дефиниция гласит: «...это реальная политическая, социальная, территориальная, культурная, языковая самостоятельность нации,

которая проявляется в полноте суверенных прав нации и обеспечивает их наиболее полное осуществление. Суверенная нация самостоятельно решает вопрос о национальной организации и национально-государственном устройстве. Она вправе сохранять и свободно развивать свой язык, обычаи, уклад жизни, соответствующие национальные учреждения» [Красинский, 2015, с. 7].

В символической и ценностной перспективах семантика суверенности фрагментируется не в режиме деривации (буквально), но окказионально (контингентно) или произвольно и искусственно. Возникающие производные приобретают идиостилистическую окраску. При этом разыгрывается коллизия экстенсионалов и интенционалов, или – субстантивного и (отвечающего принципу референтности), с одной стороны, с другой – самозначащих слов, которые рекурсивно вызывают сами себя. И то и другое может соседствовать в одной и той же публикации, когда, например, «суверенное научное производство» и «онтологический суверенитет» разделяет печатное пространство одного-двух абзацев [Сергеев, Коктыш, 2024, с. 20].

«Суверенитеты» с предикатами культурного, языкового, мировоззренческого, мыслительного, когнитивного, нарративного, эпистимического – отнюдь не российские придумки, но концепты, широко представленные за рубежом. Не у нас в обиходе впервые появились «суверенная идентичность» [Tomer, Penn, 2021], «семиотический суверенитет» (“semiotic sovereignty”).

Возвращаясь непосредственно к предмету изложения: окказионально представленные коллокации суверенитета с ценностными и символическими сочленами не всегда выглядят как продукт авторско-индивидуального творчества. Иногда такие словосочетания возникают с притязаниями на институциональный дискурсивный статус в официально-документальных текстах. Характерен случай с ситуативной динамикой «культурного суверенитета». Здесь, по-видимому, речь идет об одном из наиболее показательных примеров когнитивной динамики концепта. На стадии, которая выше была обозначена как «1.0», суверенитет государства в области культуры в «Основах законодательства Российской Федерации о культуре» (от 9 октября 1992. № 3612-1) раскрывался через дефиницию «Российская Федерация самостоятельно реализует на своей территории соглашения и иные акты, регулирующие отношения Российской Федерации в области культуры с другими государствами, объединениями государств, а также международными организациями». Иными словами, политико-правовая норма была сформулирована в

узкоспециальных юридических терминах международной правосубъектности. По прошествии трех десятилетий и в семантике «3.0» в тексте названного акта появилась юридическая новелла. В числе оснований для выработки государственной культурной политики теперь значится положение: «Ряд недружественных государств, международных организаций и транснациональных корпораций, иностранных неправительственных организаций, а также различные экстремистские и террористические организации ведут деятельность, направленную на подрыв культурного суверенитета Российской Федерации, разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе способствующую обострению конфликтов в глобальном информационном пространстве». Трактовка используемых в акте понятий в свою очередь включила определение: «культурный суверенитет» – совокупность социально-культурных факторов, позволяющих народу и государству формировать свою идентичность, избегать социально-психологической и культурной зависимости от внешнего влияния, быть защищенными от деструктивного идеологического и информационного воздействия, сохранять историческую память, придерживаться традиционных российских духовно-нравственных ценностей»¹.

Очевидно, что речь идет о весьма различных семантиках. В первом случае – это закрепление международно-правовых полномочий государства в одной из областей сотрудничества. Защитные коннотации здесь не подразумеваются. Напротив, новейшие политико-правовые конструкции сформулированы как агональные, направленные на предотвращение угроз. Далее, это политико-правовая норма символической природы, отправляющая охранительные и идеологические, ориентационные функции, и не предполагающая непосредственного регулирования поведения участников правоотношений. Суверенитет здесь представлен не в виде формально-юридического термина, но в виде концепта, лежащего в основе правовой политики в определенной сфере. Повторимся, с точки зрения семантики это не экстенционал, а интенционал.

¹ Указ Президента РФ от 25.01.2023 № 35 «О внесении изменений в Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808» // Справочная система Консультант-Плюс. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_438209/ (дата посещения: 21.12.2024).

Было бы, однако, непродуктивно усматривать полностью замещающую роль символической суверенизации. Сегодняшняя ситуация демонстрирует стремительное восхождение субстантивных составляющих семантики суверенитета. Пространство публичных обсуждений, практики стратегического планирования, властно-управленческих решений на глазах захватывается дериватами, производными технологического суверенитета – «суверенный Интернет», «киберсуверенитет», «цифровой суверенитет», «суверенный искусственный интеллект», «суверенитет данных» ... Лавинообразно нарастает вал соответствующих публикаций в России и за рубежом, в том числе серьезной экспертной аналитики. Обзор их содержания не входит в задачи настоящего изложения. Уместно, по-видимому, ограничиться одной репрезентативной иллюстрацией.

Красноречивой иллюстрацией скоротечности концептуальных превращений концептов суверенности выглядит один медийный казус. Описывая ход дискуссии на партийном форуме «Единой России» 26 мая 2022 г. (сравнительно недавно, что существенно отметить), научный обозреватель «Независимой газеты» Андрей Ваганов делился наблюдениями: «...Дмитрий Медведев неожиданно серьезно и развернуто отреагировал на явно “проходное” популистское предложение одного из своих однопартийцев – придумать новый термин для импортозамещения. “Технологический суверенитет”, – тут же предложил зампред Совбеза... По-видимому, в данном случае словотворчество Дмитрия Медведева действительно попало в точку. То есть оно отвечает каким-то внутренним интенциям когнитивных элит ... Собственно, с этого момента термин “технологический суверенитет” и получает функционал высококонтагиозного (прилипчивого) репликанта-мема»¹. По прошествии недолгого времени, в июне 2024 г., А. Ваганов предваряет один из своих газетных материалов тезисом: «Технологический суверенитет стал в России почти национальной идеей»². Концепт, таким образом, в своем медийном восприятии переместился на высокой скорости по стилистической траектории от «мема» до «идеи». Теперь это государственная стратегическая установка, связанная с наличием критических и сквозных технологий под национальным контролем и с опорой на сотрудничество с дружественными странами.

¹ Ваганов А. Как обеспечить технологический суверенитет России // НГ-Наука. – 25 июня. – 2024. – Режим доступа: // https://www.ng.ru/nauka/2024-06-25/9_9035_russia.html (дата посещения: 21.12.2024).

² Там же.

Заключение

Учитывая скорость происходящего вокруг семантики суверенности, подступать к каким-то выводным суждениям трудно даже в приблизительном измерении. С достаточной степенью уверенности можно лишь предполагать, что концепты, начав жить своей жизнью, продолжают свое смысловое размножение и вездесущность. Пользуясь одним из новейших жаргонизмов из области массового потребления, можно сказать, что теперь это уже *маст-хэв* (*must have*) – то, что в обязательном порядке должно быть в наличии и никак иначе.

Далее, суверенность – в каком бы то ни было концептуально-семантическом статусе – будет по-прежнему ареной агональных схваток и в академических, и экспертно-аналитических форматах, но также и в публично-информационном противоборстве между непримиримыми идейными позициями. Суверенитет как политический идеал и ценность на одном полюсе будет сталкиваться с самыми что ни на есть энергичными lamentациями с другого полюса. Многие производные концепты в языке(ах) суверенности возникают и как символы, содержащие очевидные эвристические возможности и мощный мобилизующий потенциал, и как эмблемы, маркеры информационно-идеологической актуальности, нахождения «в тренде».

Наконец, концепты суверенности будут продолжать наращивать свои фреймовые структуры, распространяясь через границы семантических полей, в том числе за счет искусственного интеллекта, больших данных и многого другого, что не может быть объяснено чьими-то политическим пристрастиями и пропагандистскими интенциями.

O.B. Yanush, N.M. Mukharyamov*
Concepts of sovereignty in semantic derivation

Abstract. “Sovereignty” as a unit of language is rapidly beginning to fill a variety of semantic niches, while appearing in qualitatively different semantic statuses. Traditionally, the terminology of sovereignty is linked to its state, people’s and national versions, with the dichotomy of supremacy and independence, with the widespread

* **Yanush Olga**, Kazan State Power Engineering University (Kazan, Russia), e-mail: yanush_ob@yahoo.com; **Mukharyamov Nail**, Kazan State Power Engineering University (Kazan, Russia), e-mail: n.mukharyamov@yandex.ru

taxonomy of S. Krasner (1) internal sovereignty of public authority in interaction with society; 2) international sovereignty as an international legal principle; 3) “Westphalian” sovereignty as equality of players in international politics; 4) sovereignty of interdependence as the ability of the state to control transboundary flows). In the current public information space, nominations related to sovereignty (more broadly – the properties of sovereignty) penetrate into a wide variety of subject areas. In the so-called “extralegal” meanings and phrases – with regard to political, cultural, technological, epistemological, virtual objects – in the form of concepts, or (in contrast to terms in the strict sense) – formations with open possibilities of multiple interpretations, with expressed subjective principles. Here, new contour schemes, conceptual frames, semantic formations emerge. Numerous derivatives begin to grow from the common root prototype. Sovereignty in political-linguistic communication ceases to be perceived as something self-evident, self-referential. Concepts appearing in abundance (in contrast to legally strict categories) appear in various semantic positions, taking on reversible subject-predicate roles. Along with political and legal terms, there appear concepts-experiences, concepts-events, conventionally loaded symbols and, finally, emblems of ideological dispositions. This process of proliferation of semantic nuances and variants of word usage is marked by its stages and occurs in various modes. Semantic derivation is organized according to the rules of regularity, logically consistently, and generates hierarchical structures of derivatives in their linearity. In another version, new concepts can appear outside of a certain usage. Rather, they are characterized by sporadicity, kaleidoscopic situationality, are used outside of the generally accepted meaning, multiply rhizomatically, penetrating into contexts that seem to be unrelated to each other. Such a mode of semantic derivation is characterized as occasional, or conditioned by individual cases. Depending on this, concepts of sovereignty serve diverse purposes.

Keywords: sovereignty; concepts; derivation; usual and occasional; disjunction; extensional and intensional; symbols; emblems.

For citation: Mukharyamov N.M., Yanush O.B. Concepts of sovereignty in semantic derivation. *Political science (RU)*. 2025, N 2, P. 41–61. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.02>

References

- Bahtin M.M. *Questions of literature and esthetics: research from different years*. Moscow: Fiction, 1975, 506 p. (In Russ.)
- Bartelson J. Sovereignty before and after the linguistic turn. In: Alder-Nissen R., Gammeltoft-Hansen Th. (eds). *Sovereignty games. Instrumentalizing state sovereignty in Europe and beyond*. New York: Palgrave Macmillan, 2008, P. 33–46.
- Garadzha N. (ed.). *Sovereignty. Collection*. Moscow: Publishing House “Europa”, 2006, 304 p. (In Russ.)
- Girenok F. *Freedom and destiny. What have we understood thanks to the pandemic?* Moscow: Prospect, 2025, 80 p. (In Russ.)
- Gromyko A.A., Kovalev A.G., Sevostyanov P.P., Tykhvynskiy S.L. (eds). *Sovereignty*. In: *Diplomatic dictionary*. Moscow: Nauka Publishing House, 1986, 437 p. (In Russ.)

- Gurvich G.D. *"The Truth of the monarch's will" by Feofan Prokopovich and its Western European sources*. Yuryev: K. Matissen printing house, 1915, 112 p. (In Russ.)
- Evstafiev D., Mezhevich N. Competition of sovereignty models as a basis for the transition to a post-global world. *Contemporary Europe*. 2022, N 5, P. 146–159. DOI: <https://doi.org/10.31857/S0201708322050114> (In Russ.)
- Karasik V.I. *Linguistic crystallization of meaning*. Moscow: Gnosis, 2010, 351 p. (In Russ.)
- Kotsur G.V. Decontestation of the concepts of sovereignty and strategic sovereignty in the official discourses of Russia and the EU (2016-2021). *Polis. Political studies*. 2024, N 4, P. 23–36. DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2023.04.03> (In Russ.)
- Krasinski V.V. State sovereignty: epistemological dimension of problem. *Sovremennoe pravo*. 2015, N 7, P. 5–11. (In Russ.)
- Krasner St.D. *Problematic sovereignty. Contested rules and political possibilities*. New York: Columbia University Press, 2001, 367 p.
- Krongauz M. *Semantics*. Moscow: Russian State Humanitarian University, 2001, 399 p. (In Russ.)
- Kuznecova E. *Elusive sovereignty: status quo versus ideology of change. Monograph*. Moscow: ARGAMAK-MEDIA, 2013, 240 p. (In Russ.)
- Muzi A. Formation of the states of the New Age. In: Eco U. (ed.). *History of the Middle Ages: encyclopedia*. Moscow: Arbis, 2018, P. 341–345. (In Russ.)
- Musikhin G. Classification of theories of sovereignty. *Social sciences and contemporary world*. 2010, N 1, P. 64–78. (In Russ.)
- Neretina S.S., Ogurcov A.P. *Concepts of political culture*. Moscow: Institute of philosophy of the Russian Academy of Sciences, 2011, 279 p. (In Russ.)
- Orlov D. Political doctrine of sovereign democracy. *Sovereign democracy. From idea to doctrine*. Moscow: Europe, 2007, P. 6–11. (In Russ.)
- Potseluev E. Discussion (discourse) of sovereignty in the Russian legal science in late XIX – early XX century. *State and law*. 2016, N 12, P. 54–63. (In Russ.)
- Romanova T. The Evolution of the discourse on sovereignty and sanctions and its significance for the EU's external relations. *International trends*. 2024, N 1, P. 22–41. DOI: <https://doi.org/10.46272/IT.2024.22.1.76.6> (In Russ.)
- Sergeev V., Koktysh K. Scientific and technological progress and ontological provincialism. *International trends*. 2024, N 1, P. 6–21. DOI: <https://doi.org/10.17994/IT.2024.22.1.76.3> (In Russ.)
- Solov'ev Je.G. Geopolitical shifts in the modern world and problems of the evolution of the concept of sovereignty. In: Tsygankov P.A. (ed.). *Russia's foreign policy in the context of global uncertainty*. Moscow: Rusains Publishing House, 2015, P. 33–53. (In Russ.)
- Stepanov Yu.S. *Concepts. The thin film of civilization*. Moscow: Languages of Slavic cultures, 2007, 248 p. (In Russ.)
- Subochev V.V. Dissolution of sovereignty: theoretical approach to political and legal environment. *Legal policy and legal life*. 2016, N 2, P. 13–21. (In Russ.)
- Tomer J., Penn G. On the existential basis of self-sovereign identity and soulbond Tokens: An examination of the "Self" in the Age of Web3. *Journal of strategic innovation and sustainability*. 2021, N 17 (3), P. 1–9.

- Tsybursky V. *Conjunctures of the Earth and Time. Geopolitical and chronopolitical intellectual investigations*. Moscow: Publishing house "Europa", 2011, 372 p. (In Russ.)
- Walker N. The variety of sovereignty. In: Alder-Nissen R., Gammeltoft-Hansen Th. (eds). *Sovereignty games. Instrumentalizing state sovereignty in Europe and beyond*. New York: Palgrave Macmillan, 2008, P. 21–32.

Литература на русском языке

- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. – М.: Художественная литература, 1975. – 506 с.
- Гиренок Ф. Свобода и судьба. Что мы поняли благодаря пандемии? – М.: Проспект, 2025. – 80 с.
- Гурвич Г.Д. «Правда воли монаршей» Феофана Прокоповича и ее западноевропейские источники. – Юрьев: типография К. Матиссена, 1915. – 112 с.
- Евстафьев Д.Г., Межевич Н.М. Конкуренция моделей суверенитетов как основа перехода к постглобальному миру // Современная Европа. – 2022. – № 5. – С. 146–159.
- Карасик В.И. Языковая кристаллизация смысла. – М.: Гнозис, 2010. – 351 с.
- Коцур Г.В. Деконтекстуализация концептов «суверенитет» и «стратегический суверенитет» в официальных дискурсах России и Европейского союза, 2016–2023 // Политические исследования. – 2023. – № 4. – С. 23–36.
- Красинский В.В. Государственный суверенитет: гносеологический аспект проблемы // Современное право. – 2015. – № 7. – С. 5–11.
- Кронгауз М. Семантика. – М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2001. – 399 с.
- Кузнецова Е. Ускользающий суверенитет: статус-кво против идеологии перемен. Монография. – М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2013. – 240 с.
- Музи А. Формирование государств Нового времени // История Средневековья: энциклопедия / под ред. У. Эко. – М.: Арбис, 2018. – С. 341–345.
- Мусихин Г.И. Классификация теорий суверенитета как попытка преодоления «концептуального эгоизма» // Общественные науки и современность. – 2010. – № 1. – С. 64–78.
- Неретина С.С., Огуццов А.П. Концепты политической культуры. – М.: ИФРАН, 2011. – 279 с.
- Орлов Д. Политическая доктрина суверенной демократии // Суверенная демократия. От идеи – к доктрине. – М.: Европа, 2007. – С. 6–11.
- Поцелуев Е.Л. Обсуждение (дискурс) суверенитета в российской правовой науке в конце XIX – начале XX в. // Государство и право. – 2016. – № 12. – С. 54–63.
- Романова Т. Эволюция дискурса о суверенитете и санкциях и ее значение для внешних связей ЕС // Международные процессы. – 2024. – № 1 (22). – С. 22–41.
- Сергеев В., Коктыш К. Научно-технический прогресс и онтологический провинциализм // Международные процессы. – 2024. – № 1 (22). – С. 6–21.
- Соловьев Э.Г. Геополитические сдвиги в современном мире и проблемы эволюции концепции суверенитета // Внешняя политика России в условиях глобальной

- неопределенности / под ред. П.А. Цыганкова. – М.: Издательство «Русайнс», 2015. – С. 33–53.
- Степанов Ю.С.* Концепты. Тонкая пленка цивилизации. – М.: Языки славянских культур, 2007. – 248 с.
- Субочев В.В.* Исчезновение суверенитета: теоретический анализ политико-правовых реалий // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 2. – С. 13–21.
- Суверенитет* // Дипломатический словарь / гл. редакция *А.А. Громыко, А.Г. Ковалев, П.П. Севостьянов, С.Л. Тихвинский*. – М.: Издательство «Наука», 1986. – 437 с.
- Суверенитет: сборник* / Н. Гараджа (сост.). – М.: Издательство «Европа», 2006. – 304 с.
- Цымбурский В.* Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные исследования. – М.: Издательство «Европа», 2011. – 372 с.

РАКУРСЫ

Я. ВАН*

**(ПЕРЕ)ВООБРАЖАЯ РЕГИОН:
НАРРАТИВЫ О «ЕВРАЗИИ»
В ДИСКУРСЕ В.В. ПУТИНА
(2011–2024)**

Аннотация. Несмотря на популярность концепта «Евразия» в российском политическом дискурсе нельзя сказать, что его содержание и географические границы отличаются определенностью. Данная статья посвящена анализу трансформации представлений о «Евразии» и нарративов регионостроительства в дискурсе В.В. Путина с 2011 по 2024 г. В рамках интерпретативистских парадигм в статье предлагается оригинальный нарративный подход к изучению процесса конструирования региона. Заимствуя концепцию «нарративного шаблона» Дж. Верча и используя герменевтическую теорию нарратива, автор осуществляет нарративный анализ ключевых выступлений В. Путина, связанных с темой «Евразии» за 14 лет. Исходя из специфических нарративов о «Евразии», артикулировавшихся Путиным в различных контекстах, в статье были выделены повторяющиеся темы и общие нарративные элементы, на основе которых были реконструированы нарративные шаблоны.

Результаты исследования показывают, что в дискурсе Путина концепт «Евразия» приобретает три основных значения с разными географическими границами: государства (Россия), региона (постсоветское пространство) и континента («Большая Евразия»). Также в дискурсе Путина выделяются два нарративных шаблона о «Евразии»: функционально-экономический и цивилизационно-суверенный. В рамках этих шаблонов формируются различные сюжетные линии и образы «других», основанные на различных представлениях о будущем, что раскрывает двойственную логику воображения о «Евразии».

Ключевые слова: Евразия; нарратив; В.В. Путин; регион; географическое воображение; нарративный шаблон.

* **Ван Яли**, аспирант, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), e-mail: yavan@hse.ru

Для цитирования: Ван Я. (Пере)воображая регион: нарративы о «Евразии» в дискурсе В.В. Путина (2011–2024) // Политическая наука. – 2025. – № 2. – С. 62–87. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.03>

Введение

Регион – это не только природно-географическое, но и социально-политическое понятие. В данной статье регион рассматривается как дискурсивная конструкция и «воображаемое сообщество», подверженное постоянному переосмыслению и переопределению в дискурсивном пространстве. В то же время репрезентации и дискурсы о регионе обладают комплексным характером. Они затрагивают не только вопросы территории и границ, но и размышления о «нас» и «других», суверенитете и мировом порядке, а также тесно связаны с внешнеполитической практикой [Окунев, 2009; Колосов, 2011].

Этот подход полностью применим к анализу понятия «Евразия», которое исторически зародилось как «воображаемый регион» в политическом и интеллектуальном дискурсе. Через процессы осмысления, символизации и воображения этого географического пространства формируются различные интерпретации макрополитической идентичности России, ее отношений с восточным и западным «другими», ее места в мире, а также разнообразные проекты нациестроительства и политические практики [Замятин, 2009; Дружинин, 2021, с. 14; Вахитов, 2020; Bassin et al., 2015; Hann, 2016]. При этом евразийские дискурсы и воображения характеризуются высокой степенью гетерогенности и семантической нестабильности [Цымбурский, 1998; Замятин, 2024, с. 13; Tsygankov, 2003]. Таким образом, изучение процессов дискурсивного воображения региона позволяет не только выявить новые аспекты традиционной евразийской проблематики, но и раскрыть сложность и многогранность данного концепта.

В 2010-х годах, в связи с развитием проектов интеграции в постсоветском пространстве, таких как Евразийский экономический союз, и «поворотом на Восток» во внутренней и внешней политике России, «Евразия» снова стала модным словом в России. Однако это не добавило определенности, и в российской публичной сфере можно обнаружить разные ответы на вопросы, что такое «Евразия», где она находится и что она значит для российских элит [Tsygankov, 2022].

По последнему вопросу и у исследователей нет единого мнения. Некоторые из них считают, что российская властвующая

элита использует деполитизированную, прагматичную и функциональную лексику для описания «Евразии» [Kazharski, 2019], тогда как другие утверждают, что представление о «Евразии» в современном дискурсе по сути империалистическое [Trenin, 2002; Laruelle, 2008; Suslov, 2020]. Третьи же отмечают переход российского официального нарратива о Евразии с 2014 г. от экономической к более националистической логике, в которой всё активнее используются культурно-исторические аргументы и риторика противостояния Западу [Libman, 2022; Vieira, 2016; Постсоветское пограничье России..., 2018].

Мы попытались эмпирически исследовать значение «Евразия» и нарративы регионостроительства в дискурсе В.В. Путина с 2011 по 2024 г. Наш интерес к дискурсу Путина обусловлен тем, что, будучи главой государства, он обладает значительным символическим весом и выступает в качестве важной «узловой точки» (nodal point) российского публичного дискурса. Эта позиция позволяет ему не только интегрировать существующие дискурсивные ресурсы и символические репертуары, но и задавать рамки для последующего элитного и массового дискурса. Таким образом, Путин выступает в качестве мощного «строителя региона», чьи представления и нарративы о «Евразии» оказывают значительное влияние на политическое и общественное восприятие данного концепта.

В статье в рамках интерпретативистских парадигм предлагается оригинальный нарративный подход к изучению процесса конструирования региона «Евразия» в дискурсе В.В. Путина. Первоначально мы обсуждаем теоретические основы и преимущества данного подхода. Далее представляем нашу методологию и источники данных. В эмпирической части мы проводим анализ значения понятия «Евразия» в дискурсе Путина. Далее, исходя из специфических нарративов, мы выделили повторяющиеся нарративные элементы, затем реконструировали два нарративных шаблона о «Евразии». В заключение подводятся итоги, дается предварительное объяснение полученных результатов и предлагаются направления для будущих исследований.

Дискурсивное конструирование регионов: нарративный подход

Как многогранная категория, регион и его онтологическое положение могут быть рассмотрены через различные теоретиче-

ские призмы [Soderbaum, 2011]. Среди них наиболее радикальным является постструктуралистский подход «регионостроительства» (region building approach, RBA), который, опираясь на литературу по нацистроительству (nation-building) и генеалогический метод, рассматривает регионы как воображаемые сообщества, формируемые посредством речевых актов. Такой подход смещает фокус исследований с изучения регионов как таковых на процесс их конструирования, особенно на анализ «нарративов регионостроительства» (region-building narratives), создаваемых «строителями региона» [Neumann, 2003; Browning, 2003; Novelli, Pereira, 2009; Кузнецов, Грачевский, 2022]. Действительно, поскольку нарративы, описывая последовательность событий, подразумевают причинно-следственные связи и эссенциализируют существование регионов, они выступают в качестве мощного инструмента политического дискурса, используемого для продвижения региональных проектов.

Тем не менее подход «регионостроительства» часто подвергается критике за методологическую непрозрачность [Novelli, Pereira, 2009]. Это неудивительно, учитывая сложность самого понятия нарратива и разнообразие методов его анализа. В данной статье принимается минималистское определение нарратива, предложенное П. Эбботтом: нарратив – это «представление события или серии событий» [Abbott, 2008, p. 13]. Минималистское определение может служить «наименьшим общим знаменателем» для более сложных определений. И поскольку политики часто используют «упрощенные нарративы», которые редко полностью охватывают все элементы нарративной структуры, использование минималистского определения позволяет избежать априорного исключения определенных политических текстов как ненарративных [Shenhav, 2005; Malinova, 2022; Малинова, 2018; De Fina, 2017]. Таким образом, в каждом тексте каждое описание событий, связанных с «Евразией» в дискурсе Путина, может рассматриваться как отдельный нарратив.

В традиции исследований нарративов также существует деление на макро- и микроуровни анализа [Gee, 1990, p. 142; De Fina, 2017]. Микроуровневый анализ нарратива представляет собой изучение «рассказа» как процесса (storytelling), акцентируя ситуативный и интерактивный характер повседневных, индивидуальных, единоличных нарративов, а также их перформативность. В свою очередь, макроуровневое исследование сосредоточено на анализе разделяемого «шаблона» (*template*), который структурирует коллективные представления о событиях [Stapleton, Wilson, 2017].

Таким образом, в фокусе анализа находятся интертекстуальные связи между различными нарративами. Как отмечает Н. Фэркло, дискурс-анализ всегда «колеблется» между фокусом на конкретных текстах и вниманием к «порядку дискурса». Он подчеркивает, что это не должно быть выбором между двумя подходами, а, напротив, предполагает их синтез [Fairclough, 2003, p. 3].

Хорошее объяснение связи между микро- и макроуровнями нарратива предложено Дж.В. Верчем [Wertsch, 2002; 2008; 2021]. Он выделяет два уровня нарратива: «специфический нарратив» на микроуровне (*specific narrative*), который представляет собой ситуативный, конкретный рассказ о конкретных датах, местах и действиях, и «нарративный шаблон» на макроуровне (*narrative template*) – абстрактную обобщённую структуру, которая придаёт специфическому нарративу общую структуру и смысл.

Верч подчеркивает, что интертекстуальные связи и повторяемость между конкретными нарративами формируют основу их объединения на макроуровне в нарративный шаблон. В конкретных нарративах можно выявить общие темы и элементы, которые затем «абстрагируются» в нарративный шаблон [Wertsch, 2002, p. 60]. Однако такое «абстрагирование» может осуществляться разными способами.

Один из них, названный Д. Полкингхорном «анализом нарративов» (*analysis of narratives*), представляет собой парадигматический анализ, цель которого – выделение таксономий и категорий из общих нарративных элементов [Polkinghorne, 1995]. Этот подход близок к методам структуралистской нарратологии, которая сосредоточивается на анализе текстов как автономной системы, стремясь обобщить структурные элементы сюжета в различных нарративах. Примером могут служить анализ «морфологии сказки» В.Я. Проппа или архетипическая теория нарративных жанров Н. Фрая (комедия, романтика, трагедия, ирония/сатира) [Herman, Jahn, Ryan, 2010, p. 366].

Другой подход, который Д. Полкингхорн называет «нарративным анализом» (*narrative analysis*), близок к постклассической нарратологии и герменевтической теории нарратива. Хотя он также включает структурный и парадигматический анализ повторяющихся нарративных элементов, основное внимание уделяется нарративу как активной практике субъекта производства смысла (*meaning-making practice*), опосредованной культурно-социальным контекстом, а не как автономной и замкнутой текстовой системе [Robert, Shenhav, 2014; Brockmeier, Meretoja, 2014; Meretoja, 2018;

Herman, Jahn, Ryan, 2010]. Другими словами, центральное значение приобретает не столько выявление структурной организации событий в нарративах, сколько анализ того, как нарратор активно конструирует и компонует нарративные элементы. Это, в свою очередь, позволяет раскрыть интенциональность, лежащую в основе данного процесса, а также выявить более широкие, имплицитные и коллективно разделяемые социальные знания. Представляется, что такое понимание имеет особую значимость для политического нарратива, который следует рассматривать как целенаправленный инструмент политического субъекта для коммуникации с аудиторией [De Fina, 2017; Shenhav, 2006].

Фактически концепция «нарративного шаблона» Верча ближе именно к этому типу анализа. Верч отмечает: «Понимание внутренней логики нарративов... требует выхода за рамки самих нарративных текстов и учета того, как они укоренены в речи и мышлении активных агентов. На протяжении всего этого процесса активный агент участвует и может направлять “построение сюжета” в уникальных направлениях» [Wertsch, 2021, p. 65].

В герменевтической теории «конечная точка» или «смысл конечной точки» (the sense of ending) в нарративах рассматривается как центральный элемент анализа, вокруг которого ретроспективно выстраиваются остальные нарративные компоненты [Ricoeur, 1984, p. 67]. С когнитивной точки зрения процесс создания нарратива субъектом следует инверсной логике причинно-следственных связей. У. Лабов обозначает это явление как «предварительную конструкцию нарратива» (narrative pre-construction), отмечая, что нарратор, как правило, начинает повествование с «конца» – с осознания того, «к чему это ведет», – а затем ретроспективно формирует подходящее начало, среднюю часть и определяет роли акторов [Labov, 2006]. Таким образом, именно «конец» нарратива и его телеология придают нарративу смысловую целостность, становясь точкой отсчета для его интерпретации. Как справедливо отмечал Поль Рикёр, нарратив представляет собой ретроспективную конструкцию, в которой мы можем «читать конец в начале и начало в конце» [Ricoeur, 1980].

Одновременно литература показывает, что нарративы регионостроительства, как правило, носят нормативный характер, причем особое значение также придается измерению «видения будущего» [Makarychev, 2018; Gilbert, 2008]. Исследователи отмечают, что регионализм фактически представляет собой эмансипационное видение, однако существуют разные интерпретации «эмансипа-

ции» [de Witte, 2019]. Для объяснения различных видений будущего политические акторы ретроспективно выбирают разные начала и середины в нарративах о регионах, исключая «неудобные» эпизоды, и через линейную организацию (отобранных) событий в едином сюжете создают впечатление естественности региональных концепций и проектов.

На основе данной теоретической рамки мы, начиная со специфических нарративов, будем выявлять повторяющиеся и интертекстуальные нарративные элементы, а затем реконструировать нарративные шаблоны, которые отражают общее понимание Путиным региона «Евразия», которое, возможно, является социально разделяемым.

Методология и эмпирические данные

Материалами для анализа послужили стенограммы публичных выступлений В.В. Путина за период с 2011 по 2024 г. Нижней хронологической границей исследования была определена статья В.В. Путина «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня», опубликованная 4 октября 2011 г. в газете «Известия» в рамках предвыборной кампании. В данной статье Путин обозначил ключевую задачу своего следующего президентского срока – создание Евразийского союза. В ней подробно изложены его представления о необходимости, целях, принципах, перспективах и основных контурах этой интеграционной инициативы. Статья является первой публичной и систематической формулировкой концепции Евразийского союза, предложенной Путиным. Она выполняет функцию «плана на будущее» и служит «сравнительным ориентиром» для нашего исследования.

Верхней хронологической границей исследования выступает речь В.В. Путина, произнесенная в мае 2024 г. на заседании Высшего Евразийского экономического совета, посвященном десятилетию подписания Договора о создании Евразийского экономического союза. В этом выступлении президент подвел итоги десятилетней работы по развитию евразийской интеграции, а также обозначил направления дальнейшего углубления интеграционного сотрудничества. Выбранные хронологические рамки сосредотачивают внимание на фигуре В.В. Путина и охватывают весь процесс – от систематического изложения им концепции евразийского проекта до подведения промежуточных итогов его реализации.

Это позволяет выстроить логически завершенную последовательность событий и выделить связную цепочку релевантных текстов.

Мы обратились, с одной стороны, к важным ежегодным публичным выступлениям В.В. Путина, которые ориентированы на широкую аудиторию, с другой стороны, к стенограммам выступлений на мероприятиях, напрямую связанных с темой «Евразии». Такой выбор позволяет анализировать нарративы Путина не только в контексте обсуждения конкретной евразийской политики, но и в контексте более широких вопросов, что дает возможность уловить привычные для него способы воображения данного региона. В рамках рассматриваемого периода было отобрано 67 текстов.

В программе MAXQDA 2020 был проведен трехэтапный контент-анализ этих текстов (см. рис. 1).

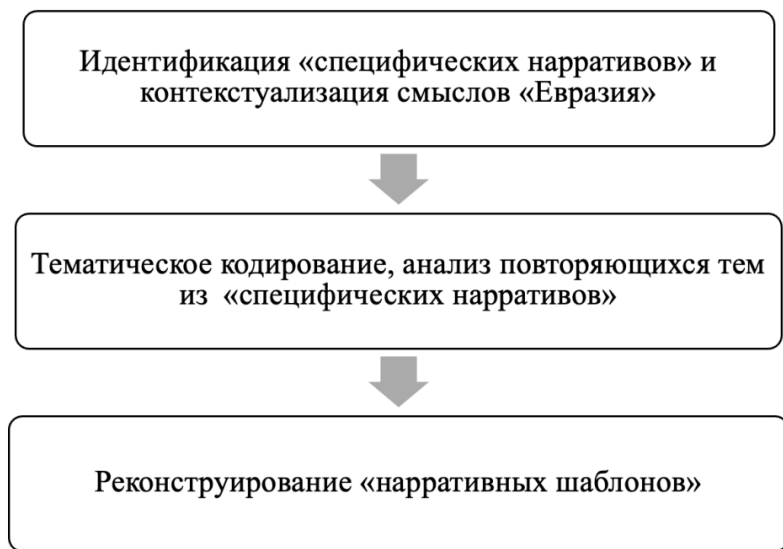


Рис. 1.
**Трехэтапная методология анализа
нарративов регионостроительства**

Первый этап – идентификация «специфических нарративов». Мы выделили все фрагменты, содержащие однокоренные слова «Евразии / Евроазии», и определили смыслы «Евразии» по контексту.

Второй этап – тематическое кодирование, или «анализ нарративов» по определению Полкингхорна. Для каждого специфического нарратива мы определяли, к какой теме он относится. Мы выявили четыре основные повторяющиеся темы в дискурсе В.В. Путина:

- Географические границы и контекстуальные значения «Евразии» (где?);
- Сюжетная линия: отбор значимых событий, описание пространственно-временных эволюций региона, построение связей между прошлым, настоящим и будущим (как?);
- Роли «других»: основные акторы и их роли по отношению к «Евразии» (кто?);
- Цели и телеология: конечные цели, миссии и нормативное видение будущего «Евразии» (для чего?).

Третий этап – конфигурация нарративных шаблонов, или «нарративный анализ», по определению Полкингхорна. Опираясь на описанную выше теоретическую рамку, особое внимание было уделено последней теме второго этапа. Мы анализировали: 1) комбинацию кодов, показывающую, как различные видения будущего «Евразии» приводят к разным сюжетным конструкциям и различным оценкам «других», что в конечном итоге формирует различные нарративные шаблоны; 2) частотность кодов и эволюцию конкурирующих нарративных шаблонов с течением времени.

Три «Евразии»

В речах В.В. Путина «Евразия» может иметь три различных смысла по контексту, каждое из которых соответствует определенным географическим границам (см. рис. 2).

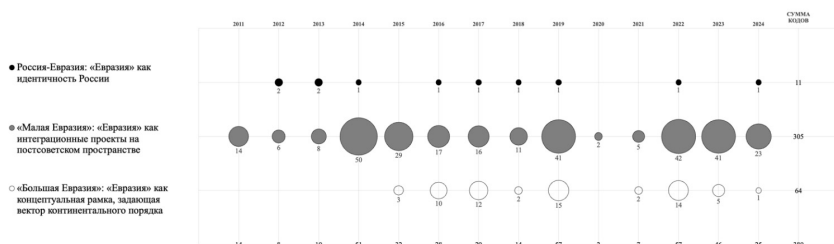


Рис. 2.

Контекстуальные значения «Евразии» и динамика упоминаний в речах В.В. Путина (2011–2024)

Во-первых, термин «Евразия» используется в дискурсе Путина для обозначения географического положения России и обусловленной им цивилизационной идентичности страны. По мнению президента, географическое положение России делает ее «евразийской державой»¹, «своего рода осевым районом мировой политики» и наделяет ее уникальной миссией «держателя равновесия между Востоком и Западом»². Россия «евразийская» не только в геополитическом смысле, «Евразия» также символизирует идентичность страны как государства-цивилизации³, которая сохраняет мультикультурность, полиэтничность и единство культур всех народов⁴.

Второй смысл «Евразии» относится к постсоветскому пространству и соответствующим интеграционным проектам, таким как ЕАЭС. Эта «Евразия» имеет четкие границы, правила членства и организационные структуры, ограничивается территорией СССР и часто обсуждается в смешанном техническом и романтическом риторическом стиле. Путин подчеркивает, что Евразийский союз – это не попытка «в той или иной форме воссоздать СССР», а «шанс для всего постсоветского пространства стать самостоятельным центром глобального развития, а не периферии для Европы или для Азии»⁵.

Третий смысл «Евразии» связан с концепцией «Большой Евразии», прототип которой был предложен российскими экспертами из аналитических центров в 2015 г. и впервые вошел в выступления президента в 2016 г. Эта концепция расширяет границы «Евразии» за пределы России и постсоветского пространства, нацелена на сопряжение постсоветской интеграции с другими интеграционными проектами, такими как «Один пояс, один путь» и Европейский союз. Фактически «Большая Евразия» представляет

¹ Пленарное заседание Восточного экономического форума // Президент России. – 2017. – 7 сентября. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/55552> (дата посещения: 10.10.2024).

² Заседание Совета по межнациональным отношениям // Президент России. – 2013. – 19 февраля. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/17536> (дата посещения: 10.10.2024).

³ Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» // Президент России. – 2013. – 19 сентября. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/19243> (дата посещения: 10.10.2024).

⁴ Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума // Президент России. – 2024. – 7 июня. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/74234> (дата посещения: 10.10.2024).

⁵ Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» // Президент России. – 2013. – 19 сентября. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/19243> (дата посещения: 10.10.2024).

собой концептуальную рамку и «дорожную карту» на завтра, задающие вектор взаимодействия государств континента и принципа организации огромного пространства от Атлантики до Тихого океана. По мнению Путина, «Большая Евразия» должна воплощать «интеграцию интеграций» и стать «настоящим цивилизационным проектом»¹, который способен преобразовать весь Евразийский континент в единый транспортно-логистический каркас и пространство сотрудничества, и привести к формированию всё более взаимосвязанного мира будущего².

Таким образом, в дискурсе Путина «Евразия» может обозначать и государство (Россия), и регион мезоуровня (постсоветское пространство), и весь континент («Большая Евразия»), что отражает многозначность данной концепции.

Два нарративных шаблона о «Евразии» и соответствующее «построение сюжета»

Анализ частотности и комбинации кодов показал, что у Путина есть двойственное нормативное представление о конечной цели и окончательной форме будущей «Евразии». Вокруг них формируются различные сюжетные структуры (темпорально-пространственные связи). Соответственно, мы называем их функционально-экономическим и цивилизационно-суверенным нарративным шаблонами (см. рис. 3).

Первый тип целей «Евразии» можно охарактеризовать как функциональный, с такими ключевыми словами, как интеграция, связность, безбарьерность и свободная торговля. Конечная цель заключается в создании «единого пространства от Атлантики до Тихого океана»³. А предпосылкой для реализаций взаимосвязанности является некая универсальность, в описании которой Путин косвенно признает некоторые аспекты неолиберализма и капита-

¹ Заседание круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь» // Президент России. – 2017. – 15 мая. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/catalog/keywords/82/events/54496> (дата посещения: 10.10.2024).

² Международный форум «Один пояс, один путь» // Президент России. – 2023. – 18 октября. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/72528> (дата посещения: 10.10.2024).

³ Заседание круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь» // Президент России. – 2017. – 15 мая. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/catalog/keywords/82/events/54496> (дата посещения: 10.10.2024).

лизма, подчеркивая, что Евразийский союз будет строиться на универсальных интеграционных принципах, включая ценности свободы, демократии, рыночные законы, нормы ВТО и «максимально либерализованный торговый режим»¹.

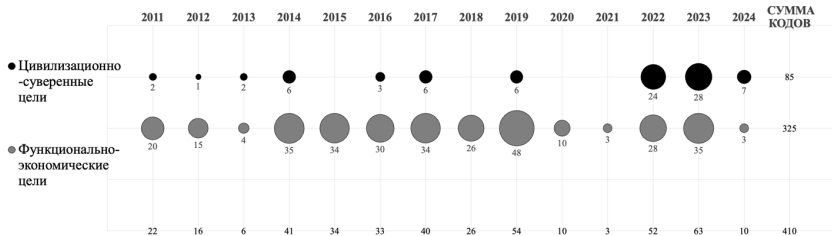


Рис. 3.
Диаграмма распределения частоты функциональных и цивилизационных целей / видения будущего «Евразии» в дискурсе В.В. Путина (2011–2024)

Функционально-экономическое видение «Евразии» сопровождается соответствующим процессом выстраивания сюжета (см. рис. 4). Особое внимание уделяется взаимоотношениям трех «Евразий»: Россия, постсоветское пространство, «Большая Евразия» / будущий мир. В данном нарративе три «Евразии» обладают внутренней преемственностью. Центральное географическое положение России в Евразии позволяет ей выступать связующим звеном между Востоком и Западом, в то время как постсоветское пространство, при поддержке таких проектов, как ЕАЭС, достигает «четырех свобод», устраняя барьеры и создавая общий рынок. «Большая Евразия», в свою очередь, описывается как будущее единое пространство и гармоничное экономическое сообщество от Лиссабона до Владивостока. Таким образом, Россия и «Малая Евразия» выступают прототипом и предвестником «Большой Евразии».

В функционально-экономическом нарративном шаблоне, помимо демонстрации пространственной связи трех «Евразий», также создается линейная, прогрессивная связь прошлого, настоящего и будущего, направленная к общей цели. Путин часто упо-

¹ Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня // Известия. – 2011. – 4 октября. – Режим доступа: <https://eivis.ru/browse/doc/26057544> (дата посещения: 17.01.2025).

минает советское прошлое, подчеркивая его важную роль в соединении народов и создании единого пространства, что служит обоснованием современных евразийских проектов. Что касается настоящего времени, в более ранних текстах функциональный нарратив о «Евразии» часто сопровождался оптимистическим описанием международного фона, где взаимозависимость становилась мировым трендом, тем самым Путин доказывал естественность создания ЕАЭС и «Большой Евразии»¹. Однако в более поздних текстах описание международного контекста стало более проблемно ориентированным, с критикой на протекционизм и фрагментацию в мировой экономике. Но такое описание реальности также служит обоснованием необходимости евразийских проектов².



Рис. 4.

Сюжетные линии о Евразии, развивающиеся вокруг функционально-экономического видения будущего

¹ Послание Президента Федеральному Собранию // Президент России. – 2012. – 12 декабря. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/17118> (дата посещения: 10.10.2024).

² Заседание круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь» // Президент России. – 2017. – 15 мая. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/catalog/keywords/82/events/54496> (дата посещения: 10.10.2024).

Однако начиная с 2014 г., особенно после 2022 г., хотя функциональные цели не исчезли из речей президента, все чаще встречаются совершенно другие целеполагание и нормативное видение «Евразии», ключевые понятия которого включают цивилизационное многообразие, суверенитет, национальные самобытности, идентичности народов и собственные модели развития. В отличие от функционального шаблона, идеальный мир будущего не является единым пространством без границ, а представляет собой цивилизационные блоки с неассимилируемым многообразием. «Большая Евразия» описывается как «цивилизационный проект, учитывающий разнообразие моделей развития, культур и традиций всех народов»¹.

В рамках данного шаблона при создании сюжетной линии и установлении темпорально-пространственных связей особое внимание уделяется схожей роли трех «Евразий» в защите многообразия, а не экономическим достижениям интеграции (см. рис. 5). По мнению президента, сущность евразийской идентичности России проявляется как инклюзивность «цивилизации цивилизаций»². В то же время преимущество интеграционных проектов на постсоветском пространстве заключается в способности сохранять национальную самобытность и идентичность народов³, а после 2022 г. – в защите суверенитета, политической независимости и снижении внешней зависимости в условиях западных санкций⁴. Будущая «Большая Евразия» же представляется как «цветущая сложность»,

¹ Первый Евразийский экономический форум // Президент России. – 2022. – 26 мая. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/68484> (дата посещения: 10.10.2024).

² Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума // Президент России. – 2024. – 7 июня. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/74234> (дата посещения: 10.10.2024).

³ Заседание Высшего Евразийского экономического совета // Президент России. – 2014. – 23 декабря. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/47311> (дата посещения: 10.10.2024).

⁴ Пленарное заседание Евразийского экономического форума // Президент России. – 2023. – 24 мая. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/71198> (дата посещения: 10.10.2024); Заседание Высшего Евразийского экономического совета // Президент России. – 2022. – 27 мая. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/68494> (дата посещения: 10.10.2024).

состоящая из цивилизационных альянсов и политико-экономических объединений¹.



Рис. 5.

Сюжетные линии о Евразии, развивающиеся вокруг цивилизационно-суверенного видения будущего

Что касается связи прошлого, настоящего и будущего в цивилизационно-суверенном нарративе, то было выявлено, что она следует не прогрессистской, а скорее логике «назад в будущее». Путин часто обращается к более древним мифическим «золотым» временам Евразийского континента, утверждая, что «на протяжении тысячелетий на огромном евразийском пространстве жили и живут народы разных культур, религий, традиций»². В современности Запад пытается унифицировать это разнообразие цивилизаций, не уважая традиционные ценности других обществ, навязывая

¹ Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» // Президент России. – 2017. – 19 октября. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/55882> (дата посещения: 10.10.2024).

² Международный форум «Один пояс, один путь» // Президент России. – 2019. – 26 апреля. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/60378> (дата посещения: 10.10.2024).

«странноватые новомодные тенденции»¹. Западный универсализм в данном контексте не является образцом, а становится объектом критики. Будущее Евразийского континента, по мнению Путина, должно вернуться к состоянию прошлого, восстановив «подлинное единство человечества, гораздо более сложное, самобытное и многомерное»².

Таким образом, мы обнаружили, что когда В. Путин подчеркивает функциональные, экономические и универсально-интеграционные цели и видение будущего «Евразии», соответствующие сюжетные конструкции включают прогрессивную траекторию «прошлое-настоящее-будущее», акцентируя внимание на роли России и постсоветского пространства как моста между двумя континентами и достижение в интеграционных проектах. В то время как усилившийся после 2022 г. цивилизационно-суверенный нарративный шаблон ставит целью защиту суверенитета и культурного многообразия, создание будущего многополярного мира и сопротивление западного универсализма. В этом шаблоне развивается другая связь «прошлое-настоящее-будущее», где будущее является «зеркальным отражением» прошлого, и роль России и постсоветского пространства заключается в защите идентичностей народов.

Образ Запада / Европы в функциональных и цивилизационных нарративных шаблонах

Разные видения будущего «Евразии» сопровождаются не только различными сюжетными структурами, но и значительными отличиями в оценке «других», особенно в образах Запада / Европы. В дискурсе Путина Запад / Европа выступают как «значимый Другой», находящийся в сложных и неоднозначных отношениях с «Евразией». Это проявляется не только в интенсивности упоминаний – при описании «Евразии» Путин чаще ссылается на ЕС, чем на другие региональные проекты, – но и в семантической напряженности этого «другого»: если «мировое большинство» представлено исключительно позитивно, то образ Запада / Европы оказывается более сложным и многогранным, демонстрирующим

¹ Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» // Президент России. – 2022. – 27 октября. – Режим доступа: <http://special.kremlin.ru/catalog/keywords/116/events/69695> (дата посещения: 10.10.2024).

² Там же.

разные степени совместимости с «Евразией» в двух нарративных шаблонах.

Мы проанализировали оценки Запада / ЕС (положительные / отрицательные / нейтральные) в тех же абзацах, где одновременно упоминаются цели «Евразии» (функциональные / цивилизационные), чтобы выявить наибольшую взаимосвязь. Результаты (см. рис. 6) показывают, что в функциональном нарративном шаблоне образ Запада / ЕС более позитивен или нейтрален, в то время как в цивилизационно-суверенном шаблоне образ Запада / ЕС в основном негативен.

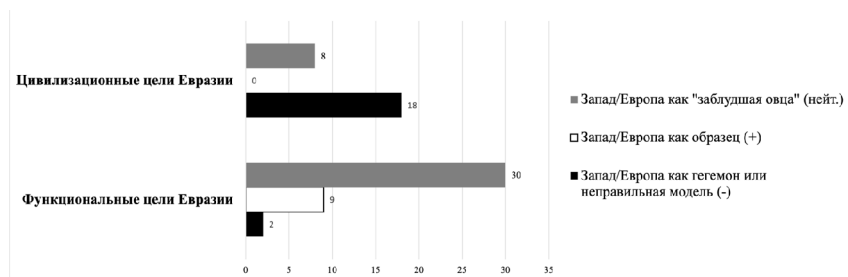


Рис. 6.
**Совмещение кодов «цели Евразии»
и «образ Запада / Европы» в одном абзаце**

В функциональном нарративном шаблоне Запад / Европа имеют образы «образца» (положительная оценка) или «заблудшей овцы» (нейтральная оценка), что демонстрирует их совместимость с «Евразией». В 2011–2012 гг. Путин неоднократно подчеркивал, что ЕС является образцом и «учителем» для интеграционных проектов в «Евразии» и что Евразийский союз в итоге станет неотъемлемой частью «Большой Европы»¹. С введением концепции «Большой Евразии» в 2016 г. Путин начал призывать не «Евразию» присоединять к «Большой Европе», а наоборот, приветствовать Европу в «Большой Евразии», подчеркивая преимущества и

¹ Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня // Известия. – 2011. – 4 октября. – Режим доступа: <https://eivis.ru/browse/doc/26057544> (дата посещения: 17.01.2025).

Встреча с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай» // Президент России. – 2012. – 25 октября. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/16717> (дата посещения: 10.10.2024).

перспективы такого сотрудничества. Он акцентировал внимание на том, что с участием Европы «[большое евразийское партнерство] станет действительно гармоничным, сбалансированным и всеобъемлющим, что позволит реализовать уникальный шанс создать единое пространство сотрудничества от Атлантики до Тихого океана – по сути, впервые за всю историю»¹. Даже после 2022 г. Путин признавал технологические преимущества развитых экономик по сравнению с «Евразией», указывая на возможности для развития отношений².

Помимо положительного образа «образца», Запад и Европа в функционально-экономическом нарративном шаблоне имеют также интересный образ «заблудшей овцы», в то время как «Большая Евразия», включающая Россию и мировое большинство, представляет собой «традиционный Запад». Вместо строгой бинарной оппозиции «я» – «другой» такая формулировка на самом деле признает возможность сотрудничества между Европой и «Евразией». В этом контексте Путин не отвергает модель либеральной глобализации, а, наоборот, акцентирует внимание на том, что Европа и Запад отказываются от принципов свободного рынка и свободной торговли, которые когда-то они сами поддерживали. «Большая Евразия», выступая за экономическую интеграцию, открытость и либеральный режим, на самом деле сохраняет модель «традиционного Запада»³. Таким образом, здесь отсутствует классический образ врага и границы «я» – «другой» становятся размытыми, внимание акцентируется на сходстве между «Евразией» и «Западом / Европой». Незаинтересованность Запада / Европы в евразийских проектах объясняется ошибками западных политиков, в то время как Путин подчеркивает, что «граждане этих стран, включая крупные, малые и средние компании европейских стран» всё еще заинтере-

¹ Заседание круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь» // Президент России. – 2017. – 15 мая. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/catalog/keywords/82/events/54496> (дата посещения: 10.10.2024).

² Первый Евразийский экономический форум // Президент России. – 2022. – 26 мая. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/68484> (дата посещения: 10.10.2024).

³ Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» // Президент России. – 2022. – 27 октября. – Режим доступа: <http://special.kremlin.ru/catalog/keywords/116/events/69695> (дата посещения: 10.10.2024).

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума // Президент России. – 2024. – 7 июня. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/74234> (дата посещения: 10.10.2024).

сованы в сотрудничестве¹. Поэтому между «Европой» и «Евразией» нет фундаментальных противоречий и бинарной оппозиции.

Однако в цивилизационном нарративе о «Евразии» Запад играет в большей степени отрицательную и антагонистическую роль «гегемона и неправильной модели интеграции». Критика Запада / Европы направлена на существо этой модели. Возникает бинарная оппозиция между Западом / Европой, с одной стороны, и Россией и «мировым большинством» – с другой. Например, Путин критикует модель интеграции ЕС за то, что «они по политическим соображениям забежали вперед», слишком уж игнорируя суверенитет, что привело к экономическому кризису². В то время как Евразийский экономический союз и «Большая Евразия» показывают правильные интеграционные модели, направленные на укрепление национального суверенитета³.

Одновременно с этим противостояние между «Евразией» и Западом / Европой также проявляется в попытке последнего навязать миру свою модель, фактически выступая в роли «мирового жандарма»⁴. Таким образом, либеральная модель Запада больше не служит образцом, а представляет собой угнетающую и, по сути, неокOLONиальную систему, а «Евразия», с ее упором на разнообразие, может стать альтернативой западной модели⁵.

Таким образом, мы приходим к выводу, что в функциональном нарративном шаблоне отсутствует бинарная оппозиция «я» – «другой», акцент больше сделан на потенциальную совместимость и возможности сотрудничества между Европой / Западом и «Евразией», тогда как в цивилизационно-суверенном нарративе Европа / Запад больше играют роль классического врага, стремящегося ас-

¹ Послание Президента Российской Федерации // Президент России. – 2019. – 20 февраля. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/59863> (дата посещения: 10.10.2024).

² Встреча с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай» // Президент России. – 2012. – 25 октября. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/16717> (дата посещения: 10.10.2024).

³ Пленарное заседание Евразийского экономического форума // Президент России. – 2023. – 24 мая. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/71198> (дата посещения: 10.10.2024).

⁴ Первый Евразийский экономический форум // Президент России. – 2022. – 26 мая. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/68484> (дата посещения: 10.10.2024).

⁵ Петербургский международный экономический форум // Президент России. – 2023. – 16 июня. – Режим доступа: <http://special.kremlin.ru/events/president/news/71445> (дата посещения: 10.10.2024).

симилировать и колонизировать весь мир по своим образцам, в то время как «Евразия» выступает против этих попыток, защищая цивилизационное разнообразие.

На самом деле изменение образа «другого» тесно связано с процессом «построения сюжета», который ведет к двум различным видениям будущего. В функциональном нарративном шаблоне будущее представлено как мир без барьеров, с высокой степенью интеграции и взаимосвязанности, что порождает сюжетную структуру с линейной прогрессивной организацией «прошлое-настоящее-будущее», подчеркивая переход от фрагментации к интеграции. Акцент на универсальность и космополитизм в представлении о будущем «мире без границ» естественно подразумевает, что не должно существовать противоположностей в виде абсолютных образов «других», а границы между «я» и «другим» становятся размытыми. В цивилизационном нарративе будущее представляется как цивилизационные блоки, в связи с этим сюжетная конструкция не развивается по линейной логике, ведущей к постсуверенитету. В этом нарративе акцент на национальной самобытности, идентичности и суверенитете фактически предопределяет существование «других». При этом «Запад / Европа» становятся не только «другим-врагом», но также признается неассимилируемое многообразие и гетерогенность внутри самой «Евразии».

Заключение и обсуждение

На основе анализа высказываний В.В. Путина за период с 2011 по 2024 г. мы выявили три смысла «Евразии» и два нарративных шаблона. В дискурсе Путина «Евразия» может означать государство (Россию), регион (постсоветское пространство) или весь континент («Большую Евразию»). Вокруг двух различных представлений о будущем «Евразии» формируются разные модели построения сюжета и темпорально-пространственных связей, а «другому» (особенно ЕС) придаются разные роли. В результате мы реконструировали два нарративных шаблона: функционально-экономический и цивилизационно-суверенный. Мы также обнаружили (см. рис. 3), что до 2022 г. доминирующим был функциональный нарративный шаблон, тогда как после 2022 г. оба нарратива стали почти равными по своей значимости.

Наше исследование ведет диалог с двумя основными направлениями исследований. Для исследователей, заинтересованных в

концепции «Евразии» и евразийстве, наше исследование опровергает распространенное мнение о том, что после 2014 г. российский официальный дискурс о «Евразии» полностью перешел на националистическую логику. Наши результаты показывают, что функциональная логика всегда играла важную роль даже после 2022 г.

На методологическом уровне мы предложили оригинальный телеологически ориентированный подход, обеспечивающий переход от «специфических нарративов» к «нарративному шаблону», который вносит вклад в операционализацию исследования нарративов регионостроительства.

Тем не менее наше исследование оставляет много открытых вопросов, которые могут стать интересными направлениями для будущих исследований.

Прежде всего, как интерпретировать сосуществование двух нарративных шаблонов в дискурсе Путина? Существует мнение, что между этими нарративными шаблонами есть определенное напряжение, особенно в контексте их различного понимания суверенитета. Функциональный нарратив ориентирован на представление постсуверенного, безграничного мира, в то время как цивилизационный нарратив предлагает будущее, в котором сохраняются суверенитет и национальная самобытность. Функциональный нарратив во многом схож с интеграционным дискурсом ЕС и Запада, который основан на неолиберальной модели, в то время как цивилизационный шаблон, по-видимому, выступает как форма сопротивления этому дискурсу [Akchurina, Della Sala, 2015; Makaryshev, 2018].

Однако отечественные исследователи евразийства, такие как Р.Р. Вахитов [Вахитов, 2020], А.В. Смирнов [Smirnov, 2020] и В.Л. Цымбурский [Цымбурский, 1998; 2003], могут утверждать, что различные формы «евразийства» в своей основе представляют попытку найти тонкий баланс между универсальностью и единством, с одной стороны, и множественностью – с другой. С этой точки зрения оба нарративных шаблона, вероятно, могут быть не только согласованы, но и рассмотрены как взаимодополняющие.

Исходя из нашей теоретической позиции постклассической нарратологии, мы понимаем нарративы как открытые динамичные процессы. Это означает, что различная интерпретация нарративных шаблонов Путина является частью этого совместно конструируемого и незавершенного процесса.

Данный вопрос, по сути, открывает еще одно перспективное направление для будущих исследований. С исторической точки

зрения представления о «Евразии» всегда отличались сложностью и множественностью. В новых геополитических условиях они инициируют ее «новое прочтение», переосмысление и адаптацию [Дружинин, 2021]. Нарративы Путина представляют собой лишь одну из «узловых точек» в этом сложном «дискурсивном кластере» о «Евразии», хотя и чрезвычайно значимую. Процессы интертекстуализации, реконтекстуализации и сложная эволюция нарративов в различных условиях, несомненно, представляют собой важный объект для дальнейшего исследования.

Ya. Wang^{*}
(Re)imagining the region:
narratives of “Eurasia” in the discourse of Vladimir Putin
(2011–2024)

Abstract. The concept of “Eurasia” has gained significant prominence in Russian political discourse in recent years, yet its geographical boundaries and ideological content remain ambiguous. This study explores the transformation of representations of “Eurasia” and the region-building narratives within the discourse of Vladimir Putin from 2011 to 2024. Framed by interpretivist and poststructuralist paradigms, the study introduces an innovative narrative approach to examining the discursive construction of regions. Drawing on J. Wertsch’s concept of the “narrative template” and the hermeneutic theory of narrative, the author conducted a three-stage narrative analysis of key speeches by Putin related to the theme of “Eurasia” over the past 14 years. First, the article analyzes specific narratives on “Eurasia” articulated by Putin across various contexts. Second, the author identifies recurring themes and narrative elements. Finally, the study reconstructs narrative templates.

The findings reveal that the concept of “Eurasia” in Putin’s discourse operates on three levels with different boundaries: as a state (Russia), as a region (the post-Soviet space), and as the whole continent (“Greater Eurasia”). At the same time, two narrative templates can be identified: functional-economic and civilizational-sovereign. Within these templates, various storylines are constructed, based on different visions of the future, which reveals the dual logic of Putin’s imagination regarding “Eurasia”.

Keywords: Eurasia; narrative; Vladimir Putin; region; geographical imagination; narrative template.

For citation: Wang Ya. (Re)imagining the region: narratives of “Eurasia” in the discourse of Vladimir Putin (2011–2024). *Political science (RU)*. 2025, N 2, P. 62–87. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.03>

^{*} Wang Yali, HSE University (Moscow, Russia), e-mail: yavan@hse.ru

References

- Abbott H.P. *The Cambridge introduction to narrative*. Cambridge: Cambridge university press, 2008, 270 p.
- Akchurina V., Della Sala V. Russia, Europe and the ontological security dilemma: narrating the emerging Eurasian space. *Europe-Asia studies*. 2018, Vol. 70, N 10, P. 1638–1655. DOI: <https://doi.org/10.1080/09668136.2018.1546829>
- Bassin M., Glebov S., Laruelle M. (eds). *Between Europe and Asia: The origins, theories, and legacies of Russian eurasianism*. Pittsburgh: University of Pittsburgh press, 2015, 267 p.
- Brockmeier J., Meretoja H. Understanding narrative hermeneutics. *Storyworlds: A journal of narrative studies*. 2014, Vol. 6, N 2, P. 1–27.
- Browning C.S. The region-building approach revisited: The continued othering of Russia in discourses of region-building in the European North. *Geopolitics*. 2003, Vol. 8, N 1, P. 45–71. DOI: <https://doi.org/10.1080/714001005>
- De Fina A. Narrative analysis. In: Wodak R., Forchtner B. (eds). *The Routledge handbook of language and politics*. London: Routledge, 2017, P. 233–246.
- de Witte F. Integrating the subject: Narratives of emancipation in regionalism. *European journal of international law*. 2019, Vol. 30, N 1, P. 257–278. DOI: <https://doi.org/10.1093/ejil/chz005>
- Druzhinin A.G. *The ideas of classical eurasianism: socio-geographical analysis*. Rostov-on-Don, Taganrog: Southern Federal university press, 2021, 270 p. (In Russ.)
- Fairclough N. *Analysing discourse*. London: Routledge, 2003, 270 p.
- Gee J. P. *Social linguistics and literacies: Ideology in discourses*. London: Falmer Press, 1990, 203 p.
- Gilbert M. Narrating the process: Questioning the progressive story of European integration. *JCMS: Journal of common market studies*. 2008, Vol. 46, N 3, P. 641–662. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2008.00795.x>
- Hann C. A concept of Eurasia. *Current anthropology*. 2016, Vol. 57, N 1, P. 1–27. DOI: <https://doi.org/10.1086/684625>
- Herman D., Jahn M., Ryan M. L. *Routledge encyclopedia of narrative theory*. London: Routledge, 2010, 718 p.
- Kazharski A. *Eurasian integration and the Russian World. Regionalism as an identity enterprise*. Budapest, New York: Central European university press, 2019, 208 p.
- Kolosov V.A. Critical geopolitics: foundations of the concept and its application in Russia. *Political science (RU)*. 2011, N 4, P. 31–52. (In Russ.)
- Kolosov V.A., Zotova M.V., Popov F.A., Gritsenko A.A., Sebestov A.B. Russia's Post-Soviet borderzone in between East and West (Analysis of political discourse). Part II: Looking East. *Polis. Political Studies*. 2018, N 3, P. 42–59. DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.05.06> (In Russ.)
- Kuznetsov D.A., Grachevskii G.A. The concept of “Indo-Pacifica” in the context of international region building. *World politics*. 2022, N 1, P. 93–105. DOI: <https://doi.org/10.25136/2409-8671.2022.1.37605> (In Russ.)
- Labov W. Narrative pre-construction. *Narrative inquiry*. 2006, Vol. 16, N 1, P. 37–45. DOI: <https://doi.org/10.1075/ni.16.1.07lab>
- Laruelle M. *Russian eurasianism: an ideology of empire*. Washington: Woodrow Wilson Center Press; Baltimore: Johns Hopkins university press, 2008, 276 p.

- Libman A. Does integration rhetoric help? Eurasian regionalism and the rhetorical dissonance of Russian elites. *Europe-Asia Studies*. 2022, Vol. 74, N 9, P. 1574–1595. DOI: <https://doi.org/10.1080/09668136.2022.2120184>
- Makarychev A. Normative and civilisational regionalisms: The EU, Russia and their common neighbourhoods. *The International spectator*. 2018, Vol. 53, N 3, P. 1–19. DOI: <https://doi.org/10.1080/03932729.2018.1483630>
- Malinova O.Yu. Legitimizing Putin's regime: The transformations of the narrative of Russia's post-Soviet transition. *Communist and Post-Communist studies*. 2022, Vol. 55, N 1, P. 52–75. DOI: <https://doi.org/10.1525/j.postcomstud.2022.55.1.52>
- Malinova O.Yu. The Commemoration in Russia of the Centenary of the 1917 Revolution(s): comparative analysis of rival narratives. *Polis. Political studies*. 2018, N 2, P. 37–56. DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.02.04> (In Russ.)
- Meretoja H. *The ethics of storytelling: narrative hermeneutics, history and the possible*. New York: Oxford university press, 2018, 368 p.
- Neumann I.B. A region-building approach. In: Söderbaum F., Shaw T.M. (eds). *Theories of new regionalism: A Palgrave reader*. London: Palgrave Macmillan UK, 2003, P. 160–178. DOI: https://doi.org/10.1057/9781403938794_9
- Novelli D., Pereira A.E. What makes a region: establishing analytical dimensions for the application of Neumann's region-building approach. *Revista Brasileira de informação bibliográfica em ciências sociais*. 2019, Vol. 89, P. 1–28. DOI: <https://doi.org/10.17666/bib8904/2019>
- Okunev I.Yu. Geographical imagination as a subject of critical geopolitics research. *Political science (RU)*. 2009, N 4, P. 126–137. (In Russ.)
- Polkinghorne D. E. Narrative configuration in qualitative analysis. *International journal of qualitative studies in education*. 1995, Vol. 8, N 1, P. 5–23.
- Ricoeur P. Narrative time. *Critical inquiry*. 1980, Vol. 7, N 1, P. 169–190. DOI: <https://doi.org/10.1086/448093>
- Ricoeur P. *Time and Narrative*. Chicago: University of Chicago press, 1984, Vol. 1, 285 p.
- Robert D., Shenhav S. Fundamental assumptions in narrative analysis: mapping the field. *The Qualitative report*. 2014, Vol. 19, N 38, P. 1–17. DOI: <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2014.1005>
- Shenhav S. R. Concise narratives: a structural analysis of political discourse. *Discourse studies*. 2005, Vol. 7, N 3, P. 315–335. DOI: <https://doi.org/10.1177/1461445605052189>
- Shenhav S. R. Political narratives and political reality. *International political science review*. 2006, Vol. 27, N 3, P. 245–262. DOI: <https://doi.org/10.1177/0192512106064474>
- Smirnov A.V. Classical eurasianism as a Post-Revolutionary philosophy. *Russian studies in philosophy*. 2020, Vol. 58, N 6, P. 522–534. DOI: <https://doi.org/10.1080/10611967.2020.1868263>
- Soderbaum F. Theories of regionalism. In: Beeson M., Stubbs R. (eds). *The Routledge handbook of Asian regionalism*. London: Routledge, 2011, P. 11–21.
- Stapleton K., Wilson J. Telling the story: Meaning making in a community narrative. *Journal of pragmatics*. 2017, Vol. 108, P. 60–80. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2016.11.003>
- Suslov M. Continent Eurasia in Russian geopolitical imagination. In: Suslov M. (ed.). *Geopolitical imagination: Ideology and utopia in Post-Soviet Russia*. Stuttgart: Ibidem Press, 2020, P. 203–226.

- Trenin D. *The end of Eurasia: Russia on the border between geopolitics and globalization*. Washington, Moscow: Carnegie endowment for international peace, 2002, 354 p.
- Tsygankov A.P. Mastering space in Eurasia: Russia's geopolitical thinking after the Soviet break-up. *Communist and post-communist studies*. 2003, Vol. 36, N 1, P. 101–127. DOI: [https://doi.org/10.1016/s0967-067x\(02\)00055-7](https://doi.org/10.1016/s0967-067x(02)00055-7)
- Tsygankov A.P. Russia, Eurasia and the meaning of Crimea. *Europe-Asia studies*. 2022, Vol. 74, N 9, P. 1551–1573. DOI: <https://doi.org/10.1080/09668136.2022.2134307>
- Tsybursky V.L. Twice-born “Eurasia” and the geostrategic cycles of Russia. *Vestnik Evrazii*. 2003, N 4, P. 5–33. (In Russ.)
- Tsybursky V.L. Two Eurasias: homonymy as a key to the ideology of early Eurasianism. *Vestnik Evrazii*. 1998, N 1–2, P. 6–30. (In Russ.)
- Vakhitov R.R. Dialectical definition of Eurasianism. *Voprosy filosofii*. 2020, N 7, P. 136–149. DOI: <https://doi.org/10.21146/0042-8744-2020-7-136-149> (In Russ.)
- Vieira A.V.G. Eurasian integration: elite perspectives before and after the Ukraine crisis. *Post-Soviet affairs*. 2016, Vol. 32, N 6, P. 566–580. DOI: <https://doi.org/10.1080/1060586x.2015.1118200>
- Wertsch J. V. Collective memory and narrative templates. *Social research: an international quarterly*. 2008, Vol. 75, N 1, P. 133–156. DOI: <https://doi.org/10.1353/sor.2008.0051>
- Wertsch J. V. *How nations remember: a narrative approach*. Oxford: Oxford university press, 2021, 271 p.
- Wertsch J. V. *Voices of collective remembering*. Cambridge: Cambridge university press, 2002, 202 p.
- Zamyatin D.N. Geocracy. Eurasia as an image, symbol, and project of Russian civilization. *Polis. Political studies*. 2009, N 1, P. 71–99. (In Russ.)
- Zamyatin D.N. *Imagining Russia: towards the formation of geocultures and meta-geographies of Northern Eurasia*. Saint Petersburg: Aleteia, 2024, 476 p. (In Russ.)

Литература на русском языке

- Вахитов Р.Р. Диалектическое определение евразийства // Вопросы философии. – 2020. – № 7. – С. 136–149. – DOI: <https://doi.org/10.21146/0042-8744-2020-7-136-149>
- Дружинин А.Г. Идеи классического евразийства и современность: общественно-географический анализ: монография. – Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2021. – 270 с.
- Замятин Д.Н. Вообразить Россию: к становлению геокультур и метагеографий Северной Евразии. – СПб.: Алетея, 2024. – 476 с.
- Замятин Д.Н. География Евразия как образ, символ и проект российской цивилизации // Polis. Политические исследования. – 2009. – № 1. – С. 71–99.
- Колосов В.А. Критическая геополитика: основы концепции и опыт ее применения в России // Политическая наука. – 2011. – № 4. – С. 31–52.
- Кузнецов Д.А., Грачевский Г.А. Концепция «Индо-Пацифики» в контексте международного регионостроительства // Мировая политика. – 2022. – № 1. – С. 93–105.
- Малинова О.Ю. Коммеморация столетия революции(й) 1917 года в РФ: сравнительный анализ соперничающих нарративов // Polis. Политические исследования. – 2018. – № 2. – С. 37–56. – DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.02.04>

- Окунев И.Ю.* Географическое воображение как предмет исследования критической геополитики // *Политическая наука*. – 2009. – № 4. – С. 126–137.
- Постсоветское пограничье России между Востоком и Западом (анализ политического дискурса). Часть II. Глядя на Восток / *В.А. Колосов, М.В. Зотова, Ф.А. Попов, А.А. Гриценко, А.Б. Себенцов* // *Полис. Политические исследования*. – 2018. – № 5. – С. 57–69. – DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.05.06>
- Цымбурский В.Л.* Дважды рожденная «Евразия» и геостратегические циклы России // *Вестник Евразии*. – 2003. – № 4. – С. 5–33.
- Цымбурский В.Л.* Две Евразии: омонимия как ключ к идеологии раннего евразийства // *Вестник Евразии*. – 1998. – № 1–2. – С. 6–30.

**О.Г. ХАРИТОНОВА, Ш.И. АБДУЛЛАЕВ,
Е.В. ПАСТУШЕНКО***

**IN VERBUM VERITAS: ПОБЕДНЫЕ ФРЕЙМЫ
В ДИСКУРСИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИТАЛЬЯНСКИХ
КРАЙНЕ ПРАВЫХ ПОПУЛИСТОВ**

Аннотация. В настоящее время «популистский момент» (Ш. Муфф) совпал с четвертой волной развития крайне правых партий, нарастивших свой коалиционный потенциал в результате мейнстриминга (К. Мюдде). В Италии примерами таких партий стали «Лига» и «Братья Италии». Статья посвящена проблематике дискурса крайне правых популистских лидеров до и после прихода к власти. Сделана попытка определить выигрышную формулу дискурса Дж. Мелони и М. Сальвини через выявление дискурсивной конфигурации фреймов популизма и нативизма и их трансформацию во времени. С этой целью были критически рассмотрены подходы к популизму и нативизму, проведен контент-анализ фреймов популизма и нативизма в речах М. Сальвини и Дж. Мелони и дискурс-анализ конструирования и репрезентации «народа» и «других». Проведенный анализ выявил разные конфигурации фреймов популизма и нативизма и разные степени радикализации правопопулистского дискурса. В дискурсе М. Сальвини произошла трансформация образа «народа» (от паданцев к итальянской нации), которому противопоставлялась «элита» в лице евробюрократов (ранее политические управленцы в

* **Харитоновна Оксана Геннадьевна**, доцент кафедры сравнительной политологии, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (Москва, Россия), e-mail: o.haritonova@inno.mgimo.ru; **Абдуллаев Шамиль Исаевич**, студент, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (Москва, Россия), e-mail: Abdullaev_Sa_I@my.mgimo.ru; **Пастушенко Екатерина Владимировна**, студентка, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (Москва, Россия), e-mail: Pastusenko_E_V@my.mgimo.ru

© Харитоновна О.Г., Абдуллаев Ш.И.,
Пастушенко Е.В., 2025

DOI: 10.31249/poln/2025.02.04

Риме) и группа «ненарода» – иммигранты, прибывающие, прежде всего, из Азии и Африки и исповедующие ислам. В дискурсе Дж. Мелони сменились акценты с символического на экономический нативизм и шовинизм благосостояния, на место «борьбы» с «чужими» пришла проактивная позиция перераспределения благ и поддержки законности и правопорядка. Показано, что формула успеха Дж. Мелони заключалась в постепенной дерадикализации крайне правого дискурса и исключении из него неключевых и противоречивых вопросов.

Ключевые слова: дискурс; популизм; нативизм; Италия; «Братья Италии»; Джорджа Мелони; «Лига»; Маттео Сальвини.

Для цитирования: Харитоновна О.Г., Абдуллаев Ш.И., Пастушенко Е.В. In verbum veritas: победные фреймы в дискурсивном пространстве итальянских крайне правых популистов // Политическая наука. – 2025. – № 2. – С. 88–114. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.04>

Введение

В настоящее время «популистский момент» (в терминологии Ш. Муфф) совпал с четвертой волной развития крайне правых партий, нарастивших свой коалиционный потенциал в результате мейнстриминга [Mudde, 2019]. Е.С. Алексеенкова говорит о «трансформации популизма из антиполитики в мейнстрим» [Алексеенкова, 2023, с. 200], Р. Водак – о «нормализации» популизма [Wodak, 2018, p. 17]. Согласно К. Мюдде, популизм превращается в «патологическую нормальность» [Mudde, 2010, p. 1168], вследствие «радикализация мейнстрима» [ibid., p. 1178]. В Италии примерами таких патологически нормальных партий стали «Лига» и «Братья Италии».

Партия «Братья Италии» (далее – БИ), основанная в 2012 г. в результате раскола правящей партии «Народ свободы», является наследницей неофашистского «Итальянского социального движения» и постфашистского «Национального альянса» [Baldoni, 2009]. Процесс всестороннего ребрендинга партии, начиная от трансформации идеологии из правого радикализма в неоконсервативный популизм и заканчивая символикой, привел к победе партии на выборах в 2022 г. История «Лиги» (далее – Лига) начинается с 1989 г., когда региональные Лиги объединились в единую «Лигу Севера». Процесс национализации партии был запущен избранным в декабре 2013 г. секретарем М. Сальвини, и в 2018 г. Лига набрала рекордное количество голосов (почти 18%), возглавив лагерь правопоцентристских партий, «став голосом не только крайне правых, но и самой консервативной части правого мейнстрима»

[Gattinara, Froio, 2021, p. 191]. На выборах 2022 г. Лига получила менее 9% голосов [Improta et al., 2022] и вошла в правящую правоцентристскую коалицию, возглавляемую Дж. Мелони.

Как объяснить успехи правопопулистов? Т. Гарр считал, что «электоральная поддержка экстремистских партий является ненасильственным проявлением недовольства» [Gurr, 2016, p. 63]. Согласно К. Мюдде, ответ находится «на стороне предложения», поэтому необходимо «вернуть популистов в анализ» [Mudde, 2010, p. 1181]. Одни авторы считают, что происходит трансформация популистских партий из «антисистемных» в «частично системные» (halfway house), в результате системной интеграции при сохранении антиметаполитической риторики [Zulianello, 2018]. Другие авторы отмечают, что популисты «последовательно трансформировали сформированные идентичности, [...] отказываясь от программных положений, которые в прошлом представлялись как воля народа» [Алексеевкова, 2023, с. 205]. В логике Р. Водак, которая фиксирует «нормализацию» через реконтекстуализацию и ресемiotизацию популистского дискурса [Wodak, 2018, p. 17], в данной статье сделана попытка определить выигрышную формулу дискурса лидеров Лиги и БИ через выявление дискурсивной конфигурации фреймов популизма и нативизма и их трансформацию во времени. Мы проследим как меняется образ «народа» (ресемiotизация) в различных контекстах (реконтекстуализация) в дискурсе лидеров. Для этого мы (а) критически рассмотрим подходы к популизму и нативизму; (б) проведем контент-анализ фреймов популизма и нативизма в речах М. Сальвини и Дж. Мелони; (в) сравним способы конструирования и репрезентации «народа» и «других» и используемые для аргументации дискурсивные стратегии.

Теоретико-методологическая рамка исследования

Наиболее распространенная концептуализация популизма К. Мюдде, вытекающая из идеационного подхода, определяет его как идеологию с разреженным центром, согласно которой общество разделено на две однородные антагонистические группы («истинный народ» и «коррупцированная элита»), а политика должна быть выражением воли народа» [Mudde, 2004, p. 543]. По мнению Я.-В. Мюллера, популисты не только антиэлитарны, но и антиплюралистичны, утверждая, что «политические конкуренты по сути нелегитимны, и любой, кто их не поддерживает, не является

частью народа» [Müller, 2017, p. 101]. Популизм является второстепенной характеристикой, которая может наслаиваться на любую идеологию, в том числе правую и левую, радикальную и умеренную (подробнее о концептуализации популизма см.: [Харитонов, Кудряшова, 2022]).

Я. Ставракакис считает, что правый (исключающий) популизм представляет собой националистическую и ксенофобскую идеологию с периферийными и / или вторичными популистскими элементами [Stavrakakis, 2017, p. 530]. Р. Брубейкер разделяет национализм и популизм, считая, что «нация», в отличие от «народа», не обозначает одну часть сообщества, противостоящую другой части, а характеризует целое сообщество [Brubaker, 2020, p. 52]. Дж. Хигэм в середине XX в. концептуализировал нативизм как «интенсивную оппозицию внутреннему меньшинству на основании его внешних («антиамериканских») связей» [Higham, 2002, p. 4]. К. Мюдде называет нативизмом сочетание национализма с ксенофобией [Mudde, 2019]. В отличие от национализма, сфокусированного на группе «мы-нация», и ксенофобии, сосредоточенной на борьбе с группой «они», нативизм обостряет «конфликт внутри народа в этнокультурном плане» [Betz, 2019, p. 132]. Нативизм представляет собой лишь одну из форм национализма, и «если нативизм всегда националистичен, то не все формы национализма являются нативистскими» [Kešić, Duyvendak, 2019, p. 462]. Итальянские авторы в этой же логике говорят о «нативистском национализме» [Albertazzi, Giovannini, Seddone, 2018, p. 16]. Согласно Х.-Г. Бетцу, в основе нативизма лежит страх перед потерей идентичности, «имплицитное понятие культурного превосходства», «исторически сложившаяся культура и система ценностей» [Betz, 2017, p. 171]. Ключевое различие между популизмом и нативизмом состоит в том, что популизм объединяет группу «народ», а нативизм, характеризующий только правый популизм, разделяет «народ» на антагонистические группы. Популизм разделяет общество по вертикали (народ против элиты), нативизм – по горизонтали (группа инсайдеров против аутсайдеров, не входящих в нее по видимым – этническим, расовым, культурным – признакам).

Дискурсивный подход понимает популизм и нативизм как набор когнитивных фреймов и изучает процесс конструирования популистских и нативистских образов в дискурсах партий и лидеров. Эти фреймы используются для аргументации «возвращения власти народу в популистском дискурсе и восстановления (права) владения политией для нации в националистическом дискурсе»

[Brubaker, 2020, p. 53]. Как указывал Тён ван Дейк, «дискурсы подобны айсбергам, большая часть подразумеваемой информации присутствует в основных ментальных моделях участников, но не на поверхности» [van Dijk, 2018, p. 36]. Дискурсивные исследования анализируют «ментальную карту» популистских лидеров и, в логике Э.Лаклау, изучают основные конструкты дискурса – «народ», «нация», «общество», их воображаемые границы, выявляют маркеры (signifiers) и узловые точки (nodal points) дискурса. Националистический дискурс будет структурирован вокруг маркера «нация» – ограниченное и суверенное сообщество, существующее во времени и пространстве, конструируемое через оппозицию «внутри / вне» между «нацией» и внешними группами [De Cleen, Stavrakakis, 2017, p. 307]. В этой же логике можно рассмотреть и нативизм, в котором «отправной точкой» будет маркер «нативность», но противопоставление будет конструироваться между нативной и ненативной группами «нации».

По мнению авторов, успех правопопулистских партий на выборах связан с конфигурацией фреймов в дискурсе. Были выбраны два дискурсивных фрейма – популизм и нативизм и две их разновидности, позитивный и негативный в логике позитивной и негативной свободы Э. Фромма. Позитивный популизм означает «популизм для» – для Италии, для народа, негативный популизм представляет собой «популизм от» – от врагов итальянского народа в виде коррумпированной воровской элиты на национальном и наднациональном уровнях. Под позитивным нативизмом мы понимаем «нативизм для» народа, включающий сохранение истории, культуры, религии, традиционных ценностей, под негативным нативизмом – «нативизмом от» разрушителей этих ценностей и традиций. Фреймы позитивного популизма конструируют «народ» и его границы, фреймы негативного популизма – «коррумпированную элиту» на национальном и наднациональном уровне (ЕС), фрейм позитивного нативизма – итальянскую христианскую идентичность «народа», фреймы негативного нативизма – ненативные группы, исключенные из «народа» по различным основаниям (см. табл. 1).

В корпус текстов Сальвини вошли две речи 2013–2014 гг. – выступление на съезде партии в декабре 2013 г., когда он был избран ее новым секретарем (далее – **S1**¹), и первое выступление

¹ Congresso Federale della Lega Nord 2013 – Intervento Integrato Di Matteo Salvini. – Mode of access: <https://www.youtube.com/watch?v=BNDU0rKTqZk> (accessed: 10.07.2024).

Сальвини на новом посту на собрании сторонников Лиги в Понтиде в 2014 г. (далее – **S2**¹), выступления в Понтиде в 2018 г. на собрании после победы (далее – **S3**²) и речь на партийном съезде в декабре 2019 г., когда сформировалась партия «Лига за Сальвини премьера» (далее – **S4**³). В корпус текстов Мелони вошли семь речей из трех групп, каждая из которых представлена речами до ребрендинга партии и после начала электоральной кампании 2022 г. Это речи на партийном съезде (далее – **M1**⁴ и **M2**⁵), выступления на тему миграции (далее – **M3**⁶ и **M4**⁷) и ответы оппонентам на дебатах (далее – **M5**⁸, **M6**⁹ и **M7**¹⁰). Все аудиовыступления были транскрибированы и закодированы.

¹ Pontida 2014 – Intervento Matteo Salvini. – Mode of access: <https://www.youtube.com/watch?v=h0OkJS1TcXg> (accessed: 10.07.2024).

² Pontida 2018. – Mode of access: <https://www.youtube.com/watch?v=T1WDIIo0cmQ> (accessed: 10.07.2024).

³ Matteo Salvini – Congresso Federale della LEGA (Milano, 21/12/2019). – Mode of access: <https://www.youtube.com/watch?v=R05nS5DSvfQ> (accessed: 10.07.2024).

⁴ Il testo integrale del mio discorso di replica al congresso di Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale. – Mode of access: <https://www.giorgiameloni.it/2014/03/10/il-testo-integrale-del-mio-discorso-di-replica-al-congresso-di-fratelli-ditalia-alleanza-nazionale/> (accessed: 10.07.2024).

⁵ Giorgia Meloni per Truzzu Presidente. – Mode of access: <https://www.youtube.com/watch?v=1G4iZrAXbZM&t=1s/> (accessed: 10.07.2024).

⁶ Giorgia Meloni smonta le menzogne sull'immigrazione. – Mode of access: https://www.youtube.com/watch?v=P_DADCK8Bul (accessed: 10.07.2024).

⁷ Contrasto all'immigrazione illegale: lavoriamo ogni giorno per mantenere gli impegni presi. – Mode of access: <https://www.youtube.com/watch?v=BftdRSW7qD8> (accessed: 10.07.2024).

⁸ Immigrati, Meloni a Minniti: il problema dell'Italia è avere il Pd. – Mode of access: <https://www.youtube.com/watch?v=aTgvTJVxljQ> (accessed: 10.07.2024).

⁹ Giorgia Meloni risponde a Laura Boldrini sul Global Compact. – Mode of access: <https://www.youtube.com/watch?v=JzWwFNZbWE4> (accessed: 10.07.2024).

¹⁰ Letta-Meloni, il faccia a faccia: l'immigrazione. – Mode of access: <https://www.youtube.com/watch?v=R3i33lgE2Rk> (accessed: 10.07.2024).

Таблица 1

Кодовая книга

Фреймы	код	Идеи	Примеры
Позитивный популизм («популизм для»)	ПП1	«народ» и границы народа	Во имя суверенного народа (<i>In nome del popolo sovrano</i>)
	ПП2	саморепрезентация лидера и партии	Мы – самая сильная партия на европейском уровне (<i>Siamo il più forte partito a livello europeo</i>)
Негативный популизм («популизм от»)	НП1	«коррумпированная элита» (национальный уровень)	Преступное государство (<i>Stato criminale!</i>)
	НП2	«коррумпированная элита» (ЕС)	Евро – это преступление против человечества (<i>L'euro è un crimine contro l'umanità</i>)
	НП3	другие политические акторы	Левые бродяги (<i>Barboni di sinistra</i>)
Позитивный нативизм («нативизм для»)	ПН1	история, культура, корни	Давайте вернем наше прошлое, чтоб вернуть наше будущее (<i>Riprendiamoci il passato per riprenderci il futuro!</i>)
	ПН2	традиционные ценности, религия	Италия является и хочет оставаться христианской. (<i>L'Italia è e vuole rimanere cristiana</i>)
Негативный нативизм («нативизм от»)	НН1	«другие» (иммигранты)	Стоп нелегальной иммиграции (<i>Stop all'immigrazione clandestina</i>)
	НН2	«другие 2» (либеральные ценности)	У нас есть мама и папа, а не родитель 1 и родитель 2 (<i>Abbiamo le mamme e papà, non i genitori 1 o 2!</i>)
Нейтральный	НН0	отсутствие популизма или нативизма	Другие

Таблица 2

Доля фреймов популизма и нативизма в речах М. Сальвини и Дж. Мелони

	Н0	ПП1	ПП2	НП1	НП2	НП3	ПН1	ПН2	НН1	НН2
M1	5,2	19,45	26,4	17,12	2,77	9,42	7,25	6,99	1,33	2,13
M2	9,07	5,41	35,63	5,29	0,44	17,3	5,03	0,22	1,07	0,95
M3	19,13	0,46	2,85	15,72	0,8	4,21	6,95	3,53	29,27	6,26
M4	19,13	3,59	2,85	1,26	1,75	11,83	0	0	10,38	0
M5	6,61	0,68	5,35	11,67	10,89	30,35	0	0	22,76	0
M6	19,87	0	15,3	5,05	1,1	40,6	1,58	1,58	9,31	1,58
M7	3,23	0	4,78	4,78	15,45	41,85	0	0	27,81	0
S1	11,72	13,23	39,14	6,20	4,92	14,85	2,50	1,96	3,46	2,03
S2	8,90	27,21	27,11	10,05	6,41	9,14	4,81	1,20	4,31	0,85
S3	12,45	20,87	30,62	2,83	3,79	8,79	10,83	3,67	4,94	1,21
S4	9,14	17,20	22,48	10,47	0	28,71	4,47	4,79	1,63	1,12

В статье проведен качественный контент-анализ фреймов на основе кодирования отдельных предложений (единицы анализа) и присвоения им кода фрейма, затем анализируется частота использования фреймов в речах популистов. При кодировании мы следовали подходу Э. Лаклау, для которого «народ» является «пустым

маркером» (empty signifier), «означающим без означаемого», который может стать «идентификационным маркером» в цепи эквиваленций [Laclau, 2005, p. 161–163]. Эквиваленция популистских фреймов проявляется не в схожести, а в общем (эквивалентном) противопоставлении элите, поэтому любые популистские предложения во имя «народа» против истеблишмента будут входить в одну цепь эквиваленций. Кодирование осуществлялось путем выявления цепей эквиваленций в популистских и нативистских фреймах и фиксации антагонистических цепей эквиваленций в качестве позитивных и негативных фреймов. Результаты контент-анализа представлены в таблице и диаграммах (рис. 1–4). Выделенные фреймы были агрегированы в индексы популизма и нативизма для иллюстрации результатов (рис. 4, 5). Далее проведен дискурс-анализ речей для выявления изменений в конструировании образов «народ» и сравнения ключевых дискурсивных средств и стратегий популистов. Ключевым средством в стратегии аргументации является топос – «формула поиска аргументов и обоснование (warrant), гарантирующее переход от аргумента к заключению» [Wodak, 2018, p. 14]. Топосы используются популистами для обоснования и легитимации своих заявлений. Например, следствие Y (морская блокада) необходимо, потому что существует причина X (нелегальная миграция), которая аргументируется при помощи топоса (угрозы, несправедливости, финансов).

Дискурс Маттео Сальвини

Дискурс М. Сальвини сначала делил итальянское общество на «настоящий народ» – североитальянские общины и чуждые этому народу «коррупцированные элиты» Рима и Брюсселя. Границы «народа» определялись географическими границами Падании, и главным лозунгом Лиги был «*Паданцы прежде всего!*» (S1). До отказа от идеи сецессии лигисты изобретали воображаемую «паданскую нацию» и искали в традициях, истории и культуре северных областей Италии основу национальной идентичности «паданцев». «*Мы на эшафоте, но палач еще не дернул веревку*» (S1), поэтому Лига должна «*освободить народ, чтобы паданцы определяли будущее*» (S1). Референдум о независимости Венето мог бы стать «*началом конца воровского государства (Stato ladro)*» (S1). Процесс воображаемого нациестроительства приводил к конфлик-

там с католической церковью¹, осквернению национального флага², оскорблению столицы страны³. В результате преобразования партии отказались от идеи независимости, перейдя к более умеренным требованиям предоставления автономии, но, как отмечает П. Макри, сама постановка вопроса сыграла важную роль, поскольку «наводила на мысль об историчности централизма» [Масгу, 2023, р. 117–118]. Постепенно М. Сальвини заменил «регионализм на пустую форму нативистского национализма, которая не смогла решить проблему экономического разрыва между севером и югом» [Albertazzi, Giovannini, Seddone, 2018, р. 645]. Регионалистский лозунг сменился национальным «Вся Италия!» (S3).

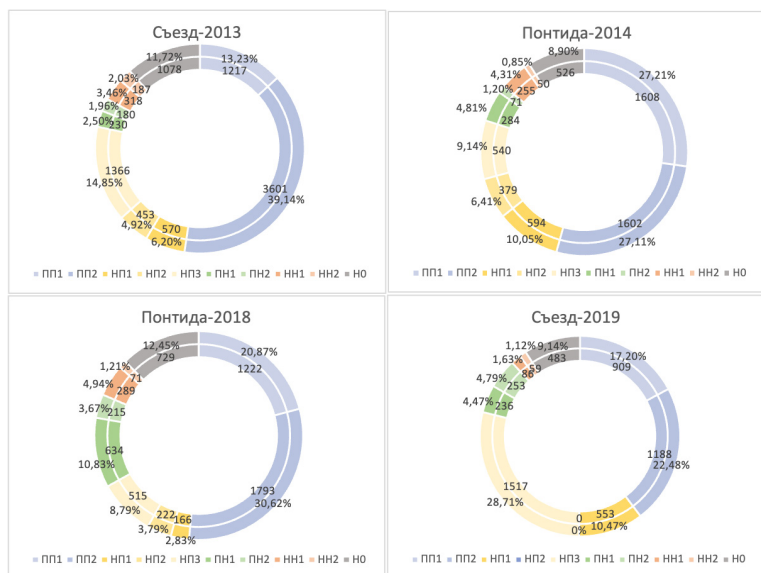


Рис. 1.
Фреймы в речах М. Сальвини

¹ La Lega Nord e la Chiesa cattolica: storia di un rapporto strumentale // Unione di Centro. – 2010. – Mode of access: <https://www.udc-italia.it/89505/> (accessed: 11.12.2024).

² 16 месяцев тюрьмы за надругательство над триколором // РБК. – 2001. – Mode of access: [https://www.rbc.ru/economics/24/05/2001/5703b4149a7947783a5a3460?](https://www.rbc.ru/economics/24/05/2001/5703b4149a7947783a5a3460?ysclid=m59yej85q573044285) (дата посещения: 11.12.2024).

³ Romoli D. Umberto Bossi e la nascita della Lega, 40 anni fa i leghisti calarono su Roma ladrona // L'Unità. – 2024. – Mode of access: <https://www.unita.it/2024/04/12/umberto-bossi-e-la-nascita-della-lega-40-anni-fa-i-leghisti-calarono-su-roma-ladrona/> (accessed: 11.12.2024).

Антиэлитарная и антиеэсовская аргументация М. Сальвини, в первую очередь, носила экономический характер – «воровское государство, люди в отчаянии ... нет работы, ... лишили бизнеса» (S1). Борьба с Римом обосновывалась тем, что элиты в столице неправильно перераспределяют ресурсы в пользу юга, так как «север платит налоги» (S2), а южные области живут за его счет: «мы не надежда для паразитов... для 30 000 лесников в Калабрии, для общественно полезных рабочих в Неаполе¹» (S1). ЕС представлен коррумпированной наднациональной элитой: «в Брюсселе сидят преступники» (S1), «Европа... уничтожает сельское хозяйство, работу ... крадет наше будущее» (S2), евро – это «инструмент, который держит Паданию в клетке» (S1); «валюта позора и безработицы» (S2). Поэтому с евро и Европой необходимо бороться: «Достаточно евро (Basta euro)!» (S2), «убить монстра» (S1), «битва против евро – священная битва» (S2). После прихода к власти в 2018 г. антиэлитарная риторика М. Сальвини сохранилась только в отношении Брюсселя – «следующая стена, которую мы разрушим, будет брюссельская» (S3).

С 2014 г. меняется подход Лиги к решению «южного вопроса»: от оскорблений и презрительного отношения к южанам – к необходимости оказания им поддержки («Если именно “Лига Севера” ... пытается освободить достойных людей, живущих на юге, то я – за, мы – за. Освободим их от ассистенциализма, от мафии, от Каморры и от иммиграции!»); «Мы освободим Сицилию», S2). Курс на сближение с электоратом юга позволил М. Сальвини превратить Лигу в общенациональную политическую силу. Успех на выборах 2018 г. подтвердил правильность такой стратегии, и в дальнейшем группа «мы» стала конструироваться как «итальянская нация» («Трентино и Молиз, Калабрия, Ломбардия, Тоскана и Сардиния. Это побратимство. Больше нас никто не разделит», S3) на основе общего культурно-исторического опыта и христианской религии в качестве объединяющего фактора («Италия является и хочет оставаться христианской до глубины души», S4). М. Сальвини пришел к тому, что стал нарочито демонстрировать свою религиозность, цитируя катехизис католической церкви, Луку и понтифика Франциска. Вместе с христианскими образами в основу

¹ Общественно полезные работники (Lavoratori Socialmente utili) // Ti Consiglio. – 2024. – Mode of access: (<https://www.ticonsiglio.com/lavoratori-socialmente-utili/>) (accessed: 11.12.2024).

конструирования нации закладывались традиционные ценности («Семья – брак между мужчиной и женщиной», S1).

При описании группы «мы» М. Сальвини использует слова, вызывающие позитивные эмоции (nicewordism) и рисуют картину силу и мощи (strongwordism) [Poggi, D'Errico, 2022, p. 94] – «Нас много, нас слишком много» (S1); «сообщество, семья, народ, который изменит мир» (S3). Для мобилизации сторонников используются образы войны – «остается только сражаться... мы в бою» (S1). Постепенно в риторике М. Сальвини наблюдается переход от жестких форм борьбы («Тот, кто прикоснется к одному из наших, должен начать бояться» (S1)) к более мягким – «битва за свободу мысли и слова» (S2); «война, которую мы будем вести всем оружием, которое предоставляет демократия» (S3). Он проявляет эмпатию, строит доверительные отношения, рассказывая истории из своей жизни и демонстрируя гордость быть членом Лиги («Лига – это не партия, а семья, и я горжусь тем, что являюсь членом этой семьи», S2; «каждый из вас – мой брат, моя сестра, дети каждого из вас – мои дети», S3). Он говорит, что использует «24 часа, которые дает Господь, для защиты истории этой страны, ее культуры, работы (...), чтобы народ вновь обрел свою гордость» (S3).

Если образ «народа» стал шире, а круг «чужих» сузился, то позиция в отношении «чужаков-иммигрантов» осталась неизменной. В первой речи в качестве главы партии М. Сальвини четко выразил свое отношение к иммигрантам, беженцам и ищущим убежища, фактически приравняв их всех к нелегалам – «то есть нелегальных иммигрантов больше нет. (...) Есть беженцы, просители убежища, мигранты» (S1). С увеличением миграционного потока в Италию (особенно с середины 2010-х годов)¹ и возросшим числом мусульман в стране, а также на фоне происходивших терактов в Европе, совершаемых религиозными экстремистами преимущественно из стран Ближнего Востока, М. Сальвини для укрепления коллективной идентичности «своих» прибег к обострению противоречий с «чужими» и созданию образа «врага» в лице иммигрантов, мусульман и выходцев из стран Азии и Африки. Сальвини активно использует метафоры войны, содержащие в себе элементы религиозной нетерпимости, а также обращает внимание

¹ Italy – Flow Monitoring Survey (June – November 2016) // IOM. Displacement Tracking Matrix. – 2016. – Mode of access: <https://dtm.iom.int/reports/italy-flow-monitoring-survey-june-november-2016?close=true> (accessed: 13.12.2024).

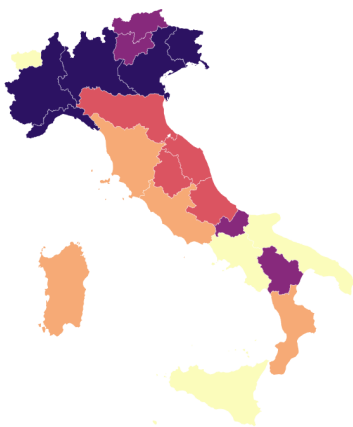
на такие отличительные признаки мигрантов, как место происхождения, цвет кожи, язык и т.д. – «Одно дело – свобода вероисповедания, другое дело – свобода вторжения» (S1); «Для правонарушителей и исламских экстремистов в нашем доме нет места» (S4). В итоге масштабы борьбы с конструируемыми Сальвини угрозами раздуваются до «глобального» уровня («Это не локальный вызов... это глобальная битва» (S4)), и Лига начинает позиционировать себя в качестве «последней надежды на спасение христианского народа на Западе» (S4).

По замечанию С. Онделли, создается впечатление, «что весь развивающийся мир приехал в Италию, чтобы совершать преступления и планировать теракты»¹. В дискурсе Лиги перемешиваются страхи перед «нецивилизованными» выходцами из стран Азии и Африки, визуально сильно отличающимися от большинства граждан Италии и социокультурно далекими от общественных порядков, существующих на Апеннинах, и страх перед различными криминальными группами на юге, которые продолжают фигурировать в речах Сальвини после провозглашения курса на сближение с югом («Мы ненавидим мафию, Каморру, Ндрангету и будем бороться с ними любыми средствами как на Севере, так и на Юге», S3). Данные образы хорошо сочетаются с идеями законности и порядка («правоохранительные органы заслуживают уважения, а Италии нужны правила, порядок и дисциплина, а не хаос и идиоты», S4).

Графики (рис. 2) показывают высокую долю позитивного популизма (40–55%), что отчасти объясняется тем, что выступления обращены к широким народным массам и содержат мало конкретных планов действий, а, скорее, общие лозунги. Вместе с этим вторым по значимости компонентом выступает негативный популизм. И если соотношение подтипов НП (негативного популизма, см. табл. 1) за 2013–2014 гг. примерно сопоставимо, то в 2018 г. заметен явный спад НП, особенно критики в отношении правительства (НП1), что связано с приходом лигистов к власти. В 2019 г., после распада правящей коалиции, сформированной Лигой и «Движением пяти звезд», критика возобновляется с новой силой. Особенностью показателей за 2018 г. является заметно возросшая доля позитивного нативизма (ПН). Расширение территории влия-

¹ Ondelli S. L'identificazione del nemico: un'analisi dei Tweet di Matteo Salvini dal 2011 al 2018 // Treccani. – 2018. – Mode of access: https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/razzismo/Ondelli.html (accessed: 13.12.2024).

ния Лиги на всю страну и обращение к общенациональным ценностям значительно помогли партии в обретении новых голосов. Для Италии характерен большой социально-экономический раскол между северными и южными провинциями – в десятке городов с самым высоким уровнем качества жизни¹ находятся города в северных и северо-восточных провинциях («воображаемая Падания»). Поддержка М. Сальвини в 2022 г., в первую очередь, на севере (рис. 6) показывает, что для южан он так и остался «северянином».



Легенда: % поддержки: < 5.9 5.9–7.6 7.6–8.6 8.6–9.3 ≥ 9.3

Рис. 2.

Поддержка Лиги на выборах 2022 г.

Источник: составлено авторами на основе данных [Improta et al., 2022].

Как показывает анализ, популистский дискурс с элементами позитивного и негативного нативизма оказался выигрышной дискурсивной тактикой для Лиги в 2018 г. Результаты анализа дискурса Дж. Сальвини до и после 2018 г. свидетельствуют, что в политическом соперничестве за голоса избирателей на общенациональном уровне одного популизма недостаточно. Возможным объяснением снижения поддержки Лиги после 2018 г., помимо правительственного кризиса, является стремление партии, отказавшейся от своей исключительно региональной привязки, выделиться в условиях

¹ Qualità della vita. Le classifiche 2021 // Lab 24. – 2024. – Mode of access: <https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/tabelle/2021/classifica-finale> (accessed: 13.12.2024).

конкуренции среди других крайне правых, борющихся за относительно однородный электорат в масштабах всей страны, через обращение к традиционным для Лиги точкам опоры на севере. Постепенный возврат к популистской стратегии, сохранение доли негативного нативизма и уменьшение доли позитивного нативизма в дискурсе Сальвини во многом связан с пониманием рисков соперничества, например с БИ, которые традиционно имеют большую поддержку на юге. После 2018 г. Лига, закрепленная корнями на севере и всегда располагавшая там своими главными организационными структурами, решила сосредоточиться на более привычном для нее популизме, не отказываясь от общенациональных охватов своей деятельности и стараясь формировать в нужном для себя ключе общую повестку по определенным вопросам (борьба с нелегальной миграцией и предоставление большей автономии регионам), смещая акценты с нативистских мотивов.

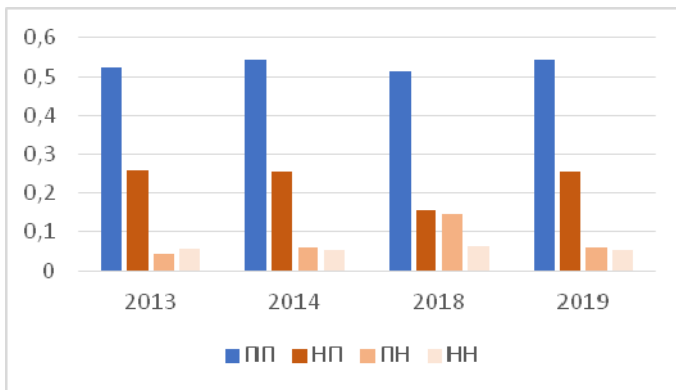


Рис. 3.

Индексы популизма и нативизма в речах М. Сальвини

Дискурс Джорджи Мелони

На момент произнесения в спешке подготовленной речи во Фьюджи партия БИ не могла предложить своему избирателю ничего, кроме популизма. Об этом говорит как название выступления («Во имя суверенного народа»), так и отдельные фразы («мы основываем общенациональную партию», М1). Фразы, в ходе фрейм-анализа отнесенные к категории «позитивный популизм», занимают 45% речи, т.е. почти половину выступления. Доля негативного

популизма первой категории, то есть антиистеблишмента, тоже крайне высока – 20%. Дж. Мелони не просто критикует правительство, но опосредованно объявляет ему войну, о чем говорит обилие милитаризированной лексики: «я *политический боец*», «мы *будем сражаться с правительством*» (M1), «вы *готовите вторжение в Италию!*» (M5). Она рисует картину битвы, которую Италия проигрывает, поскольку «марионеточные правительства Марио Монти, Энрико Летты и Маттео Ренци» добровольно сдают ее в руки врага – «Меркель или Европейский центральный банк» (M1).

После прихода БИ к власти апелляции к некомпетентности правительства утратили свою актуальность, о чем свидетельствует снижение доли негативного популизма первой категории – в речи M2 до 5%. Дж. Мелони продолжала выстраивать идентичность своей партии вокруг борьбы с врагами, и негативный популизм третьей категории занимает 18% речи. Все выступление в Сардинии основано на том, что правые легко решили проблемы, на которые левые закрывали глаза десятилетиями («*Италия добилась стабильного уровня занятости, (мы) перестали тратить деньги граждан, семейный доход увеличивается на 1,4%, показатель в 7 раз превышает средний показатель по странам ОБСЕ*, M2). Отсюда крайне высокая доля позитивного популизма второй категории – 36%. Но Дж. Мелони не просто акцентирует внимание на собственных достижениях, ей важно подчеркнуть чужие провалы и развить нарратив о том, что ошибки были допущены сознательно, в погоне за собственным обогащением и милостью ЕС. Позиция Дж. Мелони по отношению к ЕС смягчилась: она обвиняет не союз целиком, а отдельных его представителей («*часть Европы двигалась в противоположном направлении*», M4). Доля негативного популизма второй категории (критика ЕС) снизилась до 0,44%. К 2022 г. Дж. Мелони отказалась от критики институтов истеблишмента (как внутри Италии, так и на наднациональном уровне) и пустых апелляций к воле народа в пользу риторики, фокусирующейся на конкретных предложениях или достижениях БИ с целью противопоставить прагматичную эффективность правой коалиции идейному кризису левых предшественников.



Рис. 4.
Фреймы в речах Дж. Мелони

Она фокусируется не столько на ничтожности чужих, сколько на превосходстве своих, объясняя, почему государство должно заботиться об одной конкретной группе населения. В речах Дж. Мелони до ребрендинга партии присутствуют внушительные фрагменты, восхваляющие славные качества итальянского народа. Однако, чтобы описание достоинств приобрело нативистский характер, необходимо говорить о них через призму исключительности. Символический нативизм [Betz, 2019] акцентирует гибель уникальной культуры титульной нации под воздействием глобализации. Большая часть речи в Триесте посвящена призыву защищать традиционные христианские ценности и итальянскую историю, и фреймы позитивного нативизма занимают почти 20% выступления. Дж. Мелони сетует на то, что итальянская молодежь не знает своего славного прошлого, вместо этого идеализируя героев других стран («аргентинца, погибшего в Боливии под именем Че Гевары», М1). В своих парламентских выступлениях Дж. Мелони регулярно обвиняет правительство в намеренном поощрении нелегальной иммиграции, уничтожающей культуру итальянского народа («Когда у тебя нет корней, ты раб, когда ты раб, ты служишь интересам Сороса», М6). Негативному нативизму первой категории, то есть антимиграции, в данной речи отводится 10% выступления.

В логике экономического нативизма [Betz, 2019] Дж. Мелони утверждает, что государство должно гарантировать своим гражданам приоритетные позиции в экономике, вести протекционистскую политику, защитить итальянского предпринимателя (*«Сколько еще итальянских компаний должны будут закрыться в Прато, пока десятки китайских компаний откроются»*, **М1**). Критическое отношение к элите представлено через призму шовинизма благосостояния, который подразумевает перераспределение социальных льгот в пользу титульной нации. До 2022 г. Дж. Мелони регулярно обвиняла действующее правительство в том, что деньги идут на спонсирование нелегальной миграции (*«Итальянцы не рожают детей... потому что итальянское государство тратит миллиарды евро на поощрение неконтролируемой иммиграции вместо того, чтобы помочь итальянским семьям!»*, **М3**). Речь, посвященная проблеме миграции, отличается рекордным количеством негативного нативизма – 35% выступления. Она критикует любые денежные траты на содержание мигрантов (*«Когда мы эмигрировали, никто не платил нам 37 с половиной евро в день!»*, **М6**).

После 2022 г. в речах Дж. Мелони негативный нативизм занимает всего 2% выступления. Основной коммуникативной стратегией партии стал упор на эффективность проводимой политики и противопоставление собственных успехов провалам предшественников. Иммиграция не стала исключением. Дж. Мелони больше не может предлагать радикальные популистские меры, подобно морской блокаде (которая напрямую упоминалась в речах **М1**, **М3**, **М6**, **М7**). Теперь она говорит о структурном решении проблемы (*«Итальянское правительство работает над структурным решением... которое может обеспечить долгосрочное решение этой проблемы»*, **М3**). При этом нативистский подтекст остается: хотя Дж. Мелони и не говорит о том, что мигранты лишают чего-то итальянцев, однако она на это намекает. *«В первые несколько недель этого года количество посадок / нелегальных мигрантов / сократилось более чем в два раза, а это значит, что... постепенно результаты придут»* (**М2**). Это фраза дает понять, что для нее сам факт того, что высаживается меньше мигрантов, уже является достижением.

До 2022 г. тактика Дж. Мелони сводилась к тому, чтобы воспринимать мигрантов не как людей, а как ресурс. Она активно отстаивала позицию, согласно которой в страну нужно пускать ровно столько мигрантов, сколько будет полезно для экономики (*«Мы верим в легальную иммиграцию, регулирующую на основе ин-*

тересов национальных государств», **М5**). Более того, миграция должна быть совместима с культурой принимающей страны. В речи 2019 г. Дж. Мелони задается вопросом о том, почему в Италию едут мигранты из Африки, а не близкие по культуре венесуэльцы. Ответ она находит в заговоре мировых элит (*«иммиграция, совместимая с нашей культурой, не соответствует замыслам больших кукловодов»*, **М3**). Дж. Мелони рассуждает о том, какие характеристики мигрантов и какое число приехавших будет соответствовать потребностям государства. Наиболее колоритным высказыванием на эту тему является сравнение приема мигрантов с историческим эпизодом похищения сабинянок римлянами (*«Как мы собираемся решать проблему рождаемости, если 85% мигрантов, которые приезжают в Италию, – мужчины? Если бы в Древнем Риме, где была та же проблема, римляне похитили бы сабинов, а не сабинянок, они бы поступили по-современному, но вымерли бы»*, **М3**).

Лидер партии с реальными шансами одержать победу на выборах больше не может позволить себе подобные высказывания, поэтому риторика Дж. Мелони претерпела изменения. Премьер по-прежнему настаивает на необходимости жестко регулировать миграционные потоки и разграничивать категории «беженец» и «мигрант» (*«Два совершенно разных вопроса слиты воедино»*, **М7**). Подобное разграничение нужно, чтобы не нарушать международные и европейские обязательства в соответствии с положениями Конвенции о статусе беженца и протоколов к ней и Дублинской конвенции. Также на контрасте с беженцами, которые объективно нуждаются в помощи, проблемы мигрантов выглядят менее значительными, что дает основание не пускать их в страну, учитывая, что Италия не присоединилась ни к Конвенции о защите прав трудящихся-мигрантов, ни к Глобальному договору о миграции.

Если раньше Дж. Мелони мотивировала «борьбу с вторжением» исключительно благополучием итальянцев, то теперь речь идет о благополучии мигрантов. Она призывает африканцев не доверять контрабандистам и не ставить свою жизнь в опасность (*«они попросят у вас много денег и посадят на лодки, которые часто не оборудованы для таких путешествий»*, **М4**). Дж. Мелони даже дает обещания легальным мигрантам: *«обеспечить достойную жизнь, чтобы они не были вынуждены торговать наркотиками»* (**М7**).

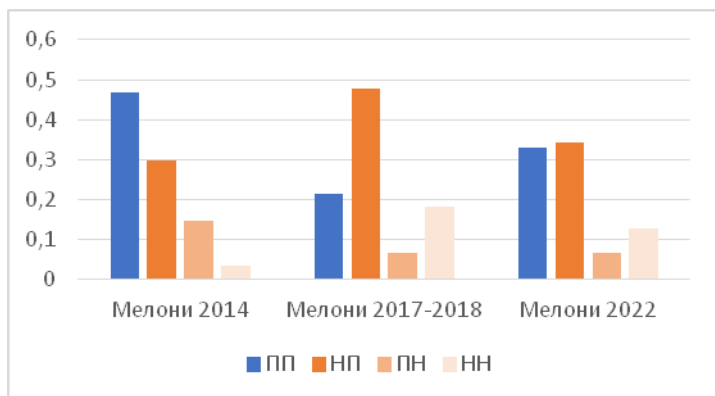


Рис. 5.

Индексы популизма и нативизма в речах Дж. Мелони

Диаграмма (рис. 5) демонстрирует изменение дискурса Дж. Мелони от позитивного популизма к популизму негативному и балансу между ними. В 2014 г. отмечен явный перекося в пользу позитивного популизма, когда вместо конкретных предложений речь наводнили абстрактные призывы о суверенном народе. В 2017–2018 гг. БИ была оппозиционной силой в парламенте, что привело к крену в сторону критики правительства. К 2022 г. партии удалось вывести выигрышную формулу успешного дискурса, найдя золотую середину между позитивным и негативным популизмом. Дискурс борьбы «с преступной нелегальной иммиграцией» (M1) сменился идеей восстановить правопорядок, от которого выиграют и итальянцы, и мигранты («мы каждый день работаем над выполнением обязательств, которые мы взяли... включая восстановление законности», M4).

Дискуссия и выводы

Анализ показал, что дискурсы М. Сальвини и Дж. Мелони схожи своими ментальными картами, разделяющими мир на антагонистические группы, их дискурсивные стратегии следуют логике «идеологического квадрата» Т. ван Дейка, т.е. позитивные стороны группы «мы» подчеркиваются, а негативные не замечаются, при этом не придается значение позитивным сторонам группы «они» и акцентируются ее негативные стороны [van Dijk, 2022, p. 149].

Характерной чертой популистского дискурса является суверенизм (*sovranism*¹) – доктрина, выступающая за сохранение национального суверенитета в противовес требованиям международных организаций² (подробнее о суверенизме см.: [Алексеевкова, 2022]). Дж. Мелони начинает все программные предложения с фразы «во имя суверенного народа», защищает «сделано в Италии» (национальный суверенизм), для М. Сальвини – «народ – прежде всего» (народный суверенизм) и «лучше пить оливковое масло, чем кока-колу» (экономический суверенизм). В популистских фреймах «истинному народу» противопоставлены не только элиты в лице национального правительства, но и ЕС (Брюссель), Сорос, мафия, левые партии и южные регионы Италии (ранний Сальвини). Существенные изменения в дискурсе партий коснулись вопроса отношений между Италией и ЕС. Если до 2018 г. партии рассматривали Брюссель как препятствие на пути достижения национальных интересов, то в период 2018–2022 гг. риторика партий подчеркивала стремление сделать Италию ключевым игроком в системе европейской интеграции. От суверенизма партии перешли к более мягким формам выражения евроскептицизма, позволяющим поддерживать введение протекционистских мер в экономике и акцентировать внимание на национальной конкурентоспособности. Авторы не выделяют суверенизм как отдельный фрейм, поскольку критическое отношение к наднациональным элитам рассмотрено при анализе популизма, а экономические аспекты и поддержка национальной экономики отнесены в логике Х.-Г. Бетца к экономическому нативизму.

В дискурсе М. Сальвини преобладают топосы угрозы и опасности, у Дж. Мелони на первое место постепенно выходят топосы ущерба, бремени, полезности и безопасности. При номинации угрозы используется стратегия интенсификации с негативными коннотациями: элита – «воровская», Брюссель – «петля» и «стена», евро – «преступление против человечности». Угрозу необходимо «победить»: «убить монстра», «разрушить стену», поэтому в дискурсе используются метафоры «бой», «битва», «боец»,

¹ Термин *sovranism* в итальянском языке является соединением итальянского слова “*sovrano*” («суверенный») и французского слова “*souverainisme*” («суверенизм») [Agnew, 2019].

² *Sovranismo e populismo confusi nella realtà* // Complexity institute. – Mode of access: <https://www.complexityinstitute.it/sovranism-e-populismo-confusi-nella-realta/> (accessed: 13.12.2024).

«борьба». Эти метафоры не просто фиксируют наличие противостояния, но структурируют понимание избирателями ситуации, создавая образы нападения («мы в петле») и защиты и вызывая эмоциональную поддержку борьбы со злом, определяемой как «великая» и «священная». Метафоры «петля» и «эшафот» создают образ экзистенциальной угрозы, а метафоры «клетка» и «стена» – угрозы свободе.

Согласно Х.-Г. Бетцу, современный нативистский репертуар представляет собой «выигрышную формулу правых популистов» [Betz, 2019, p. 24]. Он выделяют три типа нативизма – экономический нативизм, шовинизм благосостояния и символический нативизм [Betz, 2019], каждый из которых служит для аргументации антииммиграционной политики. Экономический нативизм апеллирует к неравенству на рынке труда, безработице коренных итальянцев и выступает за позитивную дискриминацию коренных итальянцев (группа «мы»). Шовинизм благосостояния требует уменьшения социальных выплат иммигрантам для уменьшения финансового бремени и формирования межличностного доверия. Символический нативизм подчеркивает культурную несовместимость культур и способствует стигматизации группы «они» на основе традиций и образа жизни [Betz, 2019].

В нативистском, идентичностном понимании суверенизма истинный народ определяется как «органическое, четко определенное границами, единство людей, скрепленное кровью или землей» [Agnew, 2019]. Фреймы нативизма сужают группу «народ», реконтекстуализируя исключение либо территориально (южные провинции у М.Сальвини), либо этнокультурно (мигранты), тем самым конструируя этнокультурную моногруппу.

Мелони позиционирует себя следующим образом: «Я Джорджия, я женщина, я мать, я итальянка, я христианка, и этого у меня не отнять»¹. Она дает содержательную характеристику «народа» – этническую принадлежность и религию и одновременно выражает протест против замены слова мать на «родителя 1». Изначально Дж. Мелони критиковала «воспитание многообразия» и запрет чтения книг о принцах и принцессах, но впоследствии эта тематика исчезла из ее публичного дискурса. Культура, религия, история, язык и этнос становятся маркерами принадлежности к народу,

¹ Il discorso integrale di Giorgia Meloni in piazza San Giovanni a Roma // L'Italia s'è desta. – 2019. – Mode of access: <https://www.giorgiameloni.it/2019/10/19/il-discorso-integrale-di-giorgia-meloni-in-piazza-san-giovanni-a-roma/> (accessed: 13.07.2024).

границы которого легитимирует дискурс столкновения цивилизаций. С одной стороны, он направлен на «защиту ценностей» и «сохранение корней», с другой – на борьбу с угрозами идентичности (исламизация и «потеря корней»), безопасности, экономическому благосостоянию.

Упоминание «корней», в первую очередь, относится к католической религии, поэтому инструментализация религии становится нативистским механизмом защиты идентичности. Сальвини во время выступлений демонстрирует символы христианской веры, такие как распятие и четки, поздравляет собравшихся с Рождеством (Natale). Распятие и рождество устанавливают символические границы вокруг группы «народ», отделяя ее от групп, исповедующих другие религии. Согласно Всемирному обзору ценностей (далее – ВОЦ), 65% граждан Италии считают религию важной в жизни, 74% являются религиозными¹.

В популистском дискурсе используются метафоры «вторжение» (нелегальных иммигрантов) и «завоевание», формирующие образы насильственного проникновения в страну и ее захвата. Дискурсивная стратегия Сальвини использует топосы угрозы (даже экзистенциальной), опасности, незащищенности, несправедливости, бремени и бедности для жертвы – итальянского народа. Дискурсивный образ иммигранта-завоевателя привел к тому, что по оценкам граждан в Италии было в три раза больше иммигрантов, чем по данным Евростата – 24,6% против 7%². Более того, 75% итальянцев считали, что мигранты ухудшают криминогенную обстановку, 58% – занимают рабочие места и 63% – являются бременем для системы соцзащиты³. Глобальный индекс антииммигрантской ксенофобии (2016–2020) давал Италии 14,52 балла – выше, чем во Франции, Австрии и Германии [Joshanloo, 2024].

Радикальный ответ М. Сальвини включал введение морской блокады и предложение «гнать пинками» всех нелегальных иммигрантов, что обосновывается топосом угрозы, в том числе экономической (высокий уровень безработицы среди итальянцев). Согласно

¹ Inglehart R., C. Haerpfer A., Moreno C., Welzel K., Kizilova J., Diez-Medrano M., Lagos P., Norris E., Ponarin B. Puranen et al. (eds). World values survey: All rounds – Country-Pooled Data // WVS. – Mode of access: <https://www.worldvaluessurvey.org/WVSONline.jsp> (accessed: 10.07.2024).

² Special Eurobarometer 469: Integration of immigrants in the European Union // An official website of the European Union. – 2017. – Mode of access: <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2169> (accessed: 13.12.2024).

³ Там же.

ВОЦ (7-я волна), 33,7% итальянцев оценили влияние иммигрантов на развитие Италии как достаточно плохое, 65,9 % считали, что при недостатке рабочих мест работодатели должны отдать приоритет коренным жителям, а не иммигрантам. Антииммигрантская риторика Мелони постепенно смягчается, появляется поддержка регулярной легальной иммиграции, которая служит интересам государства, особенно из цивилизационно близких стран. Мелони использует топос легальности и несправедливости, говоря об экономическом бремени, связанном с иммигрантами, и необходимости перераспределения средств в пользу итальянцев. Топос безопасности с призывами установить порядок и законность также созвучны запросам избирателей – наименее защищенными считали себя жители юга – Кампании, Апулии – и Ломбардии¹. После победы праворадикальной коалиции все национальные показатели безопасности выросли, в 2023 г. 76% граждан считали, что «ночью одному на улице безопасно» (по сравнению с 60,6% в 2016 г.).

Данные ВОЦ показывают, что в период с 2017 по 2022 г. (7-я волна) в Италии увеличился запрос на популизм – 31,3% считали, что иметь сильного лидера, который не будет «замораживаться» (bother) с парламентом и выборами, это хорошо или очень хорошо, по сравнению с 13,7% в пятую волну. При этом уровень доверия институтам демократии еще более снизился: только 28,5% граждан доверяли парламенту и 12,4% – политическим партиям по сравнению с 31,8 и 16,1% соответственно. Заметно снизился уровень доверия ЕС – с 63,9 до 38,3%.

К. Мюдде и К.Р. Кальтвассер считают, что общим для всех проявлений современного популизма является наличие харизматичного лидера, способного мобилизовать массы, при этом харизма, не являясь чертой популизма, способствует воплощению его повестки [Mudde, Kaltwasser, 2014]. Для Р. Водак популист находится между Робинем Гудом и «строгим отцом» [Wodak, 2018, p. 12]. И если Мелони позиционирует себя как рядовой представитель «народа», то Сальвини представляется спасителем итальянской нации и европейской цивилизации. Название книги *Secondo Matteo* [Salvini, 2016] отсылает читателя к каноническому Евангелию от Матфея (*Vangelo Secondo Matteo*), где «слово» имеет конкретное значение – «радостная весть о Царстве» (Матфей 4:23). Символом Матфея, одного

¹ La percezione della sicurezza – Anni 2022/2023 // Istituto nazionale di statistica. – 2024. – Mode of access: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/percezione-della-sicurezza-anni-2022-2023/> (accessed: 13.12.2024).

из двенадцати апостолов Иисуса Христа, является ангел. Для христианской аудитории ангел означает духовное существо, которое служит людям, и поскольку люди не могут спасти себя сами, им нужен спаситель. Аллегорически М. Сальвини хочет казаться ангелом-хранителем, спасителем, обещающим народу «благие вести».

Анализ выявил разные конфигурации фреймов популизма и нативизма и разную степень радикализации правопопулистского дискурса, дискурсивную стабильность М. Сальвини и диверсификацию дискурса Дж. Мелони. В дискурсе Сальвини произошла трансформация образа «народа» (от паданцев к итальянской нации), которому противопоставлялась «элита» в лице евробюрократов (ранее и политические управленцы в Риме) и группа «не-народа» – иммигранты-мусульмане из стран Азии и Африки. В дискурсе Мелони сменились акценты с символического нативизма на экономический и шовинизм благосостояния, на место «борьбы» с «чужими» пришла проактивная позиция перераспределения благ и поддержки законности и правопорядка.

Успеху правых популистов способствовало применение формулы «добрый и злой полицейские». В электоральном меню избирателям были предложены на выбор два правопопулистских дискурса – один с «перчинкой» (жесткой и нецензурной лексикой), лидером-спасителем и радикальной схемой решения назревших проблем, и второй – более умеренный и консервативный по риторике и лидером – типичным представителем народа. Формула успеха БИ заключалась в постепенной дерадикализации крайне правого дискурса и исключении неключевых и противоречивых вопросов. К. Мюдде был прав только частично: не только мейнстрим радикализируется, но и праворадикалы дерадикализируются, чтобы войти в мейнстрим. М. Сальвини в итоге остался последовательным популистом, который не смог найти баланс между позитивным и негативным нативизмом, а более прагматичной Дж. Мелони удалось найти «золотую середину» между популизмом и нативизмом, что привело ее к победе.

O.G. Kharitonova, Sh.E. Abdullaev, E.V. Pastushenko*

**In verbum veritas: winning frames
in the discursive space of Italian far right populists**

Abstract. Currently, the “populist moment” (C. Mouffe) coincided with the fourth wave of the postwar far right, which increased potential of their coalition through the mainstreaming (C. Mudde). In Italy, examples of such parties were the Lega (League) and the Fratelli d'Italia (Brothers of Italy). The paper deals with the discourse of far-right populist leaders before and after coming to power. In order to determine the winning discourse formula of Meloni and Salvini the discursive configurations of the frames of populism and nativism and their transformation over time are identified. To this end, it was necessary to critically examine the approaches to populism and nativism; to make a content analysis of the frames of populism and nativism in the speeches of Salvini and Meloni and to carry out a discourse analysis of the construction and representation of “the people” and “others”. The analysis revealed different configurations of the frames of populism and nativism and different degrees of radicalization of right-wing populist discourse. In Salvini’s discourse the study detected the transformation of the image of the “people” (from the Padan people to the Italian nation), which was contrasted with the “elite” represented by European bureaucrats (previously political managers in Rome) and the group of “others” – Muslim immigrants arriving primarily from Asian and African countries. In Meloni’s discourse, the emphasis from symbolic nativism was redirected to economic nativism and welfare chauvinism; the “fight” against “strangers” was replaced by a proactive position of redistributing goods and supporting law and order. The paper concludes that Meloni’s formula for success was the gradual deradicalization of far-right discourse and the exclusion of non-core and controversial issues.

Keywords: discourse; populism; nativism; Italy; Fratelli d'Italia; Giorgia Meloni; Lega; Matteo Salvini.

For citation: Kharitonova O.G., Abdullaev Sh.E., Pastushenko E.V. In verbum veritas: winning frames in the discursive space of Italian far right populists. *Political science (RU)*. 2025, N 2, P. 88–114. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.04>

References

- Albertazzi D., Giovannini A., Seddone A. ‘No regionalism please, we are Leghisti!’ The transformation of the Italian Lega Nord under the leadership of Matteo Salvini. *Regional & federal studies*. 2018, Vol. 28, N 5, P. 645–671. DOI: <https://www.doi.org/10.1080/13597566.2018.1512977>
- Alekseenkova E.S. *Political process in modern Italy: antipolitics and populism in the Second republic*. Moscow: Institute of Europe RAS, 2023, 218 p. (In Russ.)

* **Kharitonova Oxana**, MGIMO University (Moscow, Russia), e-mail: o.haritonova@inno.mgimo.ru; **Abdullaev Shamil**, MGIMO University (Moscow, Russia), e-mail: Abdullaev_Sa_I@my.mgimo.ru; **Pastushenko Ekaterina**, MGIMO University (Moscow, Russia), e-mail: Pastushenko_E_V@my.mgimo.ru

- Alekseenkova E.S. Transformation of right-wing populism in Italy 2018–2022: from sovereignty to patriotism. *Contemporary Europe (RU)*. 2022, N 7, P. 42–56. DOI: <https://www.doi.org/10.31857/S020170832207004X> (In Russ.)
- Agnew J. Soli al Mondo: The recourse to «sovereignism» in contemporary Italian populism. *California Italian studies*. 2019, Vol. 9, N 1, P. 1–13. DOI: <https://www.doi.org/10.5070/C391042454> (In Italian)
- Baldoni A. *Storia della Destra. Dal postfascismo al Popolo della libertà*. Firenze: Vallecchi, 2009, 362 p. (In Italian)
- Betz H. Facets of nativism: A heuristic exploration. *Patterns of prejudice*. 2019, Vol. 53, N 2, P. 111–135. DOI: <https://www.doi.org/10.1080/0031322X.2019.1572276>
- Betz H. Nativism and the success of populist mobilization. *Revista internacional de pensamiento político*. 2017, Vol. 12, N 2, P. 169–188.
- Brubaker R. Populism and nationalism. *Nations and nationalism*. 2020, Vol. 26, N 1, P. 44–60. DOI: <https://www.doi.org/10.1111/nana.12522>
- De Cleen B., Stavrakakis Y. Distinctions and articulations: A discourse theoretical framework for the study of populism and nationalism. *Javnost-The Public*. 2017, Vol. 24, N 4, P. 301–319. DOI: <https://www.doi.org/10.1080/13183222.2017.1330083>
- Gattinara P.C., Froio C. Italy: the mainstream right and its allies, 1994–2018. In: Bale T., Kaltwasser R.C. (eds.). *Riding the populist wave: Europe's mainstream right in crisis*. New York: Cambridge university press, 2021, P. 170–192.
- Gurr T.R. *Why men rebel*. London: Routledge, 2016, 446 p.
- Higham J. *Strangers in the land. Patterns of American nativism 1860–1925*. New Brunswick, London: Rutgers university press, 2002, 464 p.
- Improta M., Mannoni E., Marcellino C., Trastulli F. Voters, issues, and party loyalty: the 2022 Italian election under the magnifying glass. *Italian journal of electoral studies*. 2022, Vol. 10, N 2, P. 3–27. DOI: <https://www.doi.org/10.36253/qoe-13956>
- Joshanloo M. A global index of anti-immigrant xenophobia: associations with cultural dimensions, national well-being, and economic indicators in 151 nations. *Politics, groups, and identities*. 2014, Vol. 12, N 2, P. 494–503. DOI: <https://www.doi.org/10.1080/21565503.2022.2097097>
- Kešić J., Duyvendak J.W. The nation under threat: secularist, racial and populist nativism in the Netherlands. *Patterns of prejudice*. 2019, Vol. 53, N 5, P. 441–463. DOI: <https://www.doi.org/10.1080/0031322X.2019.1656886>
- Kharitonova O.G., Kudryashova I.V. Political regimes and regime changes in the foam of the populist wave. *Political science (RU)*. 2022, N 1, P. 224–244. DOI: <https://www.doi.org/10.31249/poln/2022.01.10> (In Russ.)
- Laclau E. *On populist reason*. London, New York: Verso, 2005, 276 p.
- Macry P. *La destra italiana. Da Guglielmo Giannini a Giorgia Meloni*. Bari: Editori Laterza, 2023, 160 p. (In Italian)
- Mudde C. The populist Zeitgeist. *Government and opposition*. 2004, Vol. 39, N 4, P. 542–563. DOI: <https://www.doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x>
- Mudde C. *The far right today*. Cambridge: Polity Press, 2019, 160 p.
- Mudde C. The Populist radical right: A pathological normalcy. *West European politics*. 2010, Vol. 33, N 6, P. 1167–1186.
- Mudde C., Kaltwasser C.R. Populism and political leadership. In: Rhodes R.A.W., Paul't Hart (eds). *The Oxford handbook of political leadership*. Oxford: Oxford University Press, 2014, P. 376–388.

- Müller J.W. *What is populism?* Philadelphia: University of Pennsylvania press, 2017, 127 p.
- Poggi I., D'Errico F. Benito Mussolini: Charisma of an Italian dictator in his words and multimodal communication. In: Poggi I., D'Errico F. *Social influence, power, and multimodal communication*. New York: Routledge, 2022, P. 91–114.
- Salvini M. *Secondo Matteo. Follia e coraggio per cambiare il paese*. Milano: Rizzoli, 2016, 231 p. (In Italian)
- Stavrakakis Y. Discourse theory in populism research. *Journal of language and politics*. 2017, Vol. 16, N 4, P. 523–534. DOI: <https://www.doi.org/10.1075/jlp.17025.sta>
- Van Dijk T.A. Socio-cognitive discourse studies. In: Flowerdew J., Richardson J. (eds). *The Routledge handbook of critical discourse studies*. New York: Routledge, 2018, P. 26–43.
- Van Dijk T.A. Ideology in cognition and discourse. In: Määttä S.K., Hall M.K. (eds). *Mapping ideology in discourse studies*. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2022, P. 137–156.
- Wodak R. The micro-politics of right-wing populism. In: Fitzi G., Mackert J., Turner B. (eds). *Populism and the crisis of democracy*. London: Routledge, 2018, Vol. 1, P. 11–29.
- Zulianello M. Anti-System parties revisited: Concept formation and guidelines for empirical research. *Government and opposition*. 2018, Vol. 53, N 4, P. 653–681. DOI: <https://www.doi.org/10.1017/gov.2017.12>

Литература на русском языке

- Алексееenkova Е.С. Политический процесс в современной Италии: антиполитика и популизм эпохи Второй республики. – М.: Институт Европы РАН, 2023. – 218 с.
- Алексееenkova Е.С. Трансформация правого популизма в Италии 2018–2022 гг.: от суверенизма к патриотизму // Современная Европа. – 2022. – № 7 (114). – С. 42–56. – DOI: <https://www.doi.org/10.31857/S020170832207004X>
- Харитонова О.Г., Кудряшова И.В. Политические режимы и режимные изменения в пене популистской волны // Политическая наука. – 2022. – № 1. – С. 224–244. – DOI: <https://www.doi.org/10.31249/poln/2022.01.10>

В.А. АВАТКОВ, А.И. СБИТНЕВА *

**СЛОВА И СМЫСЛЫ
ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ ТУРЦИИ**

Аннотация. В статье рассмотрены слова и смыслы, составляющие основу внешнеполитического дискурса современной Турецкой Республики, значение которой на международной арене повышается из года в год. Дискурс является неотъемлемой частью политики любого государства и вместе с тем важным маркером настроений, преобладающих в обществе. Принимая во внимание разворот России на Восток и многоплановое партнерство с Турцией, задача по изучению ее внешнеполитических нарративов обретает особую актуальность с точки зрения стратегического планирования и перспектив двусторонних отношений. Авторы рассматривают «открытые» и «закрытые» нарративы официальной Анкары, а также выделяют главные вербальные послылы или «тотальные мифы», которые встраиваются властной элитой во внешнеполитический курс государства. Предпринята попытка с помощью контент-анализа публичных выступлений президента Турции Р.Т. Эрдогана за 2024 г. проанализировать частоту и контекст употребления ключевых слов, таких как: «лидер», «справедливость», «хаб» и «Мир больше пяти». Определено, что ключевым в 2024 г. стал нарратив о «справедливости», которому была посвящена большая часть речей турецкого лидера. Наряду с этим изучено соотношение декларируемого с реальным. Выявлено, что почти каждое слово наделяется как минимум несколькими смыслами, а нарратив о справедливости и вовсе является собирательным. Однако трактовка ряда слов и концептов президентом Турции может существенным образом отличаться от общепринятых норм или трактовок другими обществами. В связи с этим не все из

* **Аватков Владимир Алексеевич**, доктор политических наук, заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока, Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН (Москва, Россия), e-mail: v.avatkov@gmail.com; **Сбитнева Алина Игоревна**, научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока, Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН (Москва, Россия), e-mail: a_sbitneva@mail.ru

них представляются конкурентоспособными относительно дискурсивных элементов внешней среды.

Ключевые слова: Турция; слова; нарративы; смыслы; идеологемы; тотальные мифы, символы; дискурс, контент-анализ.

Для цитирования: Аватков В.А., Сбитнева А.И. Слова и смыслы во внешнеполитическом дискурсе Турции // Политическая наука. – 2025. – № 2. – С. 115–137. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.05>

Введение

Символизм является неотъемлемой частью политики восточных обществ. Символы проявляются в культуре, национальной мифологии, а также становятся элементами гражданской идентичности и национального характера. При этом символичны могут быть и сами слова на Востоке – восточный символизм многогранен и нередко проявляется, в том числе, в отдельно взятых лексемах и выражениях, которые, при успешном встраивании в общественно-политический дискурс, становятся отдельными идеологемами.

Вместе с тем слова на Востоке нередко являются индикатором уровня образования, а также показателем принадлежности человека к определенному слою населения или религиозной группе. Так, например, В. Ахмедов отмечает, что в Египте использование иностранных слов демонстрирует намерение человека сообщить о собственной образованности и стремление подчеркнуть опыт обучения в зарубежной среде [Ахмедов, 2007, с. 134].

Аналогичным образом в Турции «светский» турецкий нередко свидетельствует об образованности говорящего. В свою очередь обилие в речи архаизмов и арабизмов, свойственных в основном юго-восточным регионам страны, может говорить либо о нетурецком происхождении, либо о чрезмерной консервативности и / или религиозности собеседника. К примеру, президент Турции Р.Т. Эрдоган, будучи политиком умеренно исламских взглядов, в своих выступлениях довольно часто обращается к устаревшим нетурецким лексемам, фактически говоря на «арабском турецком». Следует подчеркнуть, что в данном случае речь не идет о низком уровне образования президента, напротив – ораторские способности лидера Турции в сочетании с популистскими высказываниями позволяют ему влиять на определенную часть электората доступным для них коммуникативным образом.

При этом и для Запада, и для Востока такую «сигнальную» роль нередко выполняет акцент и диалект, на котором разговари-

вает индивид. Именно поэтому во многих языках существует литературный диалект, являющийся языком власти и государства, и разговорный, который, в свою очередь, еще более фрагментирован по культурно-цивилизационному признаку. Такое явное разделение характерно чаще всего для восточных языков (арабского, китайского, турецкого и др.), однако встречается и в ряде европейских, частным примером которого выступает классический британский английский с его «производными»: шотландским английским, уэльским английским и ирландским английским.

С точки зрения политического анализа немаловажную роль играют не столько отдельные слова, сколько политический дискурс в целом, складывающийся из ряда элементов (дискурс официальных политиков и политологов, приближенных к аппарату управления, партийных лидеров), позволяющий оценить отношение правящей элиты государства к определенным событиям на внешнеполитической арене.

Основной задачей в связи с этим является выявление ключевых нарративов внешнеполитического дискурса Турции, а также иных вербальных посылов («тотальных мифов»), активно используемых и распространяемых властной элитой страны. Особую важность в этом контексте обретает проведение контент-анализа публичных речей президента Р.Т. Эрдогана как одного из главных авторов подобных дискурсивных элементов.

Методологическая база исследования

Являясь частью западного мира, представители Турецкой Республики придают словам особое значение. Слова воспринимаются как конструкт, из которого возникают сначала смыслы, а затем цельные идеологемы, они встраиваются в политическую канву неформализованной идеологии, которую Г.Д. Лассуэлл характеризовал как «тотальный миф», или, иными словами, – искусственно созданный для достижения определенных целей и успешно интегрированный в сознание большинства идейно-ценностный концепт. Американский политолог и один из теоретиков феномена пропаганды также уделял особое внимание политике убеждения и писал, что «язык политики – это язык власти» и «язык решений» [Лассуэлл, 2006, с. 7].

Однако сегодня понятие политического дискурса существенно шире и не ограничивается одним только «языком власти». В политической теории данным вопросом предметно занимались

представители критического подхода – Т.А. Ван Дейк, П. Бурдьё и др. Так, нидерландский лингвист Т.А. Ван Дейк придавал особое значение роли СМИ в формировании общественно-политического дискурса. Он, в частности, причислял журналистов, наряду с политиками, государственными деятелями, профессорами и др., к так называемой символической власти – когорте общества, имеющей особый доступ или же контроль над публичным дискурсом [Ван Дейк, 2013, с. 33].

Важно, что современные СМИ работают не просто с общественным мнением, но и с общественным сознанием, они могут выступать как в роли «менеджеров сознания [Ван Дейк, 2013, с. 33]», так и механизма внедрения в общественно-политический дискурс особых нарративов, ценностных концептов и мифов. Таким образом, подобные «тотальные мифы» нужны руководству Турецкой Республики для выработки и символического обрамления того, что М. Кастельс называл коллективной идентичностью (цит. по: [Малинова, 2017, с. 11]), которая в случае Турции предлагается обществу, как правило, сверху вниз, но в то же время частично формируется и под влиянием самого общества.

Аксиологические ориентиры развития страны определяют национальные или традиционные ценности [Селезнева, 2024]. Они же являются базисом идейно-ценностной картины внешнеполитического курса. Турецкие ценности непосредственным образом влияют на взаимодействие Республики с внешним миром и формируют ее смысловой конструкт. Политический дискурс Турецкой Республики многогранен и тремя его составляющими являются: лидеры общественного мнения (политики, государственные деятели, лидеры политических партий), СМИ и народ.

Однако учитывая доминирующую «восточность» Турции, клановость и четкое разделение массмедиа на группы влияния (проправительственные, оппозиционные и др.), можно полагать, что «ядром» турецкой «символической власти», задающей формы и внутри-, и внешнеполитических нарративов, все же является власть в прямом смысле слова, в то время как другие «менеджеры сознания» представляют собой дополняющие ее элементы.

«Тотальные мифы» Турции

Политический дискурс современной Турецкой Республики формируется под влиянием преимущественно двух политических

групп: консерваторов, представленных правящей элитой страны, а также участниками националистических движений и либералов, наиболее ярко отождествляемых с системной оппозицией «кемалистского» крыла. Исходя из оценок авторов, по состоянию на 2024 г. большая часть внешнеполитических нарративов Турции формируется именно консерваторами.

Принимая во внимание трансформацию политического режима в Турции за первую четверть века, стоит отметить, что ее государственность и внешнеполитический курс все так же выстроены вокруг конкуренции трех традиций: персонализма, парламентаризма и военного правления [Бахарев, 2024] – изменилось только соотношение их влияния. Несмотря на существенную разницу между личностями Р.Т. Эрдогана и М.К. Ататюрка, они сопоставимы в плане усиления персонализма в политическом процессе. На смену привычному «кемализму» постепенно приходит зарождающийся «эрдоганизм». В связи с этим отождествление риторики Р.Т. Эрдогана с самой Республикой является правомерным.

Внешнеполитический курс Турции существенно изменился после прихода к власти правящей Партии справедливости и развития во главе с президентом Р.Т. Эрдоганом. Понятия и нарративы прошлой эпохи, свойственные для Турции в XX в., оказались нерелевантны относительно новой эпохи или приобрели иное содержание. Более того, идейно-ценностная составляющая внешнеполитического курса Анкары в целом увеличилась, а пространство интересов стало четко увязываться с ней.

Турецкая Республика сформировала новую внешнеполитическую идентичность, в основе которой лежит стремление к доминированию в сопредельных регионах. Такие словосочетания, как «Турция-лидер» и «Турция-хаб» стали ключевыми ее нарративами. В связи с этим важно отметить, что в турецком дискурсе существуют так называемые *открытые нарративы* (то, что почти дословно или дословно озвучивается автором / авторами нарратива) и *закрытые* (то, что не озвучивается прямо, но подразумевается).

При этом понятие «лидер» можно трактовать по-разному: лидер как страна, обладающая набором качественных характеристик, отличающих ее от других международных акторов, и лидер как отдельный человек, возглавляющий страну и ведущий за собой массы. Так, например, лидер может быть – и чаще всего является – президентом / главой государства, но не каждый президент / глава является лидером. Примером такого номинального лидера является 46-й президент США Дж. Байден, который выполняет предста-

вительскую функцию лидера, но утратил качественные характеристики этого понятия. Интересно, что американская политологическая теория при этом нередко отождествляет государственное лидерство с гегемонией [Шаклеина, 2015, с. 10]. Однако случается, что государством-гегемоном парадоксально управляют такого рода «лидеры» – представители.

Вместе с тем и лидер как выдающаяся личность может иметь разные смысловые наполнения. Так, например, лидер М.К. Ататюрк и лидер Р.Т. Эрдоган – две разные категории лидерства, с соответствующими вербально-смысловыми описаниями. Так, если первого американский деятель и политолог Г. Киссинджер причислял к «лидерам – государственным деятелям», нацеленным на эволюционное развитие и сохранение самобытности общества, то действующий глава Турции, который вовсе не упоминался Г. Киссинджером, в большей степени подходит под описание «лидера-пророка», основной задачей которого является стереть прошлое и превзойти предшественников [Kissinger, 2022]. В связи с этим показательным является тот факт, что при общественных опросах подавляющее большинство турецких граждан называют лидером, повлиявшим на историю, именно М.К. Ататюрка¹.

Риторика о *Турции-лидере* в последние годы стала одним из ярких примеров нарратива «открытого» типа, который используется как официальным руководством страны, так и другими политическими субъектами. В соответствии с ними Турецкая Республика провозглашается страной, лидерство которой основано на трех ключевых смысловых составляющих региональной политики Анкары: неоосманизме (Турция – лидер постосманского пространства), неопантюркизме (Турция – лидер «тюркского мира») и исламизме по-турецки (Турция – лидер исламского мира).

В то же время нарратив о лидерстве отражает официальную позицию власти и успешно вкраплен в политический дискурс. На всеобщих выборах 2023 г. и правящая Партия справедливости и развития (ПСР), и Партия националистического движения (ПНД), входящая в «Народный альянс», активно использовали дискурс о лидерстве в своих предвыборных кампаниях. В предвыборной декларации ПСР под названием «Готовность Турции к целям

¹ MetroPOLL anketi: “Türkiye’nin nabızı, Atatürk, cumhuriyet ve laiklik diye atıyor” // Medyascope. – 2023. – November, 1. – Mode of access: <https://medyascope.tv/2023/11/01/metropoll-anketi-turkiyenin-nabzi-ataturk-cumhuriyet-ve-laiklik-diye-atiyor/> (accessed: 24.11.2024).

2023 г.» (*тур. Türkiye Hazır Hedef 2023*) свое место заняла цель «Страна-лидер Турция» (*тур. Lider ülke Türkiye*), в соответствие с которой Турецкая Республика должна усилить свое геополитическое влияние, особенно на Ближнем Востоке и Балканах, а также в тюркских республиках [Şahin, 2014, p. 135]. Аналогичный принцип в своем предвыборном документе выдвинула и союзная правящей партии ПНД. По мнению националистических кругов, в 2023 г. Турция стала «страной-лидером», или «ведущей страной», а в долгосрочной перспективе – к 2053 г. – должна достигнуть статуса сверхдержавы¹. При этом лейтмотивом выборной гонки ПСР 2023 г. стал слоган «Сильный лидер – сильная Турция» (*тур. Güçlü lider Güçlü Türkiye*), который в 2018 г. звучал как «Великая Турция требует сильного лидера» (*тур. Büyük Türkiye Güçlü Lider İster*).

В этом контексте представляется важным, что в проправительственной трактовке под лидером подразумевается не просто абстрактная личность – талантливый управленец, способный вести за собой страну, а именно действующий президент Р.Т. Эрдоган, который в современной Турции противопоставляется консерваторами другому лидеру – первому президенту страны М.К. Ататюрку.

Особенно часто слово «лидер» и имя Р.Т. Эрдогана звучали тождественно в мае 2023 г., в период агитационной кампании в преддверии всеобщих выборов. Показательным примером является размещенный бывшим главой Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Ф. Алтуном ролик, озаглавленный упомянутым слоганом «Сильный лидер – сильная Турция», с высказываниями глав ряда государств о президенте Турции как о сильном лидере. Ролик сопровождается следующий текст: «Лидер, который кричит всему миру, что мир больше пяти; который постоянно работает во имя справедливого мира; который говорит то, во что верит, и делает то, что говорит. Р.Т. Эрдоган – это имя борьбы и голос угнетенных, это мировой лидер, посвятивший жизнь миру и стабильности нации»².

Примечательно, что сам Р.Т. Эрдоган относит себя к лидерам мировой категории и формирует соответствующие нарративы.

¹ Milletvekili Genel Seçimi Seçim Beyannameşi // Milliyetçi Hareket Partisi. – 2023. – P. 52. – Mode of access: https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/beyanname_14_mayis_2023_opt.pdf (accessed: 24.11.2024).

² Altun: “Mücadelenin adı, mazlumların sesi dünya lideri Erdoğan” // Hibya. – 2023. – May, 25. – Mode of access: <https://hibya.com/altun-mucadelenin-adi-mazlumlari-sesi-dunya-lideri-erdogan-171129> (accessed: 24.11.2024).

Символичной в данном контексте стала речь Р.Т. Эрдогана на встрече с молодежью Газиантепа, где он отметил следующее: «На данный момент среди мировых лидеров остались два человека. Я и В.В. Путин¹». Президент Турции при этом поставил себя на первое место. В своей речи глава Турецкой Республики под «лидером», вероятнее всего, имел в виду не столько харизматические лидерские качества как таковые, сколько накопленный опыт, а также присущие как Р.Т. Эрдогану, так и В.В. Путину навыки противостояния негативным мировым тенденциям и формирования своих конструктивных трендов.

Тем не менее турецкий исследователь К. Шахин отождествляет «государство-лидер» с сильным государством и определяет «страну-лидера», прежде всего, как страну, обладающую сильными элементами и, более того, умеющую эффективно их использовать. Среди основных элементов (или критериев лидерства) он выделяет следующие:

- высокая численность населения с преобладающим количеством квалифицированной молодежи;
- сильная экономика и высокий уровень жизни;
- развитие научных исследований, особенно в области коммуникаций и транспорта;
- многочисленная армия и передовые военные технологии;
- исторический процесс, присущий стране-лидеру;
- обширное геополитическое пространство и сильная дипломатия;
- хорошо функционирующая демократия и государственное управление с высоким потенциалом решения проблем [Şahin, 2014, p. 123].

Исходя из этих критериев, утверждения о Турции как о передовой стране-лидере являются весьма дискуссионными, в особенности на фоне ряда мировых игроков, таких как Россия, Китай, США и др. При этом сам ученый признает, что Турция, обладающая лидерским потенциалом и соответствующая многим критериям лидера, не может рационально его использовать [Şahin, 2014, p. 126], что, по определению самого К. Шахина, ставит под сомнение лидерские амбиции страны.

¹ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada liderler arasında iki kişi kaldık // Independent Türkçe. – 2024. – December, 8. – Mode of access: <https://www.indyturk.com/node/750191/siyaset/cumhurbaşkanı-erdogan-dunyada-liderler-arasında-iki-kişi-kaldık-bir-ben-bir-de> (accessed: 13.12.2024).

Таким образом, можно отметить, что к настоящему моменту сложился относительно устойчивый дискурс Турции о себе (включает как собственные нарративы, так и «навязанные» извне) и дискурс других о Турции (включает только внешние нарративы). Так, например, несмотря на признание Р.Т. Эрдогана выдающимся президентом, Турцию сложно назвать мировой державой-лидером. В равной степени сложно согласиться с продвигаемым турецкими консерваторами нарративом о том, что Турция является лидером исламского мира – данный статус более подходит Саудовской Аравии.

В этой связи интересную роль Турецкой Республики в исламском сообществе в 2020 г. подчеркнул глава Университета Азад в Джамму и Кашмире, назвав Турцию «центром надежды для всего мусульманского мира», а Р.Т. Эрдогана – «символом исламского возрождения»¹. В.В. Путин, в свою очередь комментируя ситуацию в Газе в 2023 г., высказался о турецком коллеге следующим образом: «Он, безусловно, один из лидеров международного сообщества, который обращает внимание на эту трагедию и делает все для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону»², однако речь в данном случае шла о личности, а не о стране.

В тесной связке с дискурсом о «Турции-лидере» идет еще один «открытый» нарратив о *справедливости*. Справедливость для восточных, в особенности исламских, обществ – понятие, скорее, религиозное и находится в тесной связке с понятием добродетели [Цибенко, 2023, с. 102]. Однако в турецком прочтении справедливость не обязательно означает достижение всеобщей справедливости – достаточно ее соответствия «узаконенным» Турцией ценностным концептам. Именно по этой причине справедливость по-турецки традиционно увязывается с другими нарративами – идеалом о «Мире больше пяти», в соответствии с которым влияние на международную повестку имеют не только признанные мировые государства, но и еще не являющаяся таковой Турция и подобные ей государства. Эта позиция, в частности, прослеживается

¹ Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han: Türkiye, Müslüman dünyası için umudun merkezi // Anadolu Ajansı. – 2020. – November, 13. – Mode of access: <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/azad-cammu-ve-kesmir-cumhurbaskani-han-turkiye-musluman-dunyasi-icin-umudun-merkezi/2043149> (accessed: 24.11.2024).

² Путин назвал Эрдогана лидером в вопросах ситуации в Газе // Ведомости. – 2023. – 14 декабря. – Mode of access: <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/12/14/1011083-putin-nazval-erdogana-liderom-v-voprosah-situatsii-v-gaze> (дата посещения: 24.11.2024).

в заявлении Р.Т. Эрдогана, сделанном после заседания ГА ООН в сентябре 2024 г.: «Мы обязаны работать все вместе, чтобы исправить глобальную несправедливость. Не забывайте, что мир больше пяти и более справедливый мир возможен»¹.

Однако вопрос, насколько справедливо ограничивать суждения о мире одним только органом ООН – достаточно спорный. Кроме того, Р.Т. Эрдоган сам не раз подвергал критике ООН как инструмент предотвращения конфликтов, говоря, что «система ООН умирает, умирает истина»². С наименьшей степенью вероятности могли бы согласиться с суждениями Р.Т. Эрдогана постоянные члены СБ ООН. Картина мира многих мировых держав уже справедлива и, в отличие от турецкой справедливости, основанной преимущественно на собственном мироощущении, она базируется на справедливости исторической, сложившейся в результате мировой войны и ряда других сопутствующих событий. Это вовсе не означает, что мировая система, как и некоторые ее институты, не нуждается в изменениях – проблема заключается в необходимости определить, чей именно нарратив о справедливости может быть искусственно наделен критерием истинности и взят за ее образец.

При этом если нарративы о «Турции-лидере» и о справедливости относятся к первой категории «открытых» и прочно закрепились в общественно-политическом дискурсе самой Турции, то другой популярный «тотальный миф» о «*Турции-хабе*» представляет собой нарратив «закрытого» типа, сформулированный в отношении Турции внешней средой и затем привнесенный во внутренний политический дискурс.

Одной из ключевых внешнеполитических идеологем Турецкой Республики является идеологема неоосманизма, в соответствии с которой Турция рассматривает себя в качестве надрегиональной державы, способной влиять на многие процессы, происходящие далеко за пределами Ближнего и Среднего Востока. В то же время в соответствии с неоосманизмом Анкара позиционирует себя как

¹ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Unutmayın; dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür // TRT Haber. – 2024. – September, 24. – Mode of access: <https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan-unutmayin-dunya-5ten-buyuktur-daha-adil-bir-dunya-mumkundur-879068.html> (accessed: 24.11.2024).

² Erdoğan, BM'yi üst perdeden eleştirdi: 'Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler bir bir ölüyor' // Sputnik Türkiye. – 2024. – September, 25. – Mode of access: <https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/erdogan-bmyi-ust-perdeden-elestirdi-batinin-savundugunu-iddia-ettigi-degerler-bir-bir-oluyor-1088427429.html> (accessed: 24.11.2024).

многопрофильный «хаб» – энергетический, торговый, логистический и, в частности, культурно-цивилизационный.

Однако в дискурсе Турецкой Республики слово «хаб» (*тур. hub*) было привнесено из английского языка относительно недавно. Примечательно, что орфографически лексема является идентичной оригинальной версии и не адаптирована к турецком языку, в соответствии с фонетикой которого корректнее выглядело бы написание «hab». В мировых СМИ о «Турции-хабе» особенно активно заговорили после обнародования в 2023 г. идеи российско-турецкого проекта газового хаба в Турции. В отличие от закрепившегося в научном русско- и англоязычном дискурсе, в дискурсе турецком этот термин имеет ряд отличий и специфических смысловых оттенков.

Во-первых, в турецком дискурсе «хаб» ассоциируется, в первую очередь, с энергетическим узлом и практически не употребляется в других контекстах, таких как «культурный хаб», «образовательный хаб» и т.п.; во-вторых, в своей риторике президент Р.Т. Эрдоган, подразумевая привычный широким массам «хаб», вопреки популярному тренду предпочитает использовать слово «центр» (*тур. merkez*). В 2020 г. на церемонии открытия газопровода «Турецкий поток» президент Турции заявил: «Наша цель – превращение Турции в один из глобальных энергетических центров»¹. В 2024 г., рассуждая о ресурсных мощностях своей страны, Р.Т. Эрдоган, вновь избегая слова «хаб», отметил, что ее газопроводы и СПГ-заводы делают страну «одним из ведущих мировых центров торговли энергоресурсами»².

Немаловажно при этом, что в турецком научном дискурсе эксперт Национального центра стратегических исследований (ULUSAM) Й. Доганай использует понятия «энергетический хаб» и «энергетический центр» в качестве синонимов [Doğanay, 2021, p. 34]. Схожий подход прослеживается в риторике министра торговли Турции О. Болата, который, не делая различий в понятиях

¹ Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hedefimiz, Türkiye’yi küresel enerji merkezlerinden biri hâline getirmektir” // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. – Mode of access: https://www.iletisim.gov.tr/turkce/stratejik_iletisim_calismalari/detaylar/cumhurbaskani-erdogan-hedefimiz-turkiyeyi-kuresel-enerji-merkezlerinden-biri-haline-getirmektir (accessed: 29.11.2024).

² Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide hedefimiz tam bağımsız Türkiye // Anadolu Ajansı. – 2024. – November, 22. – Mode of access: <https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/cumhurbaskani-erdogan-enerjide-hedefimiz-tam-bagimsiz-turkiye/3401050> (accessed: 29.11.2024).

«хаб» и «центр», в 2023 г. заявил: «Турция уже может стать хабом, или же центральной страной в вопросе природного газа»¹.

Однако Й. Доганай обращает внимание на незамеченную другими деталь. Исследователь напоминает о концепте «транзитной страны», которой, по его мнению, и является Турция, отмечая, что Анкара имеет потенциал стать «энергетическим хабом», но, вопреки распространенному дискурсу, фактически им еще не является [Doğanay, 2021, p. 44–45]. По его мнению, для того, чтобы стать хабом, государство должно наладить диверсификацию поставок, иметь достаточно хранилищ, инвестиции в инфраструктуру и быть во всех смыслах стабильным.

В этом контексте стоит отметить, что и неоосманизм (*тур. Yeni Osmanlıcilık*), в рамках которого продвигается идеология «Турции-хаба» (Турции-центра), также является созданным внешними наблюдателями собирательным нарративом для описания внешнеполитических тенденций Турции. Сегодня неоосманизм позиционируется экспертным сообществом в качестве неофициальной идеологии страны, однако подобная терминология не встречается в правительственном дискурсе.

Термин «неоосманизм» – результат синтеза восприятия турецкой политики мировыми СМИ и зарубежными исследователями-туркологами. Считается, что в научный оборот его ввел английский ученый Д. Бэрчард еще в 1985 г. [Аватков, 2014, с. 74], но на территории Турции термин обрел популярность намного позже и стал ассоциироваться с политикой ПСР, пришедшей к власти только в 2002 г. В научно-академическом дискурсе Турецкой Республики тем не менее существует подход, согласно которому неоосманизм рассматривается одновременно как элемент и «коллективной памяти» [Малинова, 2019, с. 290], и «символической политики» [Tokdoğan, 2018], посвященный достижениям османского правления.

Слова против смыслов

Несмотря на то что словам на Востоке придается особое значение, это не всегда означает их совпадение с реальными дейст-

¹ Bakan Bolat: Enerjide merkez olma hedefimiz var // TRT Haber. – 2023. – September, 16. – Mode of access: <https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/bakan-bolat-enerjide-merkez-olma-hedefimiz-var-795994.html> (accessed: 29.11.2024).

виями. В этом контексте случай Турции не является уникальным. Важнее, что слова, продуцируемые Турцией, зачастую не совпадают с общепринятыми смыслами. К примеру, заявления руководства Турции о лидерстве не стоит воспринимать однозначно: нарратив «страна-лидер – Турция» означает не только стремление официальной Анкары добиться признания в качестве надрегиональной силы. Провозглашая себя мировой державой, Турция продвигает идею о необходимости трансформации всей системы международных отношений, и это является основной целью. Крылатая фраза Р.Т. Эрдогана «Мир больше пяти» – то есть пяти постоянных членов СБ ООН – в этом контексте остается главным смысловым посылом Турции: мало признать ее мировым лидером – гораздо важнее произвести системные изменения, восстановить ту самую – турецкую – справедливость.

Неудовлетворенность системой международных отношений тесно связана с имперским общественно-политическим сознанием в Турции и ощущением себя шире границ современной Республики. При этом важно, что в турецком дискурсе встречаются не только слова, облаченные в смыслы, но и смыслы, из которых можно вычленировать маркерные слова. «Мы не находимся в замкнутом пространстве внутри своих границ. Географические границы – это одно, а духовные – совсем другое. Наши братья живут в Сирии, Ираке, на Балканах, на Кавказе, в Крыму – вне наших физических границ, но они находятся в наших сердцах. Мы не претендуем на территории других стран, но события в них напрямую затрагивают Турцию»¹, – заявил в далеком 2016 г. президент Турции. В 2024 г. фраза изменилась на концепт «Турция гораздо больше Турции»² (*тур.* «Türkiye, Türkiye’den daha büyüktür»). Несмотря на то что в данном заявлении нет ни слова о «лидерстве», «справедливости» и «Мире больше пяти», – озвученное главой Турции означает совокупность ключевых смыслов.

Так, фразе «Наши братья живут в Сирии, Ираке, на Балканах, на Кавказе, в Крыму – вне наших физических границ, но они

¹ Эрдоган: влияние Турции распространяется за пределы ее территории // РИА Новости. – 2016. – 10 ноября. – Режим доступа: <https://ria.ru/20161110/1481070173.html> (дата посещения: 30.11.2024).

² TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde Yaptıkları Konuşma // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. – 2024. – December, 18. – Mode of access: <https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/155950/tubitak-ve-tuba-bilim-odulleri-toreni-nde-yaptiklari-konusma> (accessed: 25.12.2024).

находятся в наших сердцах» соответствует нарратив о Турции-лидере, которую заботят судьбы многочисленных разбросанных по миру «родственных» народов; фразе «Географические границы – это одно, а духовные – совсем другое» – нарратив о справедливости, в рамках которой исторически сложившееся в мире территориальное деление не воспринимается как справедливое; и фразе «Мы не претендуем на территории других стран, но события в них напрямую затрагивают Турцию» – нарратив о «Мире больше пяти», в соответствии с которым мировому сообществу, по мнению Турции, важно не забывать о наличии иных игроков, вовлеченных в региональную повестку и в равной степени имеющих право голоса в ООН и право реагировать на происходящее в любых других регионах.

Аналогичным образом, говоря о равенстве всех субъектов «тюркского мира» (региона, преимущественно представленного тюркоязычными государствами Средней Азии), Анкара, в действительности являясь его периферией, пытается стать центром этого пространства. Турецкая Республика стремится сформировать тюркоцентричную систему международных отношений, переписать правила игры и сформировать особые критерии соответствия, иными словами – создать «турецкий мир» вместо заявленного тюркского. Одним из примеров подобной политики является планомерная латинизация тюркоязычного пространства и формирование единого тюркского алфавита.

В подтверждение данных слов можно привести следующее заявление Р.Т. Эрдогана: «Наш общий алфавит – это знак нашей общей судьбы, нашего общего будущего и нашей воли шагнуть в будущее вместе»¹. При этом примечательно, что за основу «общего» алфавита был взят именно турецкий образец, а на момент распада СССР все среднеазиатские тюрки пользовались кириллицей. Такого рода попытки универсализации по турецкому образцу стоит рассматривать как наглядный пример размывания коллективной идентичности этих государств и создание очередного «тотального мифа». Вместо равенства и «общности» в реальности данные страны имеют жесткий критерий отбора, который служит лакмусовой бумажкой их тюркской полноценности. Не исключено, что в сред-

¹ Erdoğan'dan Türk dünyasına çağrı: Ortak alfabe ortak istikbalimizdir // Türkiye Gazetesi. – 2024. – November, 7. – Mode of access: <https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/erdogandan-turk-dunyasina-cagri-ortak-alfabe-ortak-istikbalimizdir-1072914> (accessed: 24.11.2024).

несрочной перспективе стать частью «тюрокского мира» будет возможно только странам, перешедшим на вариант предложенного Турцией алфавита.

Что касается справедливости, то это понятие в существующих реалиях эфемерно и в принципе является утопическим. В контексте ближневосточной проблематики справедливость для Турции означает создание палестинской государственности, в контексте мира – практическую реализацию всех упомянутых нарративов, что, однако не означает высшей справедливости для всех. Так, перефразируя цитату революционера М.А. Бакунина «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого», можно говорить о том, что справедливость одного государства заканчивается там, где начинается справедливость другого.

Так, например, события в Сирии, связанные с падением баасистского правления в 2024 г., трактуются по-разному прямыми и косвенными сторонами конфликта и нередко связываются с национальными интересами. Для Турецкой Республики сложившийся сценарий – более чем справедливый; в то же время с точки зрения интересов России более справедливым стало бы сохранение Б. Асада в качестве легитимной власти на сирийской земле. Таким образом, справедливость также можно рассматривать как частный случай реализации и совпадения национальных приоритетов государства.

Внешнеполитический дискурс президента Р.Т. Эрдогана в цифрах

Контент-анализ речей президента Р.Т. Эрдогана за 2024 г. позволил выявить, насколько часто использовались рассмотренные выше слова. За основу анализа были взяты *166 официальных публичных выступлений* президента Турции в период с 2 января по 28 декабря 2024 г. Рассмотрены все без исключения речи Р.Т. Эрдогана – как на международных зарубежных площадках, так и мероприятиях на территории Турции.

При проведении анализа (результаты отражены в табл.) учитывались как отдельные слова – составляющие турецких внешне- и внутривосточных нарративов, так и словосочетания – целостные идейные концепты, как, например, «Мир больше пяти». Таким образом, предметом анализа выступили *ключевые слова и выражения*, активно используемые лидером Турции при формиро-

вании смысловых посылов в общественно-политическом дискурсе страны:

– «*Лидер*» (*тур. lider*), в том числе в значении «лидер партии», «лидер движения», лидер какой-либо отрасли и т.п., а также однокоренные слова: «лидеры» (*тур. liderler*), «лидерство» (*тур. liderlik*) и др.

Исключены однокоренные слова в значении «возглавлять» (*тур. liderlik etmek*), «под предводительством / руководством» (*тур. liderliğinde*) и имена собственные, например, «саммит лидеров БРИКС» (*тур. BRICS Liderler Zirvesi*).

– «*Справедливость*» (*тур. adalet*), в том числе в значении «правосудие», и однокоренные «несправедливость» (*тур. adaletsizlik*), «справедливый» и «справедливо» (*тур. adil, adilane*). «*Adilane*» при этом – архаичная османская лексема арабо-персидского происхождения.

Исключены производные слова в значении «организации / органы юстиции» (*тур. Adalet Teşkilatları, Adalet Kurumları* и т.п.), а также имена собственные, такие как: Министерство юстиции (*тур. Adalet Bakanlığı*), Международный суд (*тур. Uluslararası Adalet Divanı*) и т.п.

– «*Мир больше пяти*» (*тур. Dünya beşten büyüktür*).

– *Хаб (центр)* (*тур. merkez, hub*) в значении «мировой» или «региональный центр ресурсов / образования / культуры / спорта», «центр притяжения» (*тур. çekim merkezi, cazibe merkezi*) в международном контексте и т.п. Лексема арабского происхождения «*cazibe*» при этом представляет пласт «архаичного турецкого».

Исключены слова в контексте «центр Турции», «районный центр» и т.д.

Таблица

Контент-анализ нарративов публичных выступлений Р.Т. Эрдогана за 2024 г.¹

	Лидер	Справедливость	Мир больше пяти	Хаб (центр)
Количество упоминаний	39	313	7	20
Количество речей	29	67	7	19

Источник: составлено авторами.

¹ Konuşmalar // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. – Mode of access: <https://www.tccb.gov.tr/receptayyip Erdogan/konusmalar/?&page=5> (accessed: 29.12.2024).

Интересно, что главной речью, в ходе которой президентом Турции были упомянуты сразу все перечисленные нарративы, стало его выступление не на Генеральной ассамблее ООН, а на Дипломатическом форуме в Анталье в марте 2024 г.¹ Р.Т. Эрдоган, в частности, отметил следующее: «Мир больше пяти, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом под девизом того, что более справедливый мир возможен». Лидером президент Турции назвал самого себя: «Я говорю все это как лидер страны, далекой от событий», а также употребил слово «лидер», говоря о форуме, в нейтральном контексте: «В течение трех дней здесь под одной крышей соберутся около 4 тысяч участников, от нынешних лидеров до будущих лидеров». Анталья в рамках дискурса о «хабе» была охарактеризована как один из «центров мировой дипломатии». Нарратив о справедливости в рамках данной речи выполнял несколько *основных функций*:

– *критика международной системы*, высказанная следующим образом: «Нынешняя международная система, в которой отсутствуют базовые концепции, такие как солидарность, справедливость и доверие, не может выполнять даже свои минимальные обязанности»; «Неравенство доходов между странами растет в геометрической прогрессии» (тур. «gelir adaletsizliği» – дословно «несправедливость доходов»);

– *выражение надежды на изменение этой системы*: «Я верю, что обмен мнениями и обсуждения приблизят нас на один шаг к истине, добру, справедливости и реальности»; «Даст бог, в предстоящий период мы продолжим озвучивать правду, защищать справедливость и увеличивать количество друзей по всему миру».

– *актуализация палестинского вопроса как главного кейса несправедливости международной системы*, олицетворенная фразой: «В секторе Газа были зверски убиты не только дети, женщины и мирные жители. В то же время была разрушена вера миллиардов людей в международную систему, справедливость и закон»².

Вместе с тем «справедливость» в целом употребляется президентом Турции в *двух основных контекстах*:

1) общемировое устройство в широком смысле;

¹ Antalya Diplomasi Forumu'nda Yaptıkları Konuşma // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. – 2024. – Mart, 1. – Mode of access: <https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/151457/antalya-diplomasi-forumu-nda-yaptiklari-konusma> (accessed: 25.12.2024).

² Ibid.

2) международные конфликты:

- палестино-израильский конфликт – в большей степени;
- российско-украинский конфликт;
- кипрский конфликт – в меньшей степени.

Наиболее проблемным для подобного анализа стал сформированный внешней средой дискурс о «Турции-хабе». Его результаты подтвердили тезис о том, что англицизм «hub», укоренившийся в научном турецком дискурсе, не стал частью «языка власти» Турции – Р.Т. Эрдоган не употребил данный термин ни в одном из рассмотренных выступлений, используя вместо него обычное слово «центр» (*тур. merkez*). В связи с этим возникает проблема контекстного характера: затруднительно доподлинно установить, когда президент Турции подразумевает под «центром» «хаб» в широком понимании этого слова (то есть соответствующий критериям международного «хаба»), и когда, напротив, не закладывает эту смысловую составляющую в сказанное. В этой части смысловая трактовка становится весьма субъективной.

Исходя из положения о том, что Турция – формирующийся многопрофильный (не только газовый) хаб и международный центр притяжения, можно выделить 20 высказываний президента Турецкой Республики по данной теме, подходящих под это определение. Среди них особенно яркими являются следующие:

– «Сегодня, как и на протяжении истории, существует регион, где наша страна находится *в центре глобальной борьбы за власть*»¹;

– «Наша Анталия, столица туризма, становится *одним из центров*, где вместе с форумом бьется *сердце мировой дипломатии*»²;

– «Раньше наши люди ездили за границу для диагностики и лечения, но теперь Турция стала *одним из ведущих мировых медицинских центров* практически во всех отраслях»³;

¹ 2023 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda Yaptıkları Konuşma // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. – 2024. – January, 2. – Mode of access: <https://www.tcgb.gov.tr/konusmalar/353/150687/2023-yili-ihracat-rakamlarinin-aciklanmasi-programi-nda-yaptiklari-konusma> (accessed: 29.12.2024).

² Antalya Diplomasi Forumu'nda Yaptıkları Konuşma // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. – 2024. – Mart, 1. – Mode of access: <https://www.tcgb.gov.tr/konusmalar/353/151457/antalya-diplomasi-forumu-nda-yaptiklari-konusma> (accessed: 25.12.2024).

³ Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde Yaptıkları Konuşma // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. – 2024. – Mart, 2. – Mode of

– «Помимо того, что Анкара является административной столицы Турции и стала *одним из ведущих центров оборонной промышленности* не только нашей страны, но и всего мира»¹;

– «Мы сделаем Стамбул, расположенный в самом сердце Азии, Европы и Африки, *одним из мировых финансовых центров*»²;

– «Мы находимся на пороге большого прорыва в достижении нашей цели стать *центром торговли природным газом*»³;

– «Мы приглашаем в нашу страну – Турцию, которая является *центром притяжения своего региона*, еще больше инвесторов из Испании»⁴;

– «Мы представили нашему миру бизнеса действительно важную программу, которая сделает Турцию *центром проектирования, разработки и производства передовых технологий*»⁵;

– «Турция географически является мостом, *центром в культурном смысле и транзитной зоной с экономической точки зрения*»⁶;

access: <https://www.tcgb.gov.tr/konusmalar/353/151461/antalya-sehir-hastanesi-ve-baglanti-yollari-acilis-toreni-nde-yaptiklari-konusma> (accessed: 29.12.2024).

¹ Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'nde Yaptıkları Konuşma // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. – 2024. – Mart, 18. – Mode of access: <https://www.tcgb.gov.tr/konusmalar/353/151744/ataturk-cumhuriyet-kulesi-acilis-toreni-nde-yaptiklari-konusma> (accessed: 04.01.2025).

² Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde Yaptıkları Konuşma // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. – 2024. – May, 24. – Mode of access: <https://www.tcgb.gov.tr/konusmalar/353/152536/albaraka-islami-finans-zirvesi-nde-yaptiklari-konusma> (accessed: 04.01.2025).

³ Kabine Toplantısı'nın Ardından Yaptıkları Konuşma // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. – 2024. – June, 4. – Mode of access: <https://www.tcgb.gov.tr/konusmalar/353/152615/kabine-toplantisi-nin-ardindan-yaptiklari-konusma> (accessed: 04.01.2025).

⁴ Türkiye-İspanya İş Forumu'nda Yaptıkları Konuşma // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. – 2024. – June, 13. – Mode of access: <https://www.tcgb.gov.tr/konusmalar/353/152783/turkiye-ispanya-is-forumu-nda-yaptiklari-konusma> (accessed: 04.01.2025).

⁵ Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'nde Yaptıkları Konuşma // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. – 2024. – July, 27. – Mode of access: <https://www.tcgb.gov.tr/konusmalar/353/153170/ayder-yaylasi-koruma-ve-yenileme-projesi-il-geneli-kentsel-donusum-ve-afet-konutlari-anahtar-teslimi-ve-toplu-acilis-toreni-nde-yaptiklari-konusma> (accessed: 04.01.2025).

⁶ Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde Yaptıkları Konuşma // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. – 2024. – August, 30. – Mode of access: <https://www.tcgb.gov.tr/konusmalar/353/153449/milli-savunma>

– «Я верю, что победы, которые будут одержаны здесь, продвинут Стамбул и Турцию как *спортивный центр* на международных площадках»¹.

Таким образом дискурс о справедливости, ставший центральным в 2024 г., является базисным и вбирает в себя все другие нарративы: справедливо, что Турция – лидер, хаб, и что мир не ограничивается пятью постоянными членами СБ ООН. Этот вывод подтверждают и результаты проведенного контент-анализа. Так, например, выявилась тенденция к сочетанию идеологемы «Мир больше пяти», публичное упоминание которой заметно снизилось в 2024 г., с рассуждениями о справедливости в форме «Мир больше пяти и более справедливый мир возможен» (*тур. «Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür»*). Кроме того, в контексте лидерства в равной степени можно рассматривать не включенный в данный анализ «*Идеал большой (великой) и сильной Турции*» (*тур. Büyük ve güçlü Türkiye ideali*) – новую идеологему, которая также встречалась во многих рассмотренных выступлениях.

Заключение

Превалирующая принадлежность Турции к восточной парадигме выражается в символичности ее общественно-политического дискурса. Слова, символы и смыслы представляют собой наиболее важные его конструкты, от конфигурации и удельного веса которых зависит идейно-ценностное наполнение внешней политики государства. Смысловые послылы могут быть скрыты за неоднозначными словами и выражениями, напрямую к ним не относящимися («закрытые» нарративы), и, напротив существуют слова, имеющие конкретную смысловую нагрузку («открытые» нарративы).

Представляется, что с точки зрения странового политического дискурса большое количество слов, не подкрепленных глубокими смыслами, означает идеологическую слабость государства – именно по этой причине доминирующую роль начинают играть государства

universitesi-kara-harp-okulu-diploma-ve-sancak-devir-teslim-toreni-nde-yaptiklari-konusma (accessed: 04.01.2025).

¹ Basketbol Gelişim Merkezi Açılış Töreni'nde Yaptıkları Konuşma // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. – 2024. – September, 29. – Mode of access: <https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/153783/basketbol-gelisim-merkezi-acilis-toreni-nde-yaptiklari-konusma> (accessed: 04.01.2025).

Востока, а не Запада, практически не мыслящего ценностными категориями.

Турция является сильной страной в этом плане: редкое слово, произнесенное официальным представителем страны, не несет примечательных смыслов или особых подтекстов. Внешнеполитические нарративы Турции формируются преимущественно первым лицом страны и передаются для массового распространения по формуле «от власти к народу». В данном контексте Турция антропологична [Баталов, 2018] – важную роль в продуцировании ее смыслов играет конкретный человек-лидер. Вместе с тем Турецкая Республика, ввиду ее проактивности и повышающегося международного значения, все чаще подвергается внешнему осмыслению и, следовательно, в отношении нее формируются дополнительные нарративы, некоторые из которых впоследствии встраиваются в дискурс отдельных элит, выполняющих роль «менеджеров» общественного сознания.

В соответствии с восточной традицией, во внешнеполитическом дискурсе Турции обретает популярность нарратив, или «тотальный миф», о справедливости, который в определенном смысле является универсальным и обобщает все другие нарративы. Однако проблема заключается в том, что главный внешнеполитический нарратив Турции может быть успешен в восприятии внутренней аудитории, но не выглядит конкурентоспособным относительно внешней среды. Справедливость по-турецки не является непреложной истиной в сравнении, к примеру, с понятием справедливости ближайших соседей Турции – Греции, Сирии, Ирака или Ирана, в связи с чем данный вопрос требует дальнейшего, более предметного, осмысления теми, кто говорит в Турции на «языке власти».

V.A. Avatkov, A.I. Sbitneva*

Words and meanings in Türkiye's foreign policy discourse

Abstract. The article examines the words and meanings that form the basis of Türkiye's foreign policy discourse, what significance in the international arena is growing year after year. Discourse is an essential part of any state's politics and, at the same time, a significant indicator of dominant sentiments in society. Given Russia's shift towards the East and its versatile partnership with Türkiye, studying its foreign policy narratives becomes particularly important in terms of strategic planning and bilateral relations

* **Avatkov Vladimir**, INION (Moscow, Russia), e-mail: v.avatkov@gmail.com;
Sbitneva Alina, INION (Moscow, Russia), e-mail: v.avatkov@gmail.com; mail to: ivanov@mail.ru

prospects. The authors consider the “open” and “closed” discourses of official Ankara and identify the main verbal messages, or “total myths”, that the power elite embeds in the country’s foreign policy. A content analysis of Turkish President R.T. Erdoğan’s public speeches for 2024 is attempted to analyze the frequency and context of key words and foreign policy narratives such as: “leader”, “justice”, “hub” and “World is bigger than five”. The article reveals that the keyword that stands out in 2024 was “justice” that became the dominant narrative in most of Erdoğan’s speeches. The correlation between declared words and narratives and their corresponding semantic load has been also studied. The author concludes that almost all narratives are endowed with several meanings, and the narrative of “justice” is a collective one. However, Türkiye’s interpretation of some words and concepts may significantly differ from generally accepted norms or those of other societies. Therefore, it seems that not all of these narratives can compete with the discursive elements of the external environment.

Keywords: Türkiye; words; narratives; meanings; ideologemes; total myths; symbols; discourse, content analysis.

For citation: Avatkov V.A., Sbitneva A.I. Words and meanings in Türkiye’s foreign policy discourse. *Political science (RU)*. 2025, N 2, P. 115–137. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.05>

References

- Akhmedov V.M. Features of Egypt's political culture. *Russia and the Moslem world*. 2007, N 8, P. 125–137. (In Russ.)
- Avatkov V.A. Neo-Ottomanism. The basic ideology and geostrategy of Turkey. *Svobodnaia mysl'*. 2014, N 3, P. 71–78. (In Russ.)
- Bakharev A.A. The presidentialization of Turkey during the administration of R.T. Erdogan: opportunities and limitations. *Political science (RU)*. 2024, N 3, P. 134–160. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2024.03.06> (In Russ.)
- Batalov E.J. *Anthropology of international relations*. Moscow: Aspekt Press, 2018, 352 p. (In Russ.)
- Doğanay Y. Türkiye’nin enerji politikası ve altyapısı bağlamında enerji hub potansiyeli. *Ulusam Türkiye politik Çalışmalar dergisi*. 2021, Vol. 1, N 1, P. 33–48. (In Turkish)
- Kissinger H.A. *Leadership: six studies in world strategy*. London: Penguin Books, 2022, 499 p.
- Lasswell G.D. The language of power. *Political linguistics*. 2006, N 1, P. 264–280. (In Russ.)
- Malinova O.Yu. Identity politics as a struggle for meanings: problems of conceptualization. In: Malinova O.Yu. (ed.). *Symbolic politics: collection of scientific papers. Issue 5: Identity politics*. Moscow: INION RAN, 2017, P. 7–20. (In Russ.)
- Malinova O.Yu. Politics as a branch of symbolic politics. *Metod*. 2019, N 9, P. 285–312. (In Russ.)
- Şahin K. Cumhuriyetimizin 100. Yılı (2023) Yaklaşırken “Lider Ülke Türkiye İdeali”: Siyasi bir Analiz. *Düşünce Dünyasında Türkiz*. 2014, Vol. 5, N 25, P. 121–142. (In Turkish)
- Selezneva A.V. The value-worldview foundations of politics: conceptual understanding and prospects for empirical study. Introducing the Issue. *RUDN journal of political*

- science. 2024, Vol. 26, N 2, P. 223–233. DOI: <http://www.doi.org/10.22363/2313-1438-2024-26-2-223-233> (In Russ.)
- Shakleina T.A. Leadership and the modern world order. *International trends*. 2015, Vol. 13, N 4, P. 6–19. DOI: <http://www.doi.org/10.17994/IT.2015.13.4.43.1> (In Russ.)
- Tokdoğan N. *Yeni Osmanlıcılık: Hınç, Nostalji, Narsisizm*. Istanbul: İletişim Yayınları, 2018, 286 p. (In Turkish)
- Tsibenko V.V. Ideologeme of justice and anticolonial discourse as justification for Turkey's foreign policy. *Journal of international analytics*. 2023, Vol. 14, N 2, P. 97–115. (In Russ.)
- Van Dijk T.A. *Discourse and power: representation of dominance in language and communication*. Moscow: Knizhnyi dom «LIBROKOM», 2013, 344 p. (In Russ.)

Литература на русском языке

- Аватков В.А. Неоосманизм. Базовая идеологема и геостратегия Турции // Свободная мысль. – 2014. – № 3. – С. 71–78.
- Ахмедов В.М. Особенности политической культуры Египта // Россия и мусульманский мир. – 2007. – № 8. – С. 125–137.
- Баталов Э.Я. Антропология международных отношений. – М.: Аспект Пресс, 2018. – 352 с.
- Бахареv А.А. Процесс президенциализации Турции в период правления Р.Т. Эрдогана // Политическая наука. – 2024. – № 3. – С. 134–160. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2024.03.06>.
- Ван Дейк Т.А. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации / пер. с англ. Е.А. Кожемякина, Е.В. Переверзева, А.М. Амадова. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 344 с.
- Лассуэлл Г.Д. Язык власти // Политическая лингвистика / пер. с англ. М.В. Толмачевой. – 2006. – № 1. – С. 264–280.
- Малинова О.Ю. Политика идентичности как борьба за смыслы: проблемы концептуализации // Символическая политика: сб. науч. тр. Выпуск 5: Политика идентичности / под ред. О.Ю. Малиновой. – М.: ИНИОН РАН, 2017. – С. 7–20.
- Малинова О.Ю. Политика памяти как область символической политики // Метод. – 2019. – № 9. – С. 285–312.
- Селезнева А.В. Ценностно-мировоззренческие основания политики: концептуальное осмысление и линии эмпирического изучения. Представляю номер // Вестник РУДН. Серия: Политология. – 2024. – Т. 26, № 2. – С. 223–233. – DOI: <http://www.doi.org/10.22363/2313-1438-2024-26-2-223-233>
- Цибенко В.В. Идеологема справедливости и антиколониальный дискурс как обоснование инициативной внешней политики Турции // Международная аналитика. – 2023. – Т. 14, № 2. – С. 97–115. – DOI: <http://www.doi.org/10.46272/2587-8476-2023-14-2-97-115>
- Шаклеина Т.А. Лидерство и современный мировой порядок // Международные процессы. – 2015. – Т. 13, № 4. – С. 6–19. – DOI: <http://www.doi.org/10.17994/IT.2015.13.4.43.1>

ИДЕИ И ПРАКТИКА

В.В. ПАВЛОВ, А.В. ПАВЛОВА*

**ВОСПРОИЗВОДСТВО МИФА ОБ АМЕРИКАНСКОЙ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ В КИНЕМАТОГРАФЕ
НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА «ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ»
(CIVIL WAR, 2024)**

Аннотация. Миф об американской исключительности хотя и подвергается критике и деконструкции, в том числе в академических кругах, по-прежнему продолжает играть важную роль в политических процессах в США, что делает актуальным выявление механизмов его воспроизводства. Настоящее исследование представляет собой попытку внести вклад в приращение научного знания в обозначенной проблемной области посредством ответа на вопрос о том, какие политические символы используются сегодня для поддержания этого мифа. Он, в частности, основывается на представлениях об американской государственности, американских ценностях и американском могуществе. Обращаясь к анализу кинематографа как форме публичного дискурса, авторы выбрали объектом исследования кинокартину «Падение империи» (*Civil War*). Центральное место в киноленте занимает крушение государственности и могущества США на фоне внутреннего вооруженного конфликта, что делает произведение ценным эмпирическим материалом. Авторы ставят перед собой задачу выявления символов, которые участвуют в воспроизводстве мифа об американской исключительности в

* **Павлов Владимир Владимирович**, заместитель декана Факультета международных отношений, старший преподаватель Кафедры прикладного анализа международных проблем, научный сотрудник Института международных исследований, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (Москва, Россия), e-mail: v.pavlov@inno.mgimo.ru; **Павлова Анастасия Вячеславовна**, младший научный сотрудник, эксперт Института международных исследований, научный редактор журнала «Сравнительная политика», Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (Москва, Россия), e-mail: an.v.lodina@my.mgimo.ru

© Павлов В.В., Павлова А.В., 2025

DOI: 10.31249/poln/2025.02.06

рамках выбранного кейса. Теоретико-методологическую базу исследования составляет конструктивизм, основным прикладным методом выступает качественный контент-анализ. Проведенный анализ показал, что посредством демонстрации крушения символов американской государственности и основ экономической, ценностной и военно-политической мощи США транслируется мысль о неизбежности и необходимости поддержания веры в американскую исключительность; отказ от нее равнозначен концу самой нации в нынешнем виде.

Ключевые слова: контент-анализ; политический символ; «Падение империи»; США; американское могущество; государственность; американская исключительность.

Для цитирования: Павлов В.В., Павлова А.В. Воспроизводство мифа об американской исключительности в кинематографе на примере фильма «Падение империи» (Civil War, 2024) // Политическая наука. – 2025. – № 2. – С. 138–161. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.06>

В связи со спецификой исторического развития Соединенных Штатов Америки достижения в государственном строительстве были восприняты американцами как нечто исключительное. Американские ценности в собственном сознании обрели универсальный характер, военная мощь как одно из средств их распространения и гарант безопасности нации (сохранения «избранного народа») – положительную модальность, а мессианство стало «визитной карточкой» внешней политики США (см., например: [Dobson, Marsh, 2001; Баталов, 2009; Herring, 2011]).

В то же время, несмотря на распространенное, в первую очередь в американской литературе, мнение о благом характере американской исключительности, лидерстве и мощи¹, одним из направлений научных исследований данного феномена и модуле его влияния на международные отношения является деконструкция самого понятия американской исключительности и ее различные интерпретации (см., например: [Hughes, 2015; Hoffmann, 2005; Tytrel, 2022]). В данной логике исключительность не есть нейтральная и объективная категория; она представляет собой идеологическую конструкцию, созданную с определенными политическими и социальными целями. При такой постановке вопроса представляется возможным ставить исследовательские задачи, направленные на понимание того, как создается, распространяется и поддерживается дискурс об американской исключительности.

¹ См., например: Kagan R. Why America Must Lead // The Catalyst. – 2001. – Mode of access: <https://www.bushcenter.org/catalyst/leadership/why-america-must-lead> (accessed: 11.03.2025).

Критически анализируя данный вопрос, Пол Пиллар отмечает, что американская исключительность как результирующая исторического опыта и специфики культуры США формирует своеобразную «линзу», искажающую восприятие окружающего мира, дополнительными источниками такого искажения могут выступать политические процессы, спецслужбы и средства массовой информации. Преодоление целого набора предубеждений и внутренних дисбалансов, таким образом, является необходимым условием подлинно эффективной внешней политики США [Pillar, 2016]. Следовательно, американская исключительность имеет оборотную, «темную» сторону, нередко становясь оправданием сомнительных внешнеполитических акций [Lieven, 2012], и способна наносить вред самим США и окружающему миру [Hodgson, 2009]. Американская исключительность суть верование и сложный рукотворный миф¹ и может восприниматься в качестве особой формы идеологии [O'Connor, Cox, Cooper, 2022].

Несмотря на критику, миф об американской исключительности продолжает влиять на политические процессы в США, что обуславливает актуальность выявления механизмов его воспроизводства. В этой связи возникает вопрос: какие символы используются для поддержания мифа об американской исключительности сегодня? Для ответа на него авторы обращаются к анализу кинематографа как формы публичного дискурса, посредством которого распространяются подобного рода представления.

Французский ученый Ив Лаберж в своей рецензии на книгу «Политика кинематографа» (*Politiques du cinéma*) под редакцией Ф. Монтбелло и Ж.-М. Левератто, иронизируя над теми, кто все еще сомневается в ценности кинематографа как объекта исследования или источника эмпирических данных, приводил такую цитату скептиков: «Политологи не занимаются кинокритикой» (*Les politologues ne font pas de critiques de films*) [Laberge, 2005]. Между тем он, как и авторы рецензируемой им работы, утверждал, что кинематографическая продукция служит важным символическим инструментом поддержания власти той или иной правящей группы и проводником соответствующей идеологии, а также конструирует картину мира.

¹ Walt S.M. The Myth of American Exceptionalism // Foreign Policy. – 11.10.2011. – Mode of access: <https://foreignpolicy.com/2011/10/11/the-myth-of-american-exceptionalism/> (accessed: 28.01.2025); [Greene, 1993; Smith, 2003; Stark, Finke, 1988].

Сегодня целесообразность выбора кинематографической продукции в качестве объекта исследования или источника эмпирических данных не подвергается сомнению [Joo, Steinert-Threlkeld, 2018; Bucy, Joo, 2021]. Так, Л. Фаринотти подчеркивает значимую идеологическую функцию, которую несет в себе кинематограф как инструмент борьбы или политической коммуникации, система цензуры или манипулирования, и шире – механизм осуществления контроля над действительностью [Farinotti, 2016]. А. Эрлл приходит к выводу о том, что глобальное доминирование исторических нарративов, транслируемых США, отчасти объясняется влиянием Голливуда [Erll, 2022]. В свою очередь французский историк С. Бюффе в слове редактора к монографии «Кинематограф в эпоху холодной войны с точки зрения политологии» (*Cinema in the Cold War: Political Projections*) характеризует кинематограф как «лучший инструмент пропаганды» [Buffet, 2017]. Д. Мэттингли и Э. Яо используют термин «мягкая пропаганда» применительно к развлекательному контенту, включая документальные фильмы, мыльные оперы, художественные представления, делая вывод о том, что все они могут служить эффективными средствами убеждения [Mattingly, Yao, 2022]. О.Ю. Малинова, Ю.В. Карпич и М.Ю. Гурин [Малинова, Карпич, Гурин, 2023] в своем исследовании доказывают, что произведения в жанре теледокументалистики могут играть значимую роль в конструировании медиатизированной культурной памяти о политических событиях. Исследователи заключают, что документальные фильмы, транслировавшиеся на федеральных каналах, стали едва ли не главными инструментами формирования памяти об августовском путче 1991 г. Е.Г. Пономарева и Е.В. Рябинин [Пономарева, Рябинин, 2024] в своей работе демонстрируют, как продукция Голливуда способствовала формированию негативного образа сербов в контексте балканских войн 1990-х годов [Пономарева, Рябинин, 2024]. С.В. Расторгуев и М.А. Давыдова исследуют влияние телесериалов на распространение ценностей среди российской молодежи, отмечая, что в наиболее рейтинговых российских сериалах (2023) не транслируются ценности, содержащиеся в Указе Президента России [Расторгуев, Давыдова, 2024].

В качестве кейса авторы настоящей статьи выбрали нашу мевшую кинокартину «Падение империи» (*Civil War*), вышедшую в прокат 12 апреля 2024 г., менее чем за семь месяцев до очеред-

ных президентских выборов в США. Общий хронометраж ленты составляет 109 минут. Режиссер и автор сценария А. Гарланд¹, пусть и британец по происхождению, активно работает с американскими компаниями-дистрибьюторами кинопродукции (*Fox Searchlight Pictures*, *Universal Pictures International* и др.) и благодаря успешности связанного с его именем (условно) авторского кино (например, «28 дней спустя» и *Ex Machina*) к кинопроекту после его анонса было приковано дополнительное внимание СМИ, кинокритиков и потенциальных зрителей. В этом контексте особенно примечательно то, насколько активно продвигался данный продукт массовой культуры в СМИ либеральной направленности². Дистрибьютор картины в США – американская A24³, позиционирующая себя в качестве компании, поддерживающей независимые и артхаусные проекты с ярко обозначающимися авторскими высказываниями, зачастую успешные с точки зрения критических рецензий и кинотеатральных сборов.

Выбор фильма обусловлен рядом факторов. Во-первых, как было отмечено, фильм вызвал оживленную дискуссию в либеральных СМИ. Это позволяет предположить, что он обладает определенным потенциалом воздействия на широкую аудиторию. Во-вторых, центральное место в картине занимает крах американской государственности и американского могущества на фоне внутреннего вооруженного конфликта. Представления о первой лежат в основе мифа об американской исключительности, а о втором – порождают убеждения о праве, обязанности и возможности проецирования последней. В-третьих, в картине достаточно активно используются американские политические символы, что делает

¹ Alex Garland: Biography // IMBd. – Mode of access: <https://www.imdb.com/name/nm0307497/bio/> (accessed: 17.12.2024).

² Идеологическая ориентация СМИ определена на основе данных AllSides. – Mode of access: <https://www.allsides.com/media-bias/media-bias-chart> (accessed: 17.12.2024). См., например: Bahr L. Movie Review: In Alex Garland's potent 'Civil War,' journalists are America's last hope // AP News. – 2024. – April 9. – Mode of access: <https://apnews.com/article/civil-war-movie-review-c78d62b932d332b5d5390f7a6ed5fec3> (accessed: 17.12.2024); Kuo C. Alex Garland Answers the Question: Why Make a Film About Civil War Today? // The New York Times. – 2024. – April 11. – Mode of access: <https://www.nytimes.com/2024/04/11/movies/alex-garland-civil-war.html> (accessed: 17.12.2024); Sims D. *Civil War* Was Made In Anger // The Atlantic. – 2024. – April 8. – Mode of access: <https://www.theatlantic.com/culture/archive/2024/04/civil-war-alex-garland-interview/677984/> (accessed: 17.12.2024).

³ A24. – Mode of access: <https://a24films.com/> (accessed: 17.12.2024).

ее богатым источником эмпирического материала для решения поставленной научной проблемы.

Целью настоящего исследования, таким образом, является выявление символов, посредством которых представления об американской исключительности воспроизводятся и укрепляются в рамках изучаемого кейса.

Методология и методика проведения исследования

Визуальные образы можно анализировать при помощи самых разных прикладных методов и теоретико-методологических подходов – дискурс-анализа, контент-анализа, психоанализа, семиотического анализа [Rose, 2001], нарративного метода [Помигуйев, Прокопчук, Кошкин, 2024], «обоснованной теории» (*grounded theory*) [Fazeli, Sabetti, Ferrari, 2023] и др. Некоторые авторы выделяют исследование визуальных данных в отдельное направление – *visual research* [Ong, 2020], а методологии и методы их анализа – в группы *visual methodologies* [Rose, 2001] и *visual (research) methods* [Ong, 2020] или *visual analysis* [Leeuwen, Jewitt, 2001; Ledin, Machin, 2018]. Кроме того, с относительно недавних пор идет разработка автоматизированных систем для обработки большого количества визуальной информации [Joo, Steinert-Threlkeld, 2018]; некоторое подобное программное обеспечение, например *NVivo*, уже используется в исследованиях [Ong, 2020].

В случае же с кинематографом определенный исследовательский вызов представляет собой мультимодальность [Малинова, 2024], т.е. одновременное воздействие на несколько органов чувств реципиента. В этой связи не все методы и методологии, используемые для анализа текста или визуальных рядов, в той же мере эффективны при анализе фильмов, сочетающих одновременно звук и изображение. Авторы не ставили своей целью разработать соответствующую интересам исследования методику, в полной мере отвечающую на этот вызов, и ограничиваются анализом текста и находящихся в кадре визуальных объектов. За рамками анализа остаются свет, работа камеры, художественные приемы, цветовые решения и т.д.

Вслед за Ивом Лабержем [Laberge, 2005] авторы настоящей статьи рассматривают кинематограф как форму публичного дискурса и обращаются к социальному конструктивизму, что подразумевает понимание реальности как конструируемой в процессе

взаимодействий. Таких реальностей две – кинематографическая и социальная, каждая из них проживается независимо друг от друга [Figueiredo, 2015]. В этой связи стоит отметить следующее: конструктивизм в настоящей работе понимается не только как методологическая основа, но также как эпистемологическая парадигма, поскольку исследователи одновременно являются зрителями, формирующими собственное восприятие картины. По этой причине авторы, стремясь к методологической и методической точности, не претендуют на полную объективность проведенного исследования и допускают возможность существования иных интерпретаций.

Важной составляющей теоретико-методологической основы настоящей работы является понятие «политический символ» в интерпретации Э.Я. Баталова: «знаковые средства, имеющие чувственно-наглядную или абстрактную форму и репрезентирующие элементы политического мира, а именно нацию, политическую систему в целом, конкретные политические режимы и институты, отношения, убеждения, позиции» [Баталов, 1990, с. 161].

Следует дополнительно конкретизировать, что понимается под американской исключительностью. В связи со спецификой национального мифа и историей становления и развития американской нации (а скорее даже – ее принятой версии) государственные символы, такие как американский флаг, президентский штандарт (и шире – орел, как символ нации), памятники (в особенности, расположенные в г. Вашингтон, округ Колумбия), Конституция США и Билль о правах и т.д., имеют особенное символическое значение и повышенную важность для граждан США (см., например: [Engle, 2014]). В США распространено представление о том, что американское общество изначально было либеральным и капиталистическим, иными словами, в нем никогда не было идеологии и феодализма [Баталов, Замошкин, 1980]. Публичными лозунгами Войны за независимость были демократия и равенство, а базовыми правами, которые будущее государство должно было защищать, – право на жизнь, свободу и достижение счастья. Либеральные ценности, ставшие основой национального мифа, и республиканское устройство – как способ закрепления достижений Войны за независимость – со своими законодательными актами, системой сдержек и противовесов, избирательным правом являются значимыми элементами американского мессианизма; видение мира сквозь призму либеральных ценностей воспринимается как единственно верное, а достижения в государственном строительстве порождают ощущение превосходства. Отсюда также происте-

кают значимость американского президентства (*presidency*) и собственно фигуры президента как лидера нации и Верховного главнокомандующего и особое восприятие ряда министерств и ведомств, таких как, например, Министерство обороны и ФБР. Революционный характер государственного строительства и последовавший непростой период освоения территории США закрепили в сознании культ оружия, ставку на силу как способ защиты нации и достижения целей, а также право на восстание против внутренней и внешней диктатуры. Другой значимый фактор становления и развития нации – ее многоэтничность, активные процессы миграции и восприятие идеи «плавильного котла» как способа интеграции вновь прибывших. Возможности самореализации, свобода бизнеса, активное вовлечение в международную торговлю, (как минимум публичные и декларируемые) толерантность и открытость общества одновременно выступают как в качестве (само)ценностей, так и гарантов стабильности, экономического процветания, успешности и привлекательности США (детальнее на эту тему см., например: [Jentleson, 2014; McCormick, 2023; Самуйлов, 2008] и др.).

Суммируя, в массовом сознании США делают «исключительными» государственность как результат особого исторического развития, «универсальные» ценности и чувство ответственности за распространение «даров свободы». Авторы, таким образом, раскладывают американскую исключительность на составные элементы – своего рода пазлы, которые тем или иным образом демонстрируются зрителю в изучаемой кинокартине. Эти элементы – американская государственность, американские ценности и американское могущество. Если связь первой и вторых с мифом об американской исключительности представляется очевидной, то последнее требует пояснения: американское могущество обуславливает возможность США распространять «дары свободы», что есть их право и обязанность, и одновременно является результатом их «исключительной» государственности и приверженности ценностям. Мы исходим из того, что это могущество имеет три измерения: экономическое, военное и ценностное (то, что принято называть «мягкой силой»).

Основным методом исследования является качественный контент-анализ (иными словами, контент-анализ дополняется семиотическим анализом [Bell, 2004]), позволяющий выявлять и интерпретировать повторяющиеся символы и образы. Анализ состоит из нескольких этапов.

1. Первичное ознакомление с эмпирическим материалом, определение главного посыла произведения (ответ на вопрос: «Что хотел сказать автор?») и основных тем.

2. Разделение фильма на сцены и выделение конкретных элементов, подлежащих анализу. Ввиду мультимодальности произведения они делятся на две большие группы: *визуальные* и *аудиальные*. *Визуальные* включают в себя: а) материальные рукотворные объекты (образцы оружия и военной техники, памятники / мемориалы / статуи, здания, государственную символику – президентский штандарт, флаг, герб); б) надписи, которые попадали в кадр (например, на стенах зданий или на одежде людей). Монологи и диалоги составляют *аудиальные* единицы анализа, однако для удобства и точности после повторного просмотра фильма для их изучения использовался готовый текстовый скрипт¹. В качестве отдельных единиц анализа были выделены *локации* и *персонажи*. *Локации* важны для понимания того, в каком контексте функционируют аудиальные и визуальные единицы анализа; при анализе локаций принимались во внимание их историческое и современное значение, актуальное [продемонстрированное в фильме] состояние. При анализе *персонажей* давались ответы на четыре вопроса: «Что они делают? Зачем они это делают? Как они выглядят? В каких условиях они находятся?».

3. Составление таблицы «кодов» (индуктивным методом [Drisko, Maschi, 2016]).

4. Повторный просмотр фильма, распределение визуальных единиц анализа по категориям («кодам») после соотнесения с используемым в работе определением понятия «политический символ».

5. Качественный контент-анализ скрипта фильма: скрипт был разбит на монологи и диалоги, которым в зависимости от содержания присваивались коды. Одному и тому же монологу / диалогу могло быть присвоено одновременно несколько кодов.

6. Финальный просмотр фильма для более глубокого анализа контекста, в котором функционируют отобранные единицы анализа. Здесь уже принимались во внимание звуковое и музыкальное сопровождение, фон, достигался определенный холизм в восприятии аудиальных и визуальных единиц анализа. На этом этапе проводилась авторская интерпретация полученных результатов.

¹ Civil War (2024) | Transcript // Scraps from the Loft. – 25.05.2024. – Mode of access: <https://scrapsfromtheloft.com/movies/civil-war-2024-transcript/> (accessed: 29.01.2025).

В таблице указан финальный список кодов. Во избежание перегруженности текста в практической части количественные показатели указываются лишь там, где они релевантны, акцент же сделан на авторской интерпретации полученных результатов.

Таблица

Таблица кодов

Категория	Конкретные воплощения
Символы государственности и атрибуты власти	Флаги (в том числе негосударственных акторов, претендующих на статус государственных); памятники (мемориалы) знаковым государственным деятелям; исторические локации, имевшие важное значение в процессе государственного строительства США; отсылки к Конституции, Клятве верности флагу США (<i>Pledge of Allegiance</i>) и иным текстовым материалам, имеющим символическое значение; федеральные министерства и ведомства (ФБР, Пентагон и др.), президент
Монополия (и ее утрата) государства на насилие (проистекает из предыдущего пункта)	Насилие (избиения, убийства комбатантов / гражданских лиц, казни, включая упоминания о них, массовые захоронения), образцы оружия и военной техники, полиция, армия и военная техника
Крах мирной жизни	Пожары, пустынные пейзажи; сигналы падения уровня жизни и сокращения доступа к благам (курс доллара, электроэнергия, доступ к питьевой воде, топливо); беженцы
Нарушение свободы слова и свободы прессы	Убийства журналистов, гонения на представителей прессы
Распространение шовинизма, радикализма	Убийства / насилие на почве ненависти, проявления нетерпимости, радикальные / шовинистические высказывания персонажей
Эрозия демократии	Упоминания диктатуры, факты нарушения конституции и гражданских прав и свобод или высказывания о наличии таковых

Коды в таблице отражают ранее выделенные авторами элементы для анализа американской исключительности: государственность, ценности, могущество, которые в фильме демонстрируются в момент их крушения. Эти категории тесно переплетены: так, например, ценности выступают одновременно основой американской исключительности и составляющей могущества США, которое позволяет эти ценности распространять. По этой причине коды в таблице не были дополнительно разделены по группам.

Анализ данных

Перед глазами зрителей предстают Соединенные Штаты Америки недалекого будущего на финальной стадии гражданской войны. Четверо журналистов (Ли Смит, Джесси Кален, Джоэл и

Сэмми) отправляются из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы взять интервью у президента – узурпатора власти до того, как столица падет под натиском повстанческих сил.

Название фильма на русском языке звучит не как «Гражданская война», а как «Падение империи». Такой подход к переводу достаточно точно отражает основной, по мнению авторов, посыл кинокартины – крушение американской государственности и американского могущества, как основания американской исключительности и способе ее проецирования соответственно, вследствие узурпации власти президентом. Образ главы государства, хотя это и отрицается кинематографистами¹, создан, как представляется, с намеком на Д. Трампа: в фильме как минимум дважды весьма прямолинейно обыгрывается лозунг его электоральной кампании 2016 г. *“Make America great again”*, который противоречит наблюдаемым на экране событиям.

Символы американской государственности демонстрируются в момент их крушения, что изображается как общим планом (например, в произведении часто встречаются кадры с пожарами²; среди них наиболее типичные (таких авторы насчитали шесть) – вдали, на фоне, казалось бы, безмятежной жилой застройки: в такие моменты зрителю в крайне наглядной форме демонстрируется крах привычного жизненного уклада), так и в более мелких деталях. Последние включают в себя обрывки фраз (вопрос из разыгрываемого журналистом интервью с президентом: «[Господин президент,] Вы по-прежнему считаете, что было разумно упразднить ФБР?» (*“[Mr. President,] do you still think it was wise to disband the FBI”*)³; озвученная репортером новость: «Западные силы высаживаются из вертолета на крышу гребаного Пентагона» (*“WF rappelling out of a chopper on the roof of the f*cking Pentagon”*)⁴ и

¹ Слатина Е. Алекс Гарленд: «Фильм призван напомнить, что война – худшее проявление экстремизма» // Кинопоиск. – 2024. – 10 апреля. – Режим доступа: <https://www.kinopoisk.ru/media/article/4009318/> (дата посещения: 17.12.2024).

² 00:02:47; 00:16:55; 00:18:10; 00:25:08; 00:45:12; 00:45:24; 01:13:58; 01:23:44.

³ 00:18:20. Крайне примечательно, что в данном диалоге используется глагол *disband*: именно этим словом описывались организационно-политические процессы, связанные с роспуском Вооруженных сил Ирака в 2003 г. после завершения Операции «Иракская свобода». См., например: Garrett M. Graff. *Orders of Disorder: Who Disbanded Iraq’s Army and De-Baathified Its Bureaucracy?* // *Foreign Affairs*. – 2023. – May 5. – Mode of access: <https://www.foreignaffairs.com/middle-east/iraq-United-states-orders-disorder> (accessed: 17.12.2024).

⁴ 01:30:13.

такие кадры, как выстрел из переносной системы с последующим взрывом внутри колоннады мемориала Линкольна, превращенного в опорный пункт¹, снайперская винтовка на фоне Всемирного торгового центра в предрассветных лучах², работа минометов у государственных флагов близ Монумента Дж. Вашингтону³. Официальный постер к фильму представляет собой изображение факела Статуи свободы крупным планом; факел обложен мешками с песком, а в его чаше размещается снайперская пара.

К составляющим американской государственности относится и американское президентство (*presidency*), которое для наглядности воплощается в фигуре безымянного главы государства. Последний обвиняется в узурпации власти – нарушении одного из важнейших для американской демократии принципов, а именно 22-й поправки к Конституции США (*third term in office*⁴). Несмотря на то что президенту отводится относительно немного экранного времени, именно на нем закольцовывается повествование: картина открывается кадром размытого фокуса на Штандарте президента США, за ним следует сцена репетиции телеобращения, во время которого президент собирается объявить о том, что «величайшая в истории человечества победа»⁵ близка (что, впрочем, является ложью; это прямо демонстрируется поведением перед камерой: глава государства покашливает и касается рукой кончика своего носа⁶; оригинал фразы: “*We are closer than we have ever been to victory. <...> Some are already calling it the greatest victory in the history of mankind*”); закрывается фильм убийством Верховного главнокомандующего⁷. И хотя тело президента демонстрируется лишь в финальной сцене⁸, отсутствие в лидере государства жизни (в противоположность «живым»⁹ журналистам – главным героям картины) кажется очевидным с самого начала. Так, за исключением первой (короткий фрагмент с репетицией до начала трансляции

¹ 01:23:30.

² 00:14:41.

³ 01:26:17.

⁴ 00:18:10.

⁵ Над «сепаратистскими» (прим. – дословно «сецессионистскими», *secessionist*) силами.

⁶ 00:00:59–00:01:12.

⁷ 01:40:28.

⁸ 01:40:30.

⁹ Отсылка к фразе юной журналистки: *These last few days, I've never been scared like that before. And I've never felt more alive*, 00:20:27.

всего обращения по телевидению¹) и последней сцен (Journalist: “*I need a quote.*” President: “*Don’t let... Don’t let them kill me*”²) голос президента раздается исключительно через (старые) средства радиовещания, из-за чего звучание обретает несколько механистичную форму; на фоне обращений президента («Условия так называемой мирной конференции должны быть отвергнуты, полностью отвергнуты всеми свободно мыслящими американцами. Сепаратистам я скажу лишь следующее: “Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки. Мы готовы выполнить обещание, данное нашими предками, перед флагом, нацией и Богом”» – “*The terms of the so called peace summit can only be rejected, fully rejected by all free-thinking Americans. To the secessionists, I say only this. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. We stand ready to fulfill the promise of our forefathers, to the flag, to the nation and to God.*”³) демонстрируются пустынные пейзажи, на которых полностью отсутствуют (живые) люди, лишь бродячие псы – как наглядный результат его политики, слоганом которой, как можно догадаться из надписи на одном из зданий в другой по содержанию сцене, является фраза “***Building America***”. Одно из таких обращений («Я по-прежнему готов принять полную, незамедлительную и безоговорочную капитуляцию сепаратистских сил. Чтобы освободить жителей угнетенных штатов и начать заново отстраивать нашу великую нацию» – “*I remain ready to accept the full, immediate and unconditional surrender of the secessionist forces. To liberate the people of the subjugated states and start **rebuilding our great Nation.***”⁴) один из журналистов прокомментировал следующим образом: «Что он несет» (*Words might as well be random*), а после добавил: “...*Gaddafi, Mussolini, Ceaușescu – they are always lesser men than you think.*”⁵ Таким образом президент США поставлен в один ряд с наиболее одиозными (в американском понимании) диктаторами в мировой истории.

В целом сконструированный образ президента получился неприглядным. Если бы речь шла об избирательной кампании, его

¹ 00:00:40–00:01:47.

² 01:40:10.

³ 00:25:05–00:25:37. Аллюзия на Клятву верности флагу США. См.: The Pledge of Allegiance // Independence Hall Association. – Mode of access: <https://www.ushistory.org/documents/pledge.htm> (accessed: 17.12.2024).

⁴ 00:51:18. Прямые отсылки к слогану Д. Трампа “*Make America great again*”.

⁵ 00:51:35–00:51:42.

можно было бы охарактеризовать как «совершенный неудачник» (*sure loser*). М. Грейб и Э. Бьюси выделяют черты, которые делают образ (будущего) главы государства привлекательным и, напротив, отталкивающим [Grabe, Vucy, 2009]. Так, президента из фильма «Гражданская война» отличает бесчестность (*dishonesty*) – из первых кадров зритель узнает о том, что президент лжет. Одновременно в его образе отсутствуют «удачные» составляющие, например, участливость (*compassion*) – президент не был замечен за общением с уязвимыми категориями граждан; более того, сразу после его телеобращения зритель становится свидетелем сцены протестов, во время которых темнокожая женщина с ребенком, а также белые пожилые люди требуют питьевой воды (аллюзия на «тяготы» пребывания мигрантов на мексикано-американской границе¹), но вместо этого становятся жертвами жестокости со стороны полиции; простота (*ordinariness*) – президент снят в костюме, на фоне государственных символов, один; популярность (*popularity*) – на всех кадрах глава государства один и не на публике).

Кроме того, авторы картины сопроводили сцену первого выступления президента негативным фоном – чередованием кадров с протестами, уличным насилием, – прием, который в реальной жизни используется политическими технологами для снижения рейтинга кандидата [Grabe, Vucy, 2009]. В дополнение в завершающей части фильма бойцы так называемых сепаратистских (*нприм. – дословно «сецессионистских», secessionist*) Западных сил (*Western Forces*) по рации называют президента кодовым словом *Beast* – крайне эмоционально окрашенная языковая пара к слову «зверь» в английском языке².

Система символов американского могущества, представленная в кинофильме в момент его крушения, включает в себя три измерения: экономическое, военное и ценностное.

Крах американской экономики символически выражается в перебоях подачи электроэнергии (минимум дважды в начале фильма словами акцентируются *powercuts*³) и нестабильном дос-

¹ 00:03:52. См., например: Clarke R., Killough A., Moon S., Alvarez P. Texas troopers told to push back migrants into Rio Grande and ordered not to give water amid soaring temperatures, report says // CNN. – 2023. – July 18. – Mode of access: <https://edition.cnn.com/2023/07/18/us/texas-troopers-migrant-treatment-concerns/index.html> (accessed: 17.12.2024).

² 01:30:46.

³ 00:07:50; 00:11:20.

тупе к беспроводному Интернету (“*Jesus, wifi is f*cking slow*”¹); курсе доллара США (в данном случае по отношению к канадскому доллару: второй парадоксально стал значительно дороже, что сложно представить в современных реалиях²); стоимости бензина (полбака и две канистры – *300 canadian dollars*³); упоминании просроченных медикаментов как единственно доступных⁴. Большинство поименованных пунктов – значимые позиции для среднестатистического американского избирателя⁵. Другим показательным примером является палаточный лагерь, разбитый на еще одной знаковой локации – заброшенном стадионе *Herndon Stadium* в Атланте, штат Джорджия, на котором гуманитарную помощь американским гражданам оказывают сотрудники размещенного там *UN Relief Center*; одна из двух девушек в указанной сцене – предположительно латинос. Как в странах третьего мира в кадре появляется надпись *Global Relief Fund*⁶. Более того, авторы картины имплицитно дают понять зрителю, что настоящая гуманитарная катастрофа еще впереди – девочка с игрушечной ветряной мельницей практически один в один копирует образ из избирательного ролика команды Линдона Джонсона *Daisy* 1964 г.

Отказ от использования вооруженных сил США за рубежом как составляющая проецирования американского могущества приобретает в кинокартине крайне гипертрофированную форму – они применяются государством против своего населения в пределах собственных национальных границ. Так, в начале фильма в вину президенту ставится нанесение воздушных ударов по американским гражданам (“*So how is your policy about airstrikes against American citizens?*”⁷).

Более того, происходит потеря государством монополии на насилие, что свидетельствует не только об утрате военного могущества, но и собственно самой государственности. Ближе к концу фильма демонстрируется военный лагерь «сепаратистских» Запад-

¹ 00:07:15.

² 00:19:50–00:20:15.

³ 00:19:50–00:20:15

⁴ 00:32:00.

⁵ См., например: Brenan M. Economy Tops Voters' List of Key Election Issues // Gallup. – 2020. – October 5. – Mode of access: <https://news.gallup.com/poll/321617/economy-tops-voters-list-key-election-issues.aspx> (accessed: 17.12.2024).

⁶ 00:40:24.

⁷ 00:18:25.

ных сил (*Western Forces military base*¹), у которых на вооружении состоят такие «культовые» единицы вооружений как вертолеты *McDonnell Douglas AH-64 Apache* и многоцелевые истребители пятого поколения *F-22 Raptor*, готовые к финальной битве с президентскими силами. Позднее они изображаются в снятой в темное время суток сцене штурма столицы пролетающими над знаковыми государственными символами – мемориалом Джефферсона и р. Потомак, мемориалом Вашингтона и мемориалом Линкольна – на фоне работающих систем ПВО и прожекторов, что отсылает зрителя к кадрам военной хроники периода Второй мировой войны². Картина дополняется проходящими по улицам танками *M1 Abrams*³. Кроме того, особое внимание уделяется брошенным / поврежденным образцам военной техники, обычно символизирующей американское военное могущество. Прежде всего речь идет о фрагменте фильма, в котором главные героини пытаются сделать удачный кадр предположительно сбитого вертолета *Sikorsky UH-60 Black Hawk* на парковке торгового центра⁴. Одновременно крайне интересным выглядит ряд аллюзий на военные кампании с участием вооруженных сил США за пределами национальных границ, перенесенные на свою национальную территорию: образцы военной техники (упомянутые «абрамсы» и общевойсковой автомобиль повышенной проходимости *HMMWV* – «хамви»), которую среднестатистический зритель привык наблюдать на кадрах с улиц Багдада и Кабула; отдельный отель для представителей прессы.

Концентрированным выражением последствий деградации монополии государства на насилие, помноженной на распространение крайних форм консерватизма, национализма и ксенофобии, становится преднамеренно давящая на зрителя сцена встречи главных героев с вооруженными людьми в форме без опознавательных знаков, производящими массовое захоронение лиц в гражданской одежде, в ходе которой один из журналистов был расстрелян по причине азиатского происхождения. Сцена сопровождается следующим диалогом: «Американские журналисты из *Reuters*. Звучит не по-американски... – Мы американцы, ладно? – Ладно. Какие именно американцы?» (*“American journalists from*

¹ 01:16:57.

² 01:22:37.

³ 01:25:06; 01:28:27.

⁴ 00:25:58–00:28:40.

Reuters. Does not sound American... – We're American, okay? – Okay. What kind of American?”)¹. Таким образом, авторы фильма не обошли вниманием и дискуссии вокруг Второй поправки к Конституции США, гарантирующей гражданам право на ношение оружия. Другим примером является сцена у бензозаправки² – трое вооруженных белых мужчин, с их слов, поддерживают в округе порядок, одновременно с этим удерживая в заключении двух тяжелораненых мужчин (якобы мародеров), которых позже убивают за кадром.

Последнее измерение затрагивает либерально-демократические ценности. Прежде всего, речь идет о свободе прессы, «живыми» символами которой являются главные герои кинокартины – журналисты. Ряд событий зритель видит их глазами – через объектив камеры³, в отражении стекла автомобиля⁴ или примерочной⁵; именно их устами озвучивается отношение к происходящему. В фильме эта профессия представляется как крайне рискованная (на машине с надписью *Press* заметны следы от пуль возле бензобака⁶; главная героиня Ли Миллер произносит фразу: «Каждый раз, когда я возвращалась живой из зоны боевых действий...» – “*Every time I survived a war zone...*”⁷), а ее представители как люди отважные и движимые чувством долга (“...*I have to be there [on the frontline]*”⁸). Юная фотограф Джесси Кален называет одну из своих старших коллег Ли Миллер «мой герой» (*my hero*)⁹. Кроме того, по реакции одного из персонажей в начале фильма на желание коллег отправиться в столицу становится ясно, что представители прессы подвергаются преследованиям со стороны властей. По его словам, в столице журналистов убивают как «вражеских комбатантов» (“*They shoot journalists on sight in the capital. They literally see us as enemy combatants*”¹⁰); он прямо спрашивает своих коллег: «Думаете, так много желающих быть казненными на Южной

¹ 01:06:20–01:07:20.

² 00:19:50.

³ 00:02:20; 00:06:55; 00:45:43; 00:45:45; 00:45:47; 00:56:29; 01:03:43–01:04:02; 01:04:06–01:04:30; 01:17:19; 01:27:19; 01:28:30; 01:40:28.

⁴ 00:58:57.

⁵ 00:48:26.

⁶ 00:17:34; 00:20:30.

⁷ 00:28:50.

⁸ 00:10:40.

⁹ 00:12:20.

¹⁰ 00:09:05.

лужайке (Белого дома. – *Прим. авт.*)?» («*You think there's a rush to get executed on the South Lawn,*»¹), а затем заявляет, что не испытывает желания присоединиться к ним, поскольку это равносильно самоубийству («*I don't want to be piece of your suicide pack*»²). Таким образом, зрителям упорно истолковывают, что происходит эрозия базовых прав, гарантированных Первой поправкой, в частности, права на свободу прессы («Ли утратила веру в силу журналистики, и нынешнее состояние нашей нации – тому доказательство» – «*Lee's lost her faith in the power of journalism, and the state of the Nation proves that*»³) и свободу слова («Главное – договорить, пока удавка не затянется на шее». – «*Just be sure you get the words out before the piano wire gets too tight*»⁴). Поименованное является гипертрофированным воплощением одного из страхов американских граждан⁵.

Следует подчеркнуть, что ряд транслируемых на экране ценностей носит неуниверсальный (даже для самих США) характер – они являются отражением политических взглядов (как минимум части) представителей Демократической партии. Так, например, в крайне негативных тонах изображены сотрудники полиции, которые избивают митингующих, а затем после взрыва бегут оказывать помощь в первую очередь своим пострадавшим коллегам. Между этими двумя действиями – кадр с полицейской машиной *NYPD*, на которой написаны слова «Вежливость, профессионализм, уважение» (*Courtesy, professionalism, respect*)⁶. Виновица взрыва в упомянутой сцене – белая молодая девушка, смертница с развевающимся американским флагом⁷.

Линия фронта, к которой стремятся попасть герои фильма, проходит через город Шарлотсвилл – знаковое место в рамках американского национального мифа: история гласит, что 3–4 июня 1781 г. фермер Джек Джуэтт проскакал верхом на лошади около

¹ 00:09:15.

² 00:10:05.

³ 00:29:53.

⁴ 00:18:30. Дословный перевод: «струна от рояля». Возможно, выбранное выражение является отсылкой к казням в гитлеровской Германии.

⁵ Eddy K. Most Americans say a free press is highly important to society // Pew Research Center. – 2024. – April 23. – Mode of access: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/04/23/most-americans-say-a-free-press-is-highly-important-to-society/> (accessed: 17.12.2024).

⁶ 00:05:58–00:06:00.

⁷ 00:05:39.

60 км, чтобы предупредить Томаса Джефферсона и других представителей власти штата Вирджиния о приближении британских войск, которые сам ранее выявил и сделал заключение об их вероятных планах. Этот же город отмечен и в современной истории США благодаря событиям 11–12 августа 2017 г. – маршу «Объединенных правых» в связи с решением демонтировать памятник генералу-конфедерату Роберту Ли и последующим беспорядкам, приведшим к жертвам среди гражданских лиц. Таким образом, линия фронта служит метафорой зарождения американской государственности и одновременно угрожающего ей противостояния внутри общества.

Возвращаясь к названию фильма, «гражданская война» несет в себе два смысла. Первый – война, в которой нет четко определенных сторон конфликта, а ранее установленные социальные связи разрываются. Так, в разговоре с комбатантами один из журналистов попытался выяснить, на чьей они стороне и против кого воюют. Ответ бойца обескуражил представителя прессы: «Никто не отдает нам приказы, парень. Кое-кто пытается убить нас. А мы пытаемся убить их» (*“No one’s giving us orders, man. Someone’s trying to kill us. And we’re trying to kill them”*)¹. В упомянутой ранее сцене на автозаправочной станции зритель становится свидетелем убийства мужчиной бывшего одноклассника (*“I used to know that guy. Went to high school together”*). Есть и неприсоединившиеся (*“We’re just trying to stay out.”*), о которых главные герои отзываются крайне негативно (*“He’s sitting on his farm in Missouri pretending like none of this is happening.”*; *“Out of interest, are you guys aware there’s like a pretty huge civil war going on all across America?”*). Вероятно, под ними имплицитно понимается колеблющийся и / или пассивный электорат, которому авторы картины намекают на необходимость действовать (читай – голосовать за Демократическую партию на выборах 2024 г.).

Второй смысл, заложенный в словосочетании «гражданская война», – конфликт, в котором не действуют законы войны. В фильме были показаны следующие действия, которые в условиях международного конфликта, вероятно, могли бы быть квалифицированы как военные преступления: убийство раненого, не оказывающего сопротивления², расстрел пленных из крупнокалиберного пулемета³, упомянутое выше массовое убийство и захоронение

¹ 00:55:25.

² 00:37:57.

³ 00:39:15– 00:39:35.

гражданских лиц (что было не только показано¹, но и озвучено героями фильма²). Поэтому особенно парадоксальной на этом фоне выглядит символическая рутинизация «гражданской войны» (разговор главных героев поздним вечером за алкоголем, сигаретами и, предположительно, крэком на фоне отголосков боевых действий³; безмятежный сон журналиста на земле рядом с военной техникой на базе Западных сил⁴ и др.).

Кинематограф как форма публичного дискурса может использоваться для воспроизводства и поддержания мифов. В случае с Соединенными Штатами центральным является миф об американской исключительности. Он во многом строится на представлениях об американской государственности, американских ценностях и американском могуществе. Иными словами, достижения в государственном строительстве и либеральные ценности воспринимаются как то, что делает США «исключительными» и в то же время наделяет их правом и обязанностью распространять «дары свободы» путем задействования военного и экономического потенциала, а также «мягкой силы». В то же время само могущество является результатом особенностей американской государственности и приверженности ценностям.

Как было показано при анализе фильма «Падение империи» (*Civil War*), американская государственность опирается на монополию государства на насилие, либерально-демократические ценности и президентскую власть. Ситуация, в которой президент из гаранта конституции превращается в узурпатора, государство теряет монополию на насилие, а либерально-демократические ценности вытесняются радикальными правоконсервативными взглядами, по сути, означает крах привычного жизненного уклада, деградацию и радикализацию общества и в итоге конец американской нации. Изоляционизм, экономические проблемы, отказ от проецирования военной силы за рубежом, эрозия американских ценностей, свободы прессы и свободы слова, расширительная трактовка поправок к конституции (в частности, гарантирующей

¹ 01:03:43–01:04:02; 01:04:06–01:04:30; 01:06:05; 01:11:28–01:11:45.

² 01:05:00.

³ 00:30:30.

⁴ 01:20:53.

право на ношение оружия) и, напротив, их попрание, политический абсентеизм, распространение правоконсервативных взглядов несут в себе риски утраты американского могущества и изменения того облика Соединенных Штатов, который поддерживает миф об американской исключительности.

V.V. Pavlov, A.V. Pavlova *

**Reproducing the myth of U.S. exceptionalism
in cinematography: the case of *civil war* (2024)**

Abstract. The myth of American exceptionalism, although criticized and deconstructed, including by academic circles, continues to play an important role in the U.S. political process, which makes it important to identify the mechanisms of its reproduction. The present study attempts to contribute to the discussion in this problem area by assessing what political symbols are used today to maintain the aforementioned myth. In particular, it is based on the beliefs concerning U.S. statehood, U.S. values and U.S. power. Turning to the analysis of cinema as a form of public discourse, the authors chose *Civil War* feature film as a case for the study. The film centers on the collapse of the U.S. statehood and power against the backdrop of an internal armed conflict, which makes the feature a valuable empirical material. The authors undertake the task of identifying the symbols that are involved in reproduction of the myth of U.S. exceptionalism within the selected case-study. The theoretical and methodological basis of the study is constructivism, and the main applied method is qualitative content-analysis. The study has shown that by demonstrating the collapse of the symbols of U.S. statehood and foundations of economic, value-based and military and political power of the United States, the idea of the inevitability and necessity of maintaining the belief in American exceptionalism is transmitted; its abandonment is equal to the end of the nation itself in its current form.

Keywords: content analysis; political symbol; Civil War; USA; American power; statehood; American exceptionalism.

For citation: Pavlov V.V., Pavlova A.V. Reproducing the myth of U.S. exceptionalism in cinematography: the case of *civil war* (2024). *Political science (RU)*. 2025, N 2, P. 138–161. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.06>

References

- Batalov E.Ya. *The political culture of modern American society*. Moscow: Nauka, 1990, 252 p. (In Russ.)
Batalov E.Ya. *The Russian idea and the American dream*. Moscow: Progress-Traditsiia, 2009, 384 p. (In Russ.)

* **Pavlov Vladimir**, MGIMO University (Moscow, Russia), e-mail: v.pavlov@inno.mgimo.ru; **Pavlova Anastasia**, MGIMO University (Moscow, Russia), e-mail: an.v.lodina@my.mgimo.ru

- Batalov E.Ya., Zamoshkin Yu.A. *Modern political consciousness in the USA*. Moscow: Nauka, 1980, 450 p. (In Russ.)
- Bell P. Content analysis of visual Images. In: Van Leeuwen T., Jewitt C. (eds). *The Handbook of visual analysis*. London; Thousand Oaks; New Delhi: SAGE Publications Ltd, 2004, P. 10–34. DOI: <https://doi.org/10.4135/9780857020062.n2>
- Bucy E.P., Joo J. Editors' introduction: visual politics, grand collaborative programs, and the opportunity to think big. *The International journal of press/politics*. 2021, Vol. 26, N 1, P. 5–21. DOI: <https://doi.org/10.1177/1940161220970361>
- Buffet C. (ed.). *Cinema in the Cold War (1st ed.)*. London: Routledge, 2017, 152 p. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315667669>
- Dobson A., Marsh S. *U.S. foreign policy since 1945*. London: Routledge, 2001, 158 p.
- Drisko J.W., Maschi T. *Content analysis*. Oxford; New York: Oxford University Press, 2016, 191 p.
- Engle J. Political symbols and American exceptionalism. *ETC: A review of general semantics*. 2014, Vol. 71, N 4, P. 324–329.
- Erlil A. The hidden power of implicit collective memory. *Memory, mind & media*. 2022, Vol. 1, Article e14. DOI: <https://doi.org/10.1017/mem.2022.7>
- Farinotti L. Cinema, political. In: Mazzoleni G. (ed.). *The International encyclopedia of political communication (1st ed.)*. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2016, P. 1–14. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781118541555.wbiepc226>
- Fazeli S., Sabetti J., Ferrari M. Performing qualitative content analysis of video data in social sciences and medicine: the visual-verbal video analysis method. *International journal of qualitative methods*. 2023, Vol. 22, P. 1–17. DOI: <https://doi.org/10.1177/16094069231185452>
- Figueiredo C. Narrative and visual cinematic strategies in communication design. *Procedia manufacturing*. 2015, Vol. 3, P. 4358–4361. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.431>
- Grabe M.E., Bucy E.P. *Image bite politics*. Oxford: Oxford university press, 2009, 316 p. DOI: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195372076.001.0001>
- Greene J.P. *The intellectual construction of America: exceptionalism and identity from 1492 to 1800*. Chapel Hill; London: University of North Carolina Press, 1993, 228 p.
- Herring G. *From colony to superpower: U.S. foreign relations since 1776*. Oxford: Oxford university press, 2011, 1056 p.
- Hodgson G. *The myth of American exceptionalism*. New Haven: Yale university press, 2009, 240 p.
- Hoffmann S. American exceptionalism: The new version. In: Ignatieff M. (ed.). *American exceptionalism and human rights*. Princeton: Princeton university press, 2005, P. 225–240
- Hughes D. Unmaking an exception: A critical genealogy of US exceptionalism. *Review of international studies*. 2015, Vol. 41, N 3, P. 527–551. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0260210514000229>
- Jentleson B.W. *American foreign policy: The dynamics of choice in the 21st Century (5th ed.)*. New York: W.W. Norton & Company, 2014, 768 p.
- Joo J., Steinert-Threlkeld Z.C. Image as data: automated visual content analysis for political science. *arXiv preprint arXiv:1810.01544v1*. 2018. DOI: <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1810.01544>

- Laberge Y. «Politiques du cinéma». *Politix. Canadian journal of political science/revue Canadienne de science politique*. 2005, Vol. 38, N 3, P. 782–784. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0008423905279982> (In French)
- Ledin P., Machin D. *Doing visual analysis: from theory to practice*. London; Thousand Oaks; New Delhi: SAGE Publications, 2018, 216 p. DOI: <https://doi.org/10.4135/9781529793529>
- Leeuwen T. van, Jewitt C. (eds). *Handbook of visual analysis (reprinted)*. London; Thousand Oaks; New Delhi: SAGE Publications, 2001, 224 p.
- Lieven A. *America right or wrong: An anatomy of American nationalism*. Oxford: Oxford university press, 2012, 274 p.
- Malinova O.Yu. Multimedia exhibitions as an object of political analysis: the challenge of multimodality. *Political science (RU)*. 2024, N 4, P. 17–44. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2024.04.01> (In Russ.)
- Malinova O.Yu., Karpich Yu.V., Gurin M.Iu. Commemorating the August 1991 coup d'état: documentaries as tools of constructing memories of the political event. *Polis. Political studies*. 2023, N 6, P. 142–160. DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2023.06.11> (In Russ.)
- Mattingly D.C., Yao E. How soft propaganda persuades. *Comparative political studies*. 2022, Vol. 55, N 9, P. 1569–1594. DOI: <https://doi.org/10.1177/00104140211047403>
- McCormick J.M. *American foreign policy and process (7th ed.)*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023, 600 p.
- O'Connor B., Cox L., Cooper D. The ideology of American exceptionalism: American nationalism's nom de plume. *Journal of political ideologies*. 2022, Vol. 29, N 3, P. 634–655. DOI: <https://doi.org/10.1080/13569317.2022.2112126>
- Ong P.A.L. Visual research methods: qualifying and quantifying the visual. *Beijing international review of education*. 2020, Vol. 2, N 1, P. 35–53. DOI: <https://doi.org/10.1163/25902539-00201004>
- Pillar P. *Why America misunderstands the world: National experience and roots of misperception*. New York: Columbia university press, 2016, 224 p.
- Pomigiev I.A., Prokopchuk T.L., Koshkin A.V. The potential of the narrative analysis method, or how to identify political values in Russian cinema. *Political science (RU)*. 2024, N 4, P. 45–65. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2024.04.02> (In Russ.)
- Ponomareva E.G., Ryabinin Y.V. Cinema – a tool of cognitive warfare. *Observer*. 2024, N 1, P. 41–57. DOI: https://doi.org/10.48137/2074-2975_2024_1_41 (In Russ.)
- Rastorguev S.V., Davydova M.A. Russian TV series as mechanisms for the formation and reinforcement of youth values. *Political science (RU)*. 2024, N 4, P. 98–120. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2024.04.04> (In Russ.)
- Rose G. *Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials (reprinted)*. London; Thousand Oaks; New Delhi: SAGE Publications, 2001, 229 p.
- Samuilov S.M. On the Role of Stereotypes in US Foreign Policy. *Svobodnaia mysl'*. 2008, N 3, P. 19–32 (In Russ.)
- Smith A.D. *Chosen Peoples*. New York: Oxford university press, 2003, 330 p.
- Stark R., Finke R. American religion in 1776: a statistical portrait. *Sociological analysis*. 1988, Vol. 49, N 1, P. 39–51. DOI: <https://doi.org/10.2307/3711102>
- Tyrrell I. *American exceptionalism: A new history of an old idea*. Chicago: University of Chicago Press, 2022, 288 p. DOI: <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226812120>

Литература на русском языке

- Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества / отв. ред. Ю.А. Замошкин. – М.: Наука, 1990. – 252 с.
- Баталов Э.Я. Русская идея и американская мечта. – М.: Прогресс-Традиция, 2009. – 384 с.
- Баталов Э.Я., Замошкин Ю.А. Современное политическое сознание в США. – М.: Наука, 1980. – 450 с.
- Малинова О.Ю. Мультимедийные выставки как предмет политологического исследования: вызов мультимодальности // Политическая наука. – 2024. – № 4. – С. 17–44. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2024.04.01>
- Малинова О.Ю., Карпич Ю.В., Гурин М.Ю. Вспоминая август 1991-го: теледокументалистика как инструмент формирования памяти о политическом событии // Полис. Политические исследования. – 2023. – № 6. – С. 142–160. – DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2023.06.11>
- Помигуев И.А., Прокопчук Т.Л., Кошкин А.В. Возможности метода нарративного анализа, или Как искать политические ценности в российском кино? // Политическая наука. – 2024. – № 4. – С. 45–65. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2024.04.02>
- Пономарева Е.Г., Рябинин Е.В. Кино – инструмент когнитивной войны // Обозреватель. – 2024. – № 1. – С. 41–57. – DOI: https://doi.org/10.48137/2074-2975_2024_1_41
- Расторгуев С.В., Давыдова М.А. Российские сериалы как механизмы формирования и подкрепления ценностей молодежи // Политическая наука. – 2024. – № 4. – С. 98–120. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2024.04.04>
- Самуйлов С.М. О роли стереотипов во внешней политике США // Свободная мысль. – 2008. – № 3. – С. 19–32.

Н.М. ТЕРНОВ, Д.А. МИХАЙЛОВ*

ОСОБЕННОСТИ МЕДИАТИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ СКАНДАЛОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. В статье дается систематизация политических скандалов в современной России. В качестве теоретической основы исследования выступили современные подходы к интерпретации тенденций персонификации власти, выражающиеся в том, что личные качества политических лидеров, такие как харизма, искренность и способность к эмпатии, стали играть центральную роль в формировании доверия и лояльности граждан. Авторы также исходят из того, что в условиях медиацентрированной политики образ политика в СМИ стал ключевым маркером его легитимности. Поскольку скандалы в политике обеспечивают высокий уровень вовлеченности и интереса аудитории, они являются одним из наиболее ярких и влиятельных проявлений медиатизации политической фигуры.

Источниковую базу исследования составили новостная информация ключевых 14 интернет-изданий современной России за период с 13.07.2023 по 13.07.2024. С помощью большой языковой модели (LLM) и количественных методов анализа данных – дается систематизация политических скандалов – анализируется их хронологическое и географическое распределение, интенсивность, а также вовлеченность различных должностных лиц. Отмечается, что центральное место в медийной повестке современной России занимают коррупционные скандалы. Обращается внимание на то, что медийные лица, такие как журналисты, инфлюенсеры и политические комментаторы, играют важную роль в агрегации и распространении скандалов, усиливая их влияние на общественное мнение и политическую стабильность. Определяются ключевые агрегаторы (медиа и инфлюенсеры) политических скандалов в современной России. Исследование подчеркивает, что политические скандалы выступают в качестве критического механизма,

* **Тернов Николай Максимович**, PhD, преподаватель кафедры социологии, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва (Астана, Казахстан), e-mail: ternovnm@yandex.ru; **Михайлов Дмитрий Алексеевич**, канд. ист. наук, заведующий кафедрой социологии и массовых коммуникаций, Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск, Россия), e-mail: damihan@yandex.ru

посредством которого общество оценивает своих руководителей, что делает их важным элементом современной политической жизни в России.

Ключевые слова: политический скандал; персонификация власти; легитимность; персональная легитимность; новые медиа; медиатизация; интернет-СМИ.

Для цитирования: Тернов Н.М., Михайлов Д.А. Особенности медиатизации политических скандалов в современной России // Политическая наука. – 2025. – № 2. – С. 162–181. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.07>

Введение

В современных информационных условиях легитимность политических режимов и институтов претерпевает значительные изменения. Новые медиа, включая социальные сети, интернет-СМИ и цифровые платформы, не только трансформируют способы передачи информации, но изменяют саму динамику взаимодействия между государством и обществом.

Влияние современных медиа на политическую сферу описывается термином «медиатизация». Этот процесс включает в себя адаптацию политических акторов к логике медиа, что, в частности, выражается в упрощении и эмоционализации политических сообщений [Esser, Matthes, 2013, p. 177–201]. В этих условиях легитимность все больше зависит от способности политиков и институтов эффективно использовать медиа для формирования положительного общественного мнения. Легитимность теперь все чаще строится на основе медийного образа политиков и их умения взаимодействовать с электоратом через цифровые каналы [Carlson, Robinson, Lewis, 2020, p. 737–754; Lalancette, Rayland, 2019, p. 888–924; Farkas, Bene, 2021, p. 119–142].

Другой тенденцией последних десятилетий, которая усиливает эффект медиатизации, стала персонификация политического процесса. Сегодня легитимность власти в значительной степени зависит от личных качеств лидеров, на которых проецируются не только результаты деятельности, но и ценностные ожидания граждан. В образе лидера нормативная легитимность проявляется как соответствие его действий моральным и правовым нормам, а социальная – как соответствие социально-экономическим ожиданиям. «Легитимны люди, а не законы или приказы, правители, а не режимы» – подчеркивает Родни Баркер [Barker, 2001, p. 31]. Воспринимаемая персональная политическая легитимность власти проявляется в отношении к моральным качествам ее представителей. Соответственно проявляться она будет в этических оценках дей-

ствий представителей власти. В условиях медиатизации политического процесса наиболее важным фактором становится освящение современными медиа нравственного облика человека, ассоциируемого с властью. Важнейшую роль в этом процессе играют политические скандалы, которые провоцируют широкий общественный резонанс и приводят к снижению доверия к вовлеченным лицам и институтам. При этом важно отметить, что не все скандалы одинаковы по своей природе и последствиям, они могут варьироваться от личных проступков до крупных случаев коррупции [Esser, Matthes, 2013, p. 177–201]. Разнообразие политических скандалов требует их систематического анализа и классификации для более глубокого понимания и эффективного управления.

Целью нашего исследования является аналитическое структурирование процесса медиатизации нарушений норм представителями власти в современной России. Для этого мы дадим характеристику тенденций персонификации власти и актуализации личной легитимности, проанализируем роль политического скандала в этих контекстах и на основе анализа больших данных с применением Natural Language Processing (применение LLM Gemma 2-9b-IT, разработанная компанией Google для экстракции и классификации данных) проведем систематизацию особенностей медиатизации политических скандалов в современной России.

Личная легитимность и политический скандал

Под политическим скандалом чаще всего понимается событие или серия событий, связанных с деятельностью политиков или государственных служащих, которые нарушают этические, правовые или моральные нормы и становятся объектом широкого и интенсивного освещения в средствах массовой информации [Basinger, Rottinghaus, 2012, p. 291]. Политический скандал характеризуется ключевой ролью медиа в формировании и распространении скандала, повышенным вниманием общественности, бурной общественной и политической реакцией, дальнейшими объяснениями, извинениями или действиями со стороны вовлеченных лиц или организаций.

Политические скандалы являются сложным феноменом, который непросто охарактеризовать и свести в единую типологию. Каждый исследователь, исходя из целей своего исследования, вынужден проходить через множество итераций, чтобы выработать

собственную оптику и классификацию. В результате определения политического скандала у различных авторов могут быть как синонимичными, так и существенно различаться. Важно отметить легитимирующий (делегитимирующий) эффект политического скандала, социолог Зигард Никель подчеркивает его в своем определении политических скандалов – это «конфликты, затрагивающие вопросы власти и легитимности» [Neckel, 2005, p. 13].

Политические скандалы стали важным и неотъемлемым элементом современной политической жизни благодаря ряду исторических, технологических и социальных факторов. Джон Томпсон выделяет три ключевых обстоятельства их распространения. Во-первых, рост конкуренции между изданиями, которым пришлось искать новые средства привлечения аудитории. Скандалные новости помогают максимизировать размер аудитории и, следовательно, доходы СМИ на высококонкурентном рынке. Во-вторых, появление жанра журналистских расследований, что побудило прессу выходить за рамки официальных источников, чтобы раскрыть информацию, которую стороны конфликта пытаются скрыть из-за страха нанести ущерб репутации. В-третьих, распространение новых медиа и коммуникационных технологий, поскольку повышенная публичность политиков очевидно увеличивает риск того, что частная деятельность будет раскрыта в публичном пространстве [Thompson, 2000, p. 57–59].

Исследователи отмечают, что новостное освещение скандалов часто драматизируется и персонализируется, что соответствует новостным ценностям рыночно-ориентированных СМИ [Just, Cringler, 2019, p. 36]. Фрейминг и нарративы являются важным инструментом в руках СМИ. Медиа не просто передают информацию, они также создают и формируют нарративы, которые помогают публике интерпретировать сложные события [Zulli, 2020, p. 5218–5236]. Формирование нарратива о политическом скандале часто определяет его исход, как это было в случае с делом о вмешательстве России в американские выборы, когда различные медиа представляли информацию по-разному, формируя у аудитории противоположные мнения.

Важным аналитическим инструментом являются функциональные систематизации политических скандалов. Прежде всего важно различать собственно персональные политические скандалы и скандалы институциональные. В первом случае в центре внимания оказывается конкретный человек, ассоциируемый с властью, во втором речь может идти о государственном институте. Важно

отметить, что, приписывая вину одному или нескольким лицам, освещение политических скандалов в СМИ может отвлечь внимание от институциональных проблем. Современные исследования показали, что когда новости формировали истории вокруг отдельных жертв, зрители были менее склонны приписывать вину институциональным факторам, и наоборот [Just, Cringler, 2019, p. 36]. Вовлеченные в политические скандалы выигрывают, когда масштаб конфликта или дебатов сужается, а вина возлагается на нескольких нарушителей, а не на саму организацию. Поэтому в интересах учреждений сотрудничать в создании персонализированного новостного повествования о политических скандалах [Just, Cringler, 2019, p. 37].

Особый интерес представляют финансовые и коррупционные скандалы. Томпсон определяет финансовые скандалы как случаи, когда отдельные лица получают личную выгоду, например, через взятки или растрату государственных средств [Thompson, 2000, p. 324]. В отличие от них, коррупционные скандалы не всегда связаны с финансовой выгодой. Исследования показывают, что личные скандалы, такие как измена или неподобающее поведение, чаще приводят к быстрому завершению политической карьеры, чем финансовые [Rottinghaus, 2013, p. 139].

Д. Зулли предлагает аналитическую рамку для изучения скандалов, включающую три параметра: интерактивность, персонализацию и срочность. Интерактивность подразумевает вовлечение аудитории в обсуждение, персонализация – использование личного языка («я думаю», «я чувствую») и голосов фигурантов, а срочность – оперативное освещение событий [Zulli, 2020, p. 5219]. В современных медиа наблюдается тенденция к фрагментации обсуждений, что снижает глубину понимания скандалов.

Ш. Буркхардт выделяет три типа медиатизации скандалов: скандал без освещения в СМИ, медиатизированный скандал (освещаемый медиа) и медийный скандал (созданный медиа) [Ушанова, 2013, с. 129]. Основным различием между медиатизированным и медийным типами выступает профессиональное конструирование скандала со стороны медиа. Соответственно, в случае персональной легитимности в центре внимания будут оказываться медиатизированные конфликты, хотя, как справедливо замечает И.А. Ушанова, различить медиатизированный и медийный скандалы не всегда возможно [Ушанова, 2013, с. 129].

Методологическая ограниченность и противоречивость множества существующих классификаций политических скандалов указывает на необходимость перехода от статичных формальных

схем к исследованию нарративов и интерпретаций, формируемых средствами массовой информации. Традиционные подходы, базирующиеся на структурных критериях должностей и проступков, ограничены в понимании динамичности и контекстуальной природы скандалов. Медиа не только транслируют события, но активно конструируют их политическое значение, формируя контекст, определяя акценты и масштабы общественной реакции. Исследование медийных нарративов позволяет фиксировать изменения восприятия, трансформацию ролей акторов и общественные реакции на скандалы в режиме реального времени, что делает их ключевым инструментом для изучения политического процесса. Такой подход раскрывает не только природу и последствия скандалов, но и их роль в сохранении или изменении политического порядка.

При применении теоретических концепций зарубежных авторов к российским условиям также необходимо учитывать ряд ограничений. Одним из ключевых факторов является различная степень государственного контроля над средствами массовой информации. В то время как в ряде западных стран медиасистема характеризуется преобладанием частных СМИ, обладающих относительной независимостью, в России значительная часть СМИ находится под прямым или косвенным влиянием государства. Это различие существенно влияет на процессы медиатизации скандалов. В западных моделях частные СМИ, выражающие интересы определенных групп или корпораций, могут действовать в рамках конкуренции и стремления к привлечению аудитории, что способствует разнообразию представленных точек зрения. В российском контексте государственные и окологосударственные СМИ хотя и выражают определенные интересы, обладают возможностями использовать ресурсы государственной машины. Это может проявляться в форме контролируемого освещения событий, формирования общественного мнения в соответствии с государственной повесткой и ограничения доступа к альтернативным источникам информации. Но что еще более существенно, в современных условиях исследование медийных скандалов требует особого внимания к национальным особенностям этического восприятия. Западные теории, формировавшиеся на основе специфических культурных и исторических контекстов, не всегда применимы к российской действительности. Различия в понимании этичности, морали и общественных норм создают уникальную среду, в которой медийные скандалы в России развиваются по своим законам. Следовательно, прямое перенесение теоретических концепций, разработанных в

условиях либеральных медиасистем, на российскую действительность может привести к некорректным выводам.

Источники данных и методы исследования

Для поиска уникальных случаев ненадлежащего поведения представителей власти было принято решение обратиться к основным интернет-изданиям России¹. Как замечает Ефанов, «В результате неравномерности освещения политических скандалов со стороны телевизионных каналов аудитория преимущественно ориентируется на медиаповестку поля Интернета, предлагающего поляризацию мнений, в меньшей степени подвергаясь цензурированию» [Ефанов, 2018, с. 45]. В условиях цифрового общества провоцирующие скандал нежелательные поступки, убеждения, высказывания политического актора смещаются из офлайна в онлайн, и, таким образом, могут храниться бесконечно долго и быть доступны большому количеству пользователей. В то же время сами социальные медиа имеют возможность форсировать проблемы, которые долгое время замалчивались или занимали незначительное место в сообщениях традиционных СМИ [Лукьянова, Соловьёв, 2020, с. 141]. Исходя из этого при отборе источников основное внимание уделялось их популярности и, следовательно, степени влияния на широкую аудиторию. Популярные медиа, независимо от их владельцев, обладают способностью определять информационную повестку, воздействовать на общественное мнение и, таким образом, играть существенную роль в политических процессах. Исходя из этого корпус источников составили следующие СМИ, представленные через официальные Telegram-каналы: «Известия», «Коммерсант», «Газетару», «Лента», «RT», «АИФ», «Ведомости», «Взгляд», «Комсомольская правда», «Вести», «Российская газета», «Свободная пресса», «Правда», «Лайф».

Для удобства получения данных выгрузка новостей из каналов осуществлялась через API Telegram, временные рамки: 13.07.2023–13.07.2024. Временные рамки обоснованы объемом полученных данных, вычислительными мощностями. Сформированный датафрейм состоял из дат, названий Telegram-каналов вы-

¹ Раздел «интернет-издания», в выборку вышли только те издания, которые публиковали новости на постоянной основе (не меньше поста в день) // Все-СМИ. – Режим доступа: <https://vsesmi.online/russia/> (дата посещения: 13.07.2024).

бренных СМИ и текстов новостей. Общее количество новостей – 334 095. Последующая обработка данных осуществлялась с помощью языка программирования Python и включала несколько этапов.

Первый этап включает отбор новостей, содержащих факты ненадлежащего поведения. Поскольку эта задача не имеет четкого языкового представления (ключевых слов), для отбора новостей применяются большие языковые модели (LLM), в отличие от BERT. Это связано с тем, что в новостях достаточно часто упоминаются должности (мэр, губернатор и т.д.), разные страны (коррупция в третьих государствах), и преступления, не относящиеся к должностным лицам (мошенничество рядовых граждан и т.д.), и поэтому работа с векторными представлениями не позволила бы отличить скандал с участием чиновника от скандала с рядовыми гражданами. В политологических исследованиях использование LLM становится актуальным из-за растущего объема данных, обработка которых вручную требует значительных временных и финансовых затрат [Linegar, Kocielnik, Alvarez, 2023]. В отличие от математических алгоритмов классификации, таких как логистическая регрессия или K-means, точность классификации с использованием LLM может достигать 95% при правильно настроенных параметрах [Linegar, Kocielnik, Alvarez, 2023]. В нашем случае была использована модель Gemma-2-9b-it, разработанная компанией Google¹. Данная модель, обладающая более 9 млрд параметров, создана для работы с инструкциями (промпт), сформированными авторами. Инференс выполнялся на GPU Nvidia RTX 3060 с 12 GB памяти, тип квантования модели – Q6_K_L. Для определения ненадлежащего поведения был сформулирован промпт (задание), F1-метрика на выборке из 100 новостей (50 из которых – скандалы с рядовыми гражданами, 50 – с должностными лицами) составила 0,89 (максимум – 1). Размер выборки обусловлен как редкостью самих кейсов, так и оптимальным количеством для формирования промпта для LLM².

Второй этап включает обработку и проверку данных. Для анализа частоты упоминаемости лиц и скандалов были сформиро-

¹ Модель Gemma – Режим доступа: <https://www.kaggle.com/m/3301> (дата посещения: 13.07.2024).

² Ornstein J.T., Blasingame E.N., Truscott J.S. How to train your stochastic parrot large language models for political texts. – 2024 – 21 апреля. – Режим доступа: <https://joernstein.github.io/publications/ornstein-blasingame-truscott.pdf> (дата посещения: 13.07.2024).

ваны два датафрейма: первичный (с наличием дубликатов) и вторичный (без). Дубликаты (повторяющиеся скандалы) удалялись следующим образом: из новостей извлекались ключевые данные о чиновниках, такие как ФИО, география и медийный статус. В случае выявления схожести (например, «Бывший министр А.А. Иванов» и «министр Иванов А.А.») подобные случаи удалялись. После устранения повторяющейся информации также извлекались данные о сфере работы, типе нарушения и месяце события. Финальный датафрейм содержал 386 уникальных скандала, все данные были вручную проверены авторами.

Третий этап включает группировку данных. Поскольку информация о чиновниках носила хаотичный характер, для изучения тенденций и систематизации скандалов было решено провести группировку (binning) данных по категориям.

1. Географические данные – сёла, поселки городского типа, города и регионы были сгруппированы по федеральным округам, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга (например, Сочи отнесен к Южному федеральному округу, а Владивосток – к Дальневосточному федеральному округу).

2. Данные о проступке – предмет скандала классифицировался по категориям, которые чаще всего упоминаются в источнике. Данные о характере проступка, ставшего предметом политического скандала, классифицировались на основе категорий, которые наиболее часто встречались в медийных источниках. Такой подход подразумевает не использование заранее заданных формальных определений или универсальных классификаций, а анализ тех типов проступков, которые получают наибольшее внимание и наиболее активно обсуждаются в конкретном медийном контексте. В основе лежит предположение, что именно эти категории отражают общественную и медийную значимость событий, поскольку они не только фиксируются, но и многократно интерпретируются журналистами и другими акторами медиаполя.

3. Сфера деятельности – деятельность лица, вовлеченного в скандал, была сгруппирована по шести категориям: армия, силовые структуры (МВД, ФСБ и т.п.), бюджетные учреждения (упоминаются Минздрав, Минобр и т.п.), государственные компании и корпорации (упоминаются «Ростех», «Роснано» и т.п.), региональные власти (упоминаются «мэры», «губернаторы» и т.п.), федеральные власти (упоминаются «депутаты», «министры» и т.п.).

4. Медийный статус – позиция лица, вовлеченного в скандал, была распределена по восьми категориям: военный, депутат,

министр, мэр / губернатор, руководитель / заместитель, рядовой сотрудник и родственник людей из вышеперечисленных категорий. При анализе скандалов в СМИ важно учитывать, что категории лиц, вовлеченных в эти скандалы, не являются взаимоисключающими и могут пересекаться. Это обусловлено тем, что медиа конструируют образы участников скандалов, акцентируя внимание на различных аспектах их социального статуса или ролей в обществе в зависимости от контекста и целей освещения события. Например, если генерал вовлечен в скандал, и медиа подчеркивают, что он является родственником министра, это смещает фокус с его военной должности на связи с политической элитой. Такое освещение может усиливать восприятие коррупции или nepотизма в высших эшелонах власти, что имеет значимые последствия для общественного мнения.

Для анализа связи между сформированными категориями мы обращались к различным методам измерения корреляции: V Крамера и Спирмена. Данные типы корреляции помогают оценивать связь между категориальными переменными (V Крамера, коэффициент от 0 до 1), ранговыми (Спирмена, от 0 до 1).

Результаты исследования

На рис. 1 представлено распределение скандалов по месяцам. В первую очередь, распределение имеет конкретный тренд: начиная с августа 2023 г., количество скандалов растет (21 – в августе, 32 – в сентябре), достигая пика в ноябре (40 скандалов). Затем происходит постепенное снижение, фиксируемое в январе нового календарного года. Впрочем, именно январь является «отправной точкой» для количества скандалов: если в этом месяце всего зафиксировано 19 скандалов, то уже в мае – 42, с последующим снижением в июне. Речь, очевидно, идет не столько о сезонной закономерности в работе медиа (на рост количества скандалов в СМИ в мае явно повлияло увеличение количества чрезвычайных ситуаций в паводковый период), а о конкретных кризисных явлениях в политической жизни страны. Два пика в освещении политических скандалов связаны с задержанием силовиков по всей стране (Дагестан, Ростов, Мордовия, Москва и т.д.) в ноябре и резонансными скандалами, связанными с генералитетом министерства обороны в мае.

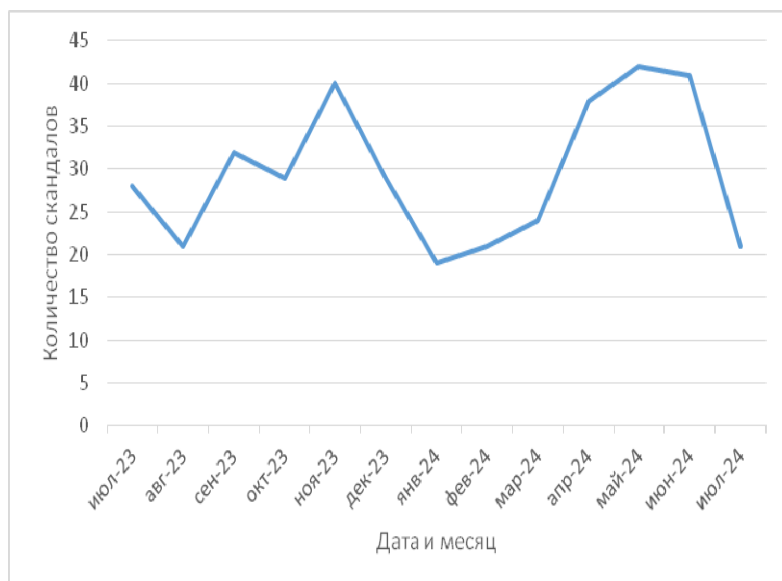


Рис. 1.
Распределение скандалов по месяцам



Рис. 2.
Категории проступков, упоминаемых СМИ

В категориях проступков (рис. 2 – Категории проступков, упоминаемых СМИ), доминирует «коррупцией и взяточничеством» – на этот сегмент приходится 35%. Этот тип нарушений распространен среди «руководителей» (47%), «заместителей» (26%),

и «рядовых сотрудников» (15%). «Экономические преступления» распространены заметно меньше (14%). В этом контексте чаще всего упоминаются случаи мошенничества, махинаций, растрат и т.п. Однако относительно медийного статуса они распределены почти так же: «руководители» – 46%, «заместители» – 25, «рядовые сотрудники» – 14%. Третья категория – «злоупотребление полномочиями» – составляет 8% от общего числа кейсов – это нарушение наиболее популярно среди рядовых «сотрудников» (12%), «заместителей» (18%) и «руководителей» (53%).

Несмотря на высокую долю скандалов, связанных непосредственно с исполнением обязанностей, единичные случаи были настолько разнообразными, что их почти невозможно было объединить в какие-либо категории. При этом сама корреляция между видом проступка и статусом довольно слаба (V Крамера – 0,211), а между видом проступка и сферой деятельности почти отсутствует (0,19).

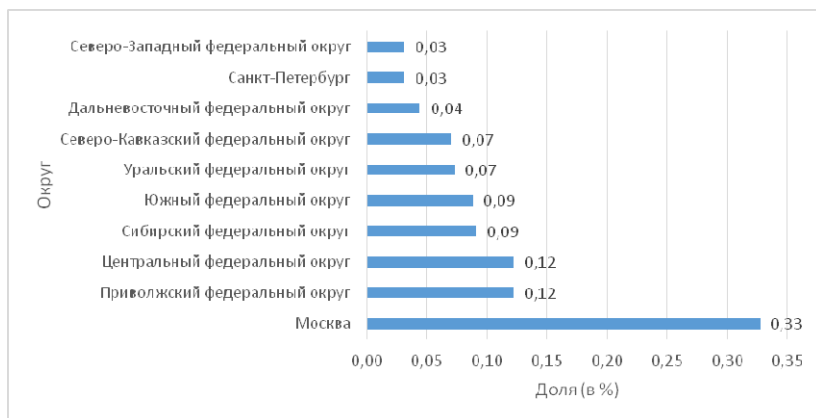


Рис. 3.

Распределение скандалов по округам

С точки зрения географии скандалов (рис. 3 – Распределение скандалов по округам) лидирующее положение занимает Москва (33%). Для столицы характерны скандалы с «коррупцией» (42%), «экономическими преступлениями» (22%) и «хамство» (7%). Однако в других округах категории скандалов разнятся. В Приволжском федеральном округе, на который приходится 12% от общего числа скандалов, наиболее распространенными причинами стали «коррупция» (36%), «злоупотребление полномочиями» (17%) и «неэтичное поведение» (12%). В Центральном федеральном ок-

руге, также составляющем 12% от общего числа скандалов, структура причин несколько иная: «коррупция» (29%), «организация ОПГ» (10%) и «насилие и преступления против личности» (10%). Связь между географией скандалов и типами проступков очень слабая (V Крамера – 0,164), впрочем, как и с типом медийного статуса (0,15) и сферами деятельности фигурантов (0,236).

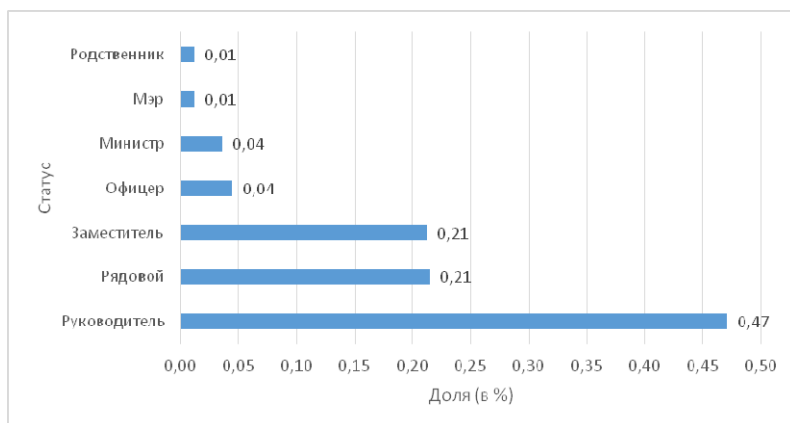


Рис. 4.

Медийный статус участников скандалов

В рейтинге медийных статусов участников скандала (рис. 4 – Медийный статус участников скандалов) наибольшую вовлеченность демонстрирует лица, связанные с «руководящими должностями» – 67%. Вне зависимости от географии представители региональной власти имеют наибольшую тенденцию попасть в скандал (32% от общего числа), впрочем, как и «силовики» (28%) с «бюджетниками» (24%). «Руководящая должность» сильно коррелирует со случаями «коррупции» и «экономических преступлений», однако это справедливо и в отношении «рядовых сотрудников» (18%). Последние представлены в большей мере «силовиками» (64%) «бюджетниками» (14%) и «представителями региональной власти» (13%). Связь между медийным статусом и сферами участников скандала слабая – 0,2 (Коэффициент корреляции Спирмена).

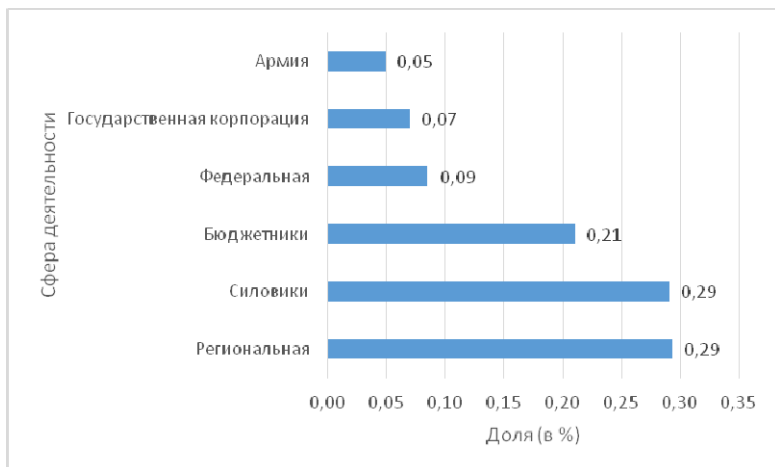


Рис. 5.

Сферы деятельности участников скандалов

Как показывают результаты исследования (рис. 5 – Сферы деятельности участников скандалов), сферы деятельности участников скандалов почти не определяют их проступки: как в случае с «региональной властью» (29%), так и «силовиками» (28%) и «бюджетниками» (21%) основными нарушениями являются «коррупция», «экономические преступления» и «неэтичное поведение». Однако медийный статус попавших в скандал лиц отличается: для «региональной власти» это «руководители» (50%), их «заместители» (16%), в то время как силовики чаще всего представлены должностями: «рядовые сотрудники» (40%), «руководители» (35%) и их «заместители» (13%).

Полученные данные позволяют составить рейтинг интернет-изданий, наиболее часто освещают политические скандалы (см. табл. 1 – Результаты эмпирического анализа).

По количеству скандальных новостей с большим отрывом лидируют «Коммерсант» и «Свободная пресса», что позволяет охарактеризовать данные издания как наиболее политизированные среди всех рассмотренных. Соответственно наименее политизированными, согласно полученным данным, являются «Вести», «АИФ» и «Российская газета».

Таблица 1

Результаты эмпирического анализа

№	Название канала	Доля скандалов (в % от общего числа скандалов)
1	Коммерсант	1,341
2	Свободная пресса	1,203
3	Газета.ru	0,867
4	Ведомости	0,767
5	Лента	0,638
6	Известия	0,538
7	Правда	0,499
8	Лайф	0,499
9	Взгляд	0,415
10	Russia Today	0,346
11	Комсомольская правда	0,338
12	Российская газета	0,272
13	Аргументы и Факты	0,266
14	Вести	0,203

С точки зрения институциональной (корпоративной) принадлежности акторов политических скандалов прошедший год можно рассматривать как год Министерства обороны Российской Федерации.

Таблица 2

Наиболее вовлеченные в скандалы личности

Фамилия	Случаев упоминания
Иванов	211
Кузнецов	54
Попов	54
Омаров	49
Паршин	40
Шамарин	40
Меликов	30
Абызов	25
Бойко	20
Исмаилов	20

В табл. 2 (см. табл. 2 – Наиболее вовлеченные в скандалы личности) представлены персоны, наиболее часто вовлеченные в скандалы. Первое место с точки зрения медийности с четырехкратным отрывом занимает скандал вокруг уголовного процесса против заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова. Важно отметить, что помимо пристального внимания к формальной стороне уголовного дела, СМИ активно обсуждали образ жизни высокопоставленного чиновника. На втором

месте – обвинение во взятке начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, на третьем – арест по обвинению в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова. Пристальное внимание к этим процессам особенно впечатляет, если учесть, что начало их упоминаний приходится на весну 2024 г.

В этой связи важно различать короткие скандалы, ограничивающиеся одной-двумя заметками, и скандалы, которые иногда удерживаются в общественном сознании годами (см. табл. 3 – продолжительность скандалов).

Таблица 3

Продолжительность конфликтов

Фамилия	Начало	Конец	Длительность (дней)
Ракова	03.07.2023	12.07.2024	375
Чубайс	03.07.2023	11.07.2024	367
Попов	10.07.2023	13.07.2024	366
Паршин	13.07.2023	12.07.2024	365
Мурашко	17.07.2023	08.07.2024	357
Кузнецов	25.07.2023	10.07.2024	351
Меликов	15.08.2023	30.06.2024	320
Канюс	10.07.2023	22.05.2024	317

С точки зрения продолжительности конфликта самыми длительными оказались истории уголовного дела против бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, общественно-политической активности Анатолия Чубайса и уже упомянутого уголовного дела против генерала Попова.

Среди персоналий, упомянутых в связи с политическими скандалами, бросается в глаза категория медийных лиц, которые имеют длительные упоминания в контексте политических скандалов, при этом не являясь их непосредственными участниками (см. табл. 4 – медийные лица в контексте политических скандалов).

Таблица 4

Медийные лица в контексте политических скандалов

№	Фамилия	Упоминаний в общей базе данных
1	Захарова	2699
2	Кадыров	911
3	Бастрыкин	610
4	Краснов	382
5	Хинштейн	293
6	Мизулина	200
7	Милонов	162

По очевидной причине среди этой категории акторов политических скандалов заметной медийностью обладают глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и генеральный прокурор России Игорь Краснов. Иногда они упоминаются в формальном ключе, как главы ведомств, инициировавших процедуру в отношении конкретного лица, однако можно встретить и упоминание их позиций по отношению к некоторым вопросам, освещаемым в контексте конкретного политического скандала.

Особую категорию известных медийных фигур, которые часто упоминаются в контексте политических скандалов, составляют депутаты Государственной думы Виталий Милонов и Александр Хинштейн, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Их медийную роль можно охарактеризовать как выполнение функции агрегаторов политических скандалов.

Заключение

В современных условиях растущей политической осведомленности граждан микролегитимность – моральный облик представителей власти или людей с нею ассоциируемых – приобретает особое значение. Благодаря развитию интернета и социальных сетей граждане имеют более широкий доступ к информации о деятельности представителей власти. Моральный облик представителей власти, их личные и профессиональные качества становятся видимыми и доступными для общественного обсуждения, что напрямую влияет на доверие граждан к властным структурам.

Политические скандалы играют ключевую роль в процессе формирования и оценки морального облика представителей власти. Они раскрывают истинные моральные качества политиков, формируют общественное мнение, влияют на политическую карьеру и в конечном итоге определяют, насколько эффективно власть может управлять кризисами и сохранять доверие граждан.

Политические скандалы, связанные с коррупцией, занимают центральное место в российской политической повестке. Можно сделать вывод, что в России существует высокий уровень общественного интереса к коррупционным скандалам, что, очевидно, следует связывать, в том числе, с повседневным опытом граждан, сталкивающихся с коррупцией в разных сферах жизни. Коррупци-

онные скандалы вызывают сильные негативные эмоции у общества, поскольку они ассоциируются с несправедливостью, социальным неравенством и нарушением прав граждан, это делает коррупцию наиболее чувствительной и обсуждаемой темой в российской политике.

Антикоррупционная риторика используется в качестве инструмента в политической борьбе как среди оппозиции, так и внутри правящей элиты, а российские журналисты, блогеры и активисты часто фокусируют свое внимание на коррупции, что связано с ее масштабами и негативным воздействием на общество. Обвинения в коррупции часто используются для дискредитации политических оппонентов и обоснования репрессивных мер, что подчеркивает важность коррупции как основной темы в политических скандалах, поскольку она является удобным инструментом для достижения политических целей. В то же время важно иметь в виду, что государства с большим количеством скандалов не обязательно страдают от большего количества нарушений – при четко определенных условиях скандалы могут быть признаком политического благочестия страны [Dziuda, Howell, 2021, p. 209].

Среди акторов политических скандалов заметную роль играют медийные лица, которые, не являясь непосредственными участниками политических скандалов, играют важную роль в их агрегации и провокации. Журналисты-расследователи, медийные активисты, политические комментаторы и инфлюенсеры через свои действия и платформы способствуют распространению информации, формированию общественного мнения и созданию давления на власти. Их деятельность значительно влияет на политические процессы, делая политические скандалы важным элементом современной политической жизни.

Перспективы исследования видятся в формировании российского варианта типологии скандалов, для создания которого понадобится задействовать качественные методы анализа. Использование качественных методов, таких как форсайт-сессии, контент-анализ и глубинные интервью, поможет выявить скрытые закономерности и особенности, присущие именно российской политической культуре и медийному пространству, что станет ценным вкладом в теорию политических коммуникаций и практику управления репутационными рисками.

N.M. Ternov, D.A. Mikhaylov, D.S. Terentiev *
The features of the political scandals mediatization
in contemporary Russia

Abstract. The article provides a systematization of political scandals in contemporary Russia. The study embraces modern approaches to the interpretation of trends in the personification of power expressing that the personal qualities of political leaders, such as charisma, sincerity and the ability to empathize, play a central role in shaping the trust and loyalty of citizens. The authors state that in the context of media-centered politics, the image of a politician in the media has become a key marker of his/her legitimacy. Since scandals in politics provide a high level of involvement and interest of the audience, they are one of the most striking and influential manifestations of the mediatization of a political figure.

The source base of the study was news information from 14 key online publications of modern Russia for the period from 07/13/2023 to 07/13/2024. Using a large language model (LLM) and quantitative data analysis methods, the article systematizes political scandals by analyzing their chronological and geographical distribution, intensity, and the involvement of various officials. It is noted that corruption scandals occupy a central place in the media agenda of contemporary Russia. Attention is drawn to the fact that media personalities such as journalists, influencers, and political commentators play an important role in the aggregation and dissemination of scandals, enhancing their impact on public opinion and political stability. Key aggregators of political scandals in modern Russia are identified. The study emphasizes that political scandals are a critical mechanism through which society evaluates its leaders, which makes them an important element of political life in today's Russia.

Keywords: political scandal; personification of power; legitimacy; personal legitimacy; new media; mediatization; online media.

For citation: Ternov N.M., Mikhaylov D.A. The features of the political scandals mediatization in contemporary Russia. *Political science (RU)*. 2025, N 2, P. 162–181. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.07>

References

- Basinger S., Rottinghaus B. Skeletons in White House closets: A discussion of modern presidential scandals. *Political science quarterly*. 2012, Vol. 127, N 2, P. 290–302.
- Barker R. *Legitimizing identities the self-presentations of rulers and subjects*. Cambridge: Cambridge university press, 2001, 158 p.
- Carlson M., Robinson S., Lewis S. Digital press criticism: The symbolic dimensions of Donald Trump's assault on U.S. journalists as the "Enemy of the people. *Digital journalism*. 2020, Vol. 9, N 6, P. 737–754. DOI: <https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1836981>
- Dziuda W., Howell W.G. Political scandal: a theory. *American journal of political science*. 2021, Vol. 65, N 1, P. 197–209.

* **Ternov Nikolay**, Eurasian National University named L.N. Gumilyov (Astana, Kazakhstan), e-mail: ternovnm@yandex.ru; **Mikhailov Dmitry**, Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russia), e-mail: damihan@yandex.ru

- Efanov A.A. Models of discrediting a political actor through the media: a sociological dimension. *Proceedings of higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics*. 2018, N 3, P. 42–51. (In Russ.)
- Esser F., Matthes J. Mediatization effects on political news, political actors, political decisions, and political audiences. In: Kriesi H., Lavenex S., Esser F., Matthes J., Bühlmann M., Bochsler D. (eds). *Democracy in the age of globalization and mediatization. Challenges to democracy in the 21st Century series*. London: Palgrave Macmillan, 2013, P. 177–201. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137299871_8
- Farkas X., Bene M. Images, politicians, and social media: patterns and effects of politicians' image-based political communication strategies on social media. *The international journal of press/politics*. 2021, Vol. 26, N 1, P. 119–142. DOI: <https://doi.org/10.1177/1940161220959553>
- Just M., Cringler A. Media coverage of political scandals. Effects of personalization and potential for democratic reforms. In: Tumber H., Waisbord S. (eds). *The Routledge companion to media and scandal*. London: Routledge, 2019, P. 36–48.
- Lalancette M., Rayland V. The power of political Image: Justin Trudeau, Instagram, and celebrity politics. *American behavioral scientist*. 2019, Vol. 63, N 7, P. 888–924. DOI: <https://doi.org/10.1177/0002764217744838>
- Linegar M., Kocielnik R., Alvarez R.M. Large language models and political science. *Frontiers in political science*. 2023, Vol. 5, P. 1–12. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1257092>
- Lukjanova G. V., Solovjov A.Y. Peculiarities of the agenda formation in the Telegram messenger // News of the Saratov University. New series. Series: Sociology. Political science. – 2024. – Vol. 24, N 1. P. 90–97. (In Russ.)
- Neckel S. Political scandals: an analytical framework. *Comparative sociology*. 2005, Vol. 4, N 1–2, P. 101–114. DOI: <https://doi.org/10.1163/1569133054621950>
- Rottinghaus B. Surviving scandal: The institutional and political dynamics of National and State executive scandals. *Political science & politics*. 2013, Vol. 47, N 1, P. 131–140. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1049096513001509>
- Thompson J. B. *Political scandal. Power and visibility in the media age*. Cambridge: Polity press, 2000, 336 p.
- Ushanova I.A. Scandal as a form of mediatized communication. *Vestnik NovSU*. 2013, Vol. 1, N 73, P. 129–132. (In Russ.)
- Zulli D. Political Scandals in the modern media environment: applying a new analytical framework to Hillary Clinton's whitewater and e-mail scandals. *International journal of communication*. 2020, Vol. 14, P. 5218–5236. DOI: <https://doi.org/1932-8036/20200005>

Литература на русском языке

- Ефанов А.А. Модели дискредитации политического актора посредством медиа: социологическое измерение // Известия вузов. Социология. Экономика. Политика. – 2018. – № 3. – С. 42–51.
- Лукьянова Г.В., Соловьёв А.Ю. Особенности формирования повестки дня в мессенджере Telegram // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. – 2024. – Т. 24, №1. – 90–97.
- Ушанова И.А. Скандал как форма медиатизированной коммуникации // Вестник НовГУ. – 2013. – № 73. – С. 129–132.

Д.О. РАСТЕГАЕВ*

**РУТИНИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О КОЛЛЕКТИВНОЙ ЖЕРТВЕ
КАК МЕХАНИЗМ ПОИСКА ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: СЛУЧАЙ СЕРБИИ**

Но человек рождается на
страдание, как искры, чтобы
устремляться вверх.

Иов. 5:7

Аннотация. Онтологическая безопасность макрополитического сообщества сводится к безопасному ощущению сообществом себя-в-мире, выражаемому в предсказуемой социальной среде и в устойчивости представления о Себе в прошлом, настоящем и будущем. Механизм рутинизации постулируется теоретиками как многократное повторение определенных социальных действий, предназначенных для вытеснения коллективной тревожности и достижения тем самым состояния онтологической безопасности. Настоящая статья представляет одну из первых попыток концептуализации понятий «рутинизация» и «рутина» в теории онтологической безопасности в международных отношениях. Автором демонстрируется, что рутина – некое представление, воспроизводимое в ходе рутинизации. В эмпирической части работы автор рассматривает рутинизацию представления о Нас как о жертве на примере двух эпизодов сербского биографического нарратива – историй о Второй мировой войне и о Югославских войнах. Релевантность выбора предмета обосновывается наличием и результатами исследований, посвященных теме коллективной жертвы в сербской политике. Конструирование виктимологического нарратива о Второй мировой войне осуществляется за счет повышенного внимания к теме жертв среди мирного населения («мученики Ясеновацкие» или жертвы нацистского террора). В случае же Югославских войн

* **Растегаев Даниил Олегович**, младший научный сотрудник Отдела политической науки, Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН (Москва, Россия), e-mail: rastegaev.2000@mail.ru

аналогичная задача решается через коммеморацию травмирующих эпизодов национальной биографии (операция «Буря», бомбардировки НАТО) и через оспаривание факта причастности к массовым преступлениям («геноцид в Сребренице»), способной «размыть» рутинизируемое представление о коллективной жертве сербов. Показано, каким образом рутинизация представлений о коллективной жертве способствует укреплению онтологической безопасности Сербии.

Ключевые слова: онтологическая безопасность; рутина; рутинизация; статус жертвы; С. Милошевич; четники; Ясеновац; Сребреница.

Для цитирования: Растегаев Д.О. Рутинизация представления о коллективной жертве как механизм поиска онтологической безопасности: случай Сербии // Политическая наука. – 2025. – № 2. – С. 182–203. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.08>

Онтологическая безопасность – относительно новый теоретический концепт, достаточно широко опробованный в англоязычном дискурсе и только набирающий популярность в международно-политических исследованиях в России. Этот вид безопасности соотносится теоретиками с ощущением макрополитическим сообществом безопасности «себя-в-мире»: наличию предсказуемой внешнеполитической среды, а также устойчивого и не оспариваемого (как изнутри, так и извне) представления о прошлом, настоящем и будущем сообщества. Состояние онтологической безопасности достигается рутинизацией (многократным повторением сообществом определенных социальных действий, упорядочивающих социальную реальность и вытесняющих тревожность), направленной как на взаимодействие с другими сообществами, так и на поиск ответов на главные экзистенциальные вопросы (об идентичности, биографии, будущем сообщества и проч.) [Giddens, 1991; Mitzen, 2006; Steele, 2008].

При этом понятие рутинизации нуждается в некоторой концептуализации. Несмотря на то что эта идея, можно считать, принадлежит к «ядру» теории онтологической безопасности, эксплицитно она практически не разработана. Настоящая статья – одна из первых попыток проведения подобного исследования.

Эмпирическая часть работы будет сфокусирована на случае Сербии. Представляется, что образ жертвы стал для сербского макрополитического сообщества некоторой моделью рефлексии относительно собственного прошлого, а его рутинизация – способом вытеснения коллективной тревожности и поиска онтологической безопасности. В эмпирической части статьи мы попытаемся выявить практики рутинизации (в данном случае – репрезентации

Нас как коллективной жертвы) в рамках поиска онтологической безопасности на примере двух сюжетов, относимых к национальной биографии сербского макрополитического сообщества: событий Второй мировой войны и Югославских войн 1990-х годов.

Так как концепт онтологической безопасности имеет дело с политическими репрезентациями коллективных установок, источниковую базу исследования составят материалы выступлений высших официальных лиц Сербии, материалы прессы, а также нормативные акты органов власти Сербии.

Онтологическая безопасность как исследовательский концепт

Исследователи онтологической безопасности в плоскости международных отношений чаще всего опираются на исходные понятия и определения, сформулированные британским социологом Э. Гидденсом [Giddens, 1991]. Конечно, представители дискурса, рефлексировав, и сами обращают внимание на слишком большую опору (*over-reliance on*) на идеи британского классика [Kinnvall, Mitzen, 2020], но это, скорее, тема отдельного эпистемологического исследования.

Исходная мысль Э. Гидденса состояла в том, что у личности существует «практическое сознание» (*practical consciousness*) – в противовес дискурсивному, – которое также позволяет индивиду рефлексировать насчет собственных действий, но делать это неосознанно (*non-conscious, rather than unconscious*), воспринимая разворачивающееся бытие (*going-on being*) как данность (*taken for granted*). Практическое сознание – основа естественного отношения (*natural attitude*), которое позволяет вынести за скобки (*bracket out*) вопросы о себе, других и предметном мире, который обязан (*have to*) быть воспринимаемым как должное (*taken for granted*), чтобы индивид смог продолжать повседневную деятельность. Поиск ответа на указанные вопросы рождает неопределенность, которая может быть вынесена за скобки практическим сознанием и воспроизводящими его каждодневными рутинными практиками (*day-to-day routines*), формирующими защитный кокон (*protective cocoon*) [Giddens, 1991]. Исходя из этого, процесс укрепления онтологической безопасности личности состоит в поддержании естественного, воспринимаемого как должное отношения к базовым

экзистенциальным вопросам о времени, пространстве, непрерывности во времени и идентичности.

Исследователи международных отношений использовали оптику онтологической безопасности для анализа широкого спектра сюжетов: дилеммы безопасности как теоретического конструкта [Mitzen, 2006], проблемы нейтралитета в международных отношениях [Steele, 2008], соотношения процесса глобализации и формирования национальной идентичности [Kinnvall, 2004], Брексита [Browning, 2020], проблемы независимости Косова [Ejdus, 2020], исторической политики Японии и Турции [Zarakol, 2010].

При этом теория онтологической безопасности имеет ряд ограничений для исследования международных отношений. Вопросы вызывает как перенос индивидуальных характеристик на уровень коллективных субъектов, так и недостаточность оснований для интерпретации и объяснения некоторых явлений международных отношений. Конечно, онтологическая безопасность может объяснить ряд аномалий, интерпретируемых реалистами как иррациональность в международных отношениях. В частности, Дж. Митцен доказывает, что в силу поиска онтологической безопасности государства могут сознательно идти на конфликт, подрывающий их физическую безопасность [Mitzen, 2006]. Впрочем, доказать эмпирически, было ли мотивировано то или иное действие поиском онтологической безопасности, крайне трудно, а существование иррациональности в международных отношениях, скорее, показывает уязвимость реализма, чем служит весомым аргументом в пользу иных теорий.

При этом понятие онтологической безопасности служит важным приращением конструктивистской теории. В частности, оно помогает объяснить ряд дискурсивных действий государств, не сводимых исключительно к вопросам укрепления идентичности или строительства нации (например, выбор или отбраковку того или иного биографического нарратива [Ejdus, 2020; Zarakol, 2010; Mälksoo, 2015]). Подобные действия могут быть проанализированы в том числе эмпирически (опираясь, например, на дискурсивный или нарративный анализ) и интерпретированы с помощью рутинизации как базового процесса поиска онтологической безопасности.

Рутинизация и рутинизация: к концептуализации понятий

Как было отмечено выше, согласно Э. Гидденсу, каждодневные рутинные действия формируют практическое сознание и

вытесняют неопределенность [Giddens, 1991]. Исследователь употреблял также термины «установившаяся / обыденная рутина» (*established / ordinary routine*), «ложная рутина» (*false / staged routine*) [Giddens, 1991, p. 58], «рутинизированный» (*routinised*) – в последнем случае, очевидно, речь идет о результате процесса рутинизации. Термин «рутина» интерпретируется Э. Гидденсом как «воспроизведение координирующих конвенций» (*reproduction of coordinating conventions*) [Giddens, 1991, p. 39], и под этим понимается, скорее, не действие как таковое, а некоторое представление (например, представление индивида о той или иной социальной роли). Употребление эпитетов «установившийся» и «ложный» может говорить о наличии определенных качественных характеристик: если, например, «установившимися» можно считать представления, подкрепленные набором повторяемых действий (т.е. прошедших процесс рутинизации), то «ложными» – представления, потерявшие значимость при изменении социальной реальности (такое изменение можно назвать «критической ситуацией»).

В контексте международных отношений авторы сконцентрировались на обсуждении качественных характеристик процесса рутинизации, оставив без внимания непосредственно феномен рутины. Так, в теории онтологической безопасности сложилось два основных подхода к осмыслению рутинизации. Дж. Митцен, представляющая первый, утверждает, что рутинизироваться могут только отношения между коллективными субъектами. Автор постулирует, что осознание обществом самого себя основывается на идентичности и непосредственно на отличии от других (очевидно, подобных ему) обществ. Рутинизация отношений с другими группами главным образом помогает осознать свое отличие от этих групп («я» может взаимодействовать только с «не-я»). Утрата обществом «отличительности» (*distinctiveness*) будет означать угрозу его онтологической безопасности. При этом для ощущения онтологической безопасности сообществу необходимо опираться на некоторую совокупность рутинных практик, которые вытесняют неопределенность и делают реальность познаваемой [Mitzen, 2006, p. 352–354].

По Бренту Стили [Steele, 2008, p. 49–51], представляющему второй подход, онтологическая безопасность государств состоит из четырех компонентов:

- 1) материальные и рефлексивные возможности (то, как территория, вооруженные силы, экономика и проч. возможности влияют на восприятие «себя-в-мире»);

2) восприятие кризисных явлений (способность справляться с критическими ситуациями – событиями, разрушающими сложившиеся представления и угрожающие устойчивости коллективной идентичности);

3) биографический нарратив (представление государств о себе, возникающее или существующее для оправдания или объяснения своих действий);

4) дискурсивные стратегии других акторов (*co-actors discourse strategies* – дискурсивное поведение контрагентов на международной арене, в т.ч. и поведение «значимых других»).

Основываясь на этих характеристиках, Б. Стили утверждает, что рутинные практики формируются «путем проб и ошибок при трансформации видения “себя”» [Steele, 2008, p. 49–51]. Автор подчеркивает, что рутинные практики, сущность которых составляет взаимодействие с контрагентами, могут формироваться эндогенно, и зависят в том числе и от представлений самих акторов об окружающей социальной реальности.

И Дж. Митцен, и Б. Стили сходятся во взглядах на поиск онтологической безопасности как на проактивный процесс, выражающийся в некотором социальном действии макрополитического сообщества по отношению к другим подобным ему субъектам (которое, по Б. Стили, при достаточной успешности может быть рутинизировано). Более того, поиск онтологической безопасности в этом контексте означает только мотивацию к действию, но не его сущность.

Рассмотрение исследований, фокусирующихся на феномене национальной биографии, позволяет понять, что поиск онтологической безопасности с точки зрения процесса рутинизации может быть не только проактивной, но и реактивной стратегией. Филип Эйдус в теоретической части исследования о месте Косова в онтологической безопасности Сербии [Ejdus, 2020, p. 19] отмечает, что онтологически уязвимые акторы способны рутинизировать свое подчиненное положение в системе – и основным способом такого вымещения тревожности автор считает построение идентичности на основе репрезентации своей истории в логике конструирования образа Нас как коллективной жертвы (виктимной идентичности).

Более подробно феномен биографии нации разобрал исследователь Феликс Беренскеттер [Berenskoetter, 2014]. По его мнению, такая биография – субъективный и самоорганизованный (*Self-organized*) процесс формирования идентичности, не сфокусированный на отношениях со значимыми другими. Ф. Беренскеттер

использует феноменологический подход для анализа нарративов, артикулируя которые государства преследуют следующие цели: обеспечить Себя знанием о месте в мире, поместить Себя (*situate the Self*) и обозначить его границы в пространстве и времени, а также обеспечить Себя чувством определенности в отношении того, откуда «мы» пришли и куда «мы» идем (ср. с базовыми экзистенциальными вопросами по Э. Гидденсу). По мысли Ф. Беренскеттера, такой биографический нарратив предоставляет «базовый дискурс» на уровне общества и погружает индивида в «национальное сознание» (ср. с *natural attitude* и *practical consciousness* по Э. Гидденсу).

Биографический нарратив может разворачиваться как в пространстве, так и во времени: например, распространяться на прошлое (не только «выбирая» нужные «рассказы» из исторического репертуара и укладывая это в единое повествование, но и «создавая» новые воспоминания) или на будущее (конструируя надежды и ожидания по поводу перспективного образа Себя). При этом прошлое не может существовать в отрыве от реальных физически осязаемых пространств; Ф. Эйдуз в этой связи описывает феномен «онтических пространств» (к разряду которых относится, в частности, и Косово), важных для формирования ощущения онтологической безопасности макрополитических сообществ [Ejdus, 2020, р. 2–3]. Более того, рутинизация определенного отношения к прошлому вообще или конкретного элемента биографии в частности может стать объектом безопасности: в этом контексте мы можем говорить и о секьюритизации памяти, и в целом о мнемонической безопасности как о самостоятельном феномене [Ефременко, 2022].

Задача качественного описания феномена рутины в теории онтологической безопасности в контексте международных отношений пока не была решена. В рамках настоящей статьи мы будем исходить из нашей интерпретации рутины по Э. Гидденсу [Giddens, 1991, р. 39] как об определенном представлении (конвенции), выступающем в том числе и ответом на некоторый экзистенциальный вопрос (о времени, пространстве, непрерывности во времени и идентичности), важный для обеспечения безопасного ощущения коллективным субъектом себя-в-мире. Подобное представление может относиться как к Себе, так и к окружающей социальной реальности. Оно формируется как за счет рутинизации отношений со значимыми Другими, так и посредством собственных дискурсивных практик, касающихся образа Себя (в т.ч. национальной биографии).

Исходя из этого, рутинизацию можно понимать как воспроизведение некоторого представления или «конвенции», ответа на базовый экзистенциальный вопрос. Процесс рутинизации как акт «установления» рутинной практики может проходить между акторами или вестись макрополитическим сообществом в отношении самого себя. Последнее затрагивает собственные представления сообщества о своей «биографии». В рамках настоящей статьи мы намерены выявить практики рутинизации, связанные с вызовами устойчивости биографического нарратива.

Тема коллективной жертвы в сербской политике: обзор литературы

В силу того что мы намерены рассмотреть репрезентацию Нас в качестве жертвы как практику, подлежащую рутинизации, мы должны обсудить релевантность этой оценки *per se* и ее применимость к случаю Сербии.

В исследованиях, сфокусированных на коллективной идентичности, отмечается разграничение между понятиями *victimization* (виктимизация) и *victimhood*, что можно перевести как «обладание статусом жертвы». Как отмечает Тэми Джекоби, между виктимизацией, понимаемой как фиксация факта «вреда» (*harm*), нанесенного индивиду или группе, и репрезентацией Себя в качестве жертвы, соотносимой с моделью коллективной идентичности, основанной на подчеркивании статуса жертвы, т.е. виктимной идентичностью (*victimhood identity*), должно пройти несколько этапов, начиная с низовой мобилизации (эффективность которой, по Т. Джекоби, напрямую зависит от типа политической системы) и заканчивая политической мобилизацией и политическим признанием [Jacoby, 2015].

Почему репрезентация Нас как жертвы становится объектом политики? В силу того что фигура жертвы предполагает наличие преступления (т.е. определенного события, представляющего травматический опыт) и фигуры, его совершившего (в английском языке существует понятие *perpetrator*, условно сводимое к русскому слову «преступник» / «палач»), есть две исходные позиции для виктимизации. Если группа когда-то выступала в роли жертвы, в этом случае работают механизмы виктимной идентичности; если группа выступала в роли *perpetrator*'а, активируются механизмы «соперничества за статус жертвы» (*competitive victimhood*), предна-

значенные для смягчения представлений о преступлениях и конструирования образа жертвы уже для тех, кто сам совершал эти преступления [Bilewicz, Stefaniak, 2013; Wohl, Branscombe, Klar, 2006]. В обоих случаях присвоение статуса жертвы работает на преодоление коллективной травмы и, основываясь на магистральной оптике этого исследования, это может быть интерпретировано как поиск онтологической безопасности.

Наши исходные представления о существовании в сербской политике артикулируемого представления о коллективной жертве, рутинизацию которого мы намереваемся проследить в рамках исследования, основываются в основном на «западной» оптике. Конечно, существуют и сербо- [Šijaković, 2015; Koprivica, 2008; Pavlović, 2015; Đureinović, 2021], и русскоязычные [Ефременко, 2021; Тимофеев, 2020; Мелешкина, Помигуев, 2019] исследования, посвященные проблемам сербской политики идентичности и политики памяти, но использование образа жертвы в них не проблематизировано.

Адам Лернер, теоретизируя понятие «виктимный национализм» (*victimhood nationalism*), приходит к двум заключениям: 1) такой национализм конструируется посредством рассказов о предполагаемых или реальных коллективных травмах; 2) такой национализм преодолевает дихотомию «жертва – преступник» и проецирует «претензии» (*grievances*) на акторов, не включенных ранее в эту бинарность [Lerner, 2020]. Эмпирическим подтверждением этих выводов, по мысли А. Лернера, должен был стать компаративный анализ политики С. Милошевича и Д. Бен-Гуриона (в силу фокуса нашего исследования мы остановимся только на сербском случае). Автор утверждает, что С. Милошевич объединил отдельные коллективные травмы сербов в единый виктимный национализм, спроецировав *grievances* в отношении исторических обидчиков на соседние на тот момент нации: хорватов, боснийских мусульман и албанцев. Конечно, оптика виктимного национализма может быть полезной в оценке действий этнических предпринимателей, апеллирующих к коллективным травмам сообщества, однако опора на несколько предвзятые исторические оценки (по крайней мере, касающаяся случая С. Милошевича) говорит об ограниченном эвристическом потенциале этого концепта.

Дубравка Стоянович на материалах сербских школьных учебников истории исследует изменения в исторических нарративах Сербии [Stojanović, 2011]. Релевантность оценок исследовательница обосновывает тем, что школьные учебники в Сербии

утверждаются государственными органами и, следовательно, они не могут не отражать текущую идеологическую позицию. В фокусе исследования находятся учебники, выпущенные при и после С. Милошевича. Д. Стоянович утверждает, что «смена идеологических и идентитарных матриц в эпоху Милошевича имела целью поместить сербскую историю в националистическую мифологическую рамку, необходимую для оправдания войн в бывшей Югославии в начале 1990-х гг.» [Stojanović, 2011, p. 224] (это несколько корреспондирует с позицией А. Лернера, приведенной выше). Новое национальное и историческое сознание, согласно характеристике автора, было основано в том числе на подчеркивании виктимности. При этом Д. Стоянович замечает, что состояние, в котором оказалась Сербия в 1990-х, в учебниках интерпретировалось не как следствие чьих-либо решений, а как судьба или злой рок (для подтверждения приводятся цитаты: «далее началась война» или «мы пострадали от бомбардировок»). «Народ» описывался как историческая «жертва всех своих соседей», для подчеркивания образа использовались метафоры «мученика» и «Голгофы». Чертами представления о Нас как о жертве, следовательно, можно назвать генерализацию субъекта («народ»), апелляции к «судьбе» и «злому року» – т.е. «уход» от ответственности, – а также постулирование «предательства» [Stojanović, 2011, p. 226–229, 235] (эту посылку мы признаем в целом логичной). Устойчивость представления о коллективной жертве доказывалась Д. Стоянович тем, что после свержения С. Милошевича сербские идеологи стали избавляться от коммунистического, но не от виктимного наследия (что также отразилось в учебниках на примере конструирования нового взгляда на Вторую мировую войну, провозглашавшего четников жертвами и разоблачавшего действия партизан).

Сабрина Рамет, исследуя феномен мифа основания, дифференцирует его подвид, который она называет «мифом мученичества» (*myth of martyrdom*) [Ramet, 2011]. Исследование построено на сравнении четырех мифов основания: о короле Иштване (Венгрия), короле Артуре (Англия), короле Олафе (Норвегия) и князе Лазаре (Сербия). Два последних исследовательница относит к искомому «мифу мученичества», основываясь на том, что главные герои мифов приняли мученическую смерть и тем самым стали основателями своих наций. Принципиальная разница между Лазарем и Олафом, по мнению С. Рамет, состоит в том, что первый является символом национальной трагедии, а второй вспоминается «с благоговением» как правитель, завершивший процесс христианизации

страны (непонятно при этом, почему с таким же благоговением нельзя относиться к Лазарю). Более убедительным, на наш взгляд, выглядит аргумент о выборе национального героя для Сербии: в пользу существования «мифа мученичества» для сербов говорит выбор в качестве фигуры основателя именно князя Лазаря, а не царя Душана, святителя Саввы или князя Стефана Немани, которые тоже внесли большой вклад в историю, но мучениками не были.

Итак, настойчивую интерпретацию Нас в качестве коллективной жертвы можно считать рутинизацией, поскольку присвоение статуса жертвы соответствует цели поиска онтологической безопасности макрополитическим сообществом. Существует понятие «виктимная идентичность», которое можно соотнести с репрезентацией Нас как жертвы в качестве «установившейся рутины». Три разных подхода к оценке представлений о коллективной жертве в сербской политике и сербском символическом поле («виктимный национализм», акцентуация статуса жертвы как сквозной акцент школьных учебников истории и «миф мученичества») косвенно могут подтвердить релевантность образа жертвы для сербского случая.

«Балканский Освенцим»: рутинизация представления о коллективной жертве в повествовании о Второй мировой войне

Можно сказать, что в повествовании о Второй мировой войне (ВМВ) в современном сербском обществе конкурируют две интерпретации: «партизанская» (сформированная в социалистической Югославии) и «четническая» (условно сводимая к усилению внимания к четникам за счет отказа от «партизанской» версии истории ВМВ в Югославии) [Тимофеев, 2020]. В этом контексте представление о сербах как о коллективной жертве, возникшее еще в социалистической Югославии в связи с формированием «официального» рассказа о преступлениях нацистов и их пособников (в частности, в концентрационном лагере Ясеновац [Ođak, Benčić, 2016]), является практически единственной не оспариваемой по существу версией изложения событий ВМВ (по крайней мере, у представления о сербах как о жертве нет дихотомической пары, какую, например, составляют партизаны и четники). Следовательно, рутинизация представления о коллективной жертве в оценках и рассказах о событиях ВМВ способствует вытеснению

коллективной тревожности, связанной с выбором между партизанами и четниками, и тем самым укрепляет состояние онтологической безопасности. В этом разделе будут рассмотрены практики репрезентации Нас в качестве жертвы в отношении ВМВ в современной Сербии.

Полноценная ревизия «партизанского» взгляда на Вторую мировую началась в Сербии после свержения С. Милошевича. В результате выбор альтернативы партизанам пал на четников (во главе с Дражей Михайловичем) – солдат Югославской армии на родине, которая была сформирована из остатков капитулировавшей в апреле 1941 г. Югославской королевской армии. Нельзя сказать, что усиление внимания к четникам (их официальная реабилитация¹ или открытие памятников или музеев в их честь²) и деконструкция «героического» представления о партизанах (вплоть до переименования улиц³ или изменения коммеморативных практик⁴) прямо соотносится с процессом рутинизации представления о коллективной жертве. Но в конструировании положительного образа четников можно обнаружить черты виктимизации. Например, в новых учебниках истории четники были представлены как «национальная» военная сила, которая была *предана* союзниками – британцами и американцами – когда стало понятно, что к победе близки партизаны. Факты коллаборационизма четников при этом умалчивались [Stojanović, 2011].

Более заметным сюжетом рутинизации представления о Нас как о жертве в Сербии стало усиление внимания к увековечиванию памяти мирных граждан, погибших в ВМВ. Сербский нарратив о

¹ Закон о правах борца, војних инвалида и чланова њихових породица // Правно-информациони систем РС. – Б. г. – Режим доступа: <https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/1989/54/3/reg/20180707> (дата посещения: 19.01.2025).

Закон о рехабилитацији (2006) // Викизворник. – Б. г. – Режим доступа: [https://sr.wikisource.org/wiki/Закон_о_рехабилитацији_\(2006\)](https://sr.wikisource.org/wiki/Закон_о_рехабилитацији_(2006)) (дата посещения: 19.01.2025).

² Draža Mihailović dobio spomenik i muzej u Beogradu // Политика. – Mode of access: <https://www.politika.rs/sr/clanak/578500/draza-mihailovic-dobio-spomenik-i-muzej-u-beogradu> (accessed: 19.01.2025).

³ Улицы, названные в честь российских военачальников, «сменили прописку» в Белграде // ТАСС. – 2013. – 5 июня. – Режим доступа: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/637481> (дата посещения: 19.01.2025).

⁴ Коштуница возложил венок к памятнику летчикам, погибшим в 1941 году // РИА Новости. – 2005. – 9 мая. – Режим доступа: <https://ria.ru/20050509/39958222.html> (дата посещения: 19.01.2025).

Ясеноваце – тема отдельного исследования, ей посвящено большое количество публикаций российских, сербских, хорватских и других западных авторов (особенно в контексте хорватского контрнарратива о Блайбурге) [Понамарева, 2020; Тимофеев, 2020; Odak, Benčić, 2016; Damjanovic, 2024; Byford, 2007]. В общих чертах авторы сходятся в политической инструментализации памяти о жертвах Ясеноваца, которая иногда сводится к сравнению лагеря с «балканским Освенцимом» и включению сербской стороной этого места памяти в повествование о Холокосте. Последнее, кстати, наглядно демонстрируется тем, что в Сербии День памяти жертв Холокоста, геноцида и других жертв Второй мировой войны отмечается 22 апреля¹ – в день годовщины побега заключенных лагеря Ясеновац в 1945 г. 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, в Сербии отмечается День св. Саввы, считающегося одним из главных сербских святых. При этом в Международный день памяти жертв Холокоста проводятся коммеморативные мероприятия в бывших концентрационных лагерях на территории Сербии, которые также используются для рутинизации представления о сербах как о коллективной жертве: например, в Старо-Саймиште² и Банице³ (оба – Белград).

Примечательна роль Сербской православной церкви в увековечении памяти жертв Ясеноваца. Так, девять новомучеников Ясеновацких были официально канонизированы в 2000 г.⁴ С 2010 г. официально память о новомучениках отмечается в сербской церкви 13 сентября; дата соотносится и с примерным временем начала

¹ Закон о државним и другим празницима у Републици Србији // Правно-информациони систем РС. – Б. г. – Режим доступа: <https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2001/43/1/reg> (дата посещения: 19.01.2025).

² Сутра се у Београду обележава Међународни дан сећања на жртве Холокауста // Политика. – 2024. – 27 января. – Режим доступа: <https://www.politika.rs/scc/clanak/596184/Сутра-се-у-Београду-обележава-Међународни-дан-сећања-на-жртве-Холокауста> (дата посещения: 13.02.2025).

³ Сећање на жртве Бањичког логора // Политика. – 2021. – 27 января. – Режим доступа: <https://www.politika.rs/scc/clanak/471673/Сећање-на-жртве-Бањичког-логора> (дата посещения: 13.02.2025).

⁴ Новопрославленые сербские мученики // Православие.ru. – Б. г. – Режим доступа: <https://www.pravoslavie.ru/put/sv/serbnovo.htm> (дата посещения: 19.01.2025).

работы лагеря, а также с освящением восстановленного храма Св. Иоанна в монастыре Ясеновац в 1984 г.¹

При этом представление о коллективной жертве рутинизируется не только за счет возникновения новых коммеморативных практик или мнемонических акторов, но и за счет расширения коммеморируемых сюжетов. Так, официальный календарь Сербии пополняется новыми датами, связанными с жертвами Второй мировой: 21 октября, в годовщину резни в Крагуеваце – хронологически первого военного преступления, совершенного нацистами против сербов, с 2012 г. на государственном уровне отмечается День памяти сербских жертв во Второй мировой войне². Ежегодно в этот день проходят памятные мероприятия в самом Крагуеваце, называемые «Большой школьный урок» (серб. «*Велики школски час*»)³ – в память об учениках и преподавателях, погибших среди прочих от рук нацистов 21 октября 1941 г.

Об «установившемся» характере рутинного представления о Нас как о жертве говорит и наличие «низовых» коммеморативных инициатив. Так, например, звучат предложения по установлению новых памятных дат – например, 28 апреля, в годовщину первого эпизода геноцида сербов в усташеском Независимом государстве Хорватия (НГХ), памятную дату планируется назвать «Днем геноцида против сербов»⁴. 11 сентября ежегодно проводятся коммеморативные мероприятия в Шипове (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), посвященные памяти сербских жертв усташеского террора в НГХ⁵.

Итак, представление о сербах как о коллективной жертве в рамках повествования о Второй мировой войне можно считать

¹ Jasenovačke žrtve u crkvenom kalendaru // Политика. – 2010. – September 12. – Mode of access: <https://www.politika.rs/sr/clanak/149130/Jasenovacke-zrtve-u-crkvenom-kalendaru> (accessed: 13.02.2025).

² Србија obeležava Dan sećanja na srpske žrtve // Политика. – 2012. – 21 октября. – Режим доступа: <https://www.politika.rs/scc/clanak/237283/Srbija-obelezava-Dan-secanja-na-srpske-zrtve> (дата посещения: 19.01.2025).

³ Велики школски час – сећање на крагујевачке жртве // Политика. – 2023. – 23 октября. – Режим доступа: <https://www.politika.rs/scc/clanak/579270/Велики-школски-час-сећање-на-крагујевачке-жртве> (дата посещения: 13.02.2025).

⁴ Да 28. април буде проглашен даном геноцида над Србима // Политика. – 2023. – 29 апреля. – Режим доступа: <https://www.politika.rs/scc/clanak/550271/Да-28-април-буде-проглашен-даном-геноцида-над-Србима> (дата посещения: 19.01.2025).

⁵ Помен за Србе убијене у Шипову у време НДХ // Политика. – 2023. – 11 сентября. – Режим доступа: <https://www.politika.rs/scc/clanak/570981/Помен-за-Србе-убијене-у-Шипову-у-време-НДХ> (дата посещения: 13.02.2025).

«установившийся рутиной». Это представление закрепляется на общенациональном уровне посредством продвижения рассказа о жертвах Ясеноваца, введения новых памятных дат и проведения коммеморативных мероприятий. Фокус представления о Нас как о жертве расширяется: помимо Ясеноваца вспоминаются жертвы среди мирного населения, погибшие в иных концентрационных лагерях или при иных обстоятельствах (как, например, в резне в Крагуеваце или в лагерях Старо-Саймиште и Банице).

«Новая “Буря”»: представление о сербах как о коллективной жертве и Югославские войны

В отношении событий Югославских войн в сербском обществе работают механизмы «соперничества за статус жертвы», которые можно интерпретировать как поиск онтологической безопасности. Признание статуса «преступника» в отношении событий Югославских войн, навязываемое в том числе Европейским союзом как одно из условий продолжения интеграции [Растегаев, 2023], означало бы для сербского общества наступление критической ситуации, что замещается посредством рутинных повествований об эпизодах, где жертвами были сербы.

Наиболее очевидный пример источника онтологической небезопасности, связанного с размыванием представлений о Нас как о жертве в сербском обществе, – споры вокруг наименования резни в Сребренице – эпизода войны в Боснии июля 1995 г., который боснийские мусульмане, а также большинство стран ЕС и США считают геноцидом. Оставляя за скобками описание обстоятельств этой трагедии, ее освещения в СМИ и сформированного в связи с этим общественного мнения, а также интересов ЕС по конструированию Сребреницы как «императива памяти» [Mehler, 2017; Mencej, 2021; Растегаев, 2023], остановимся на мерах Сербии по противодействию закреплению за резней в Сребренице определения «геноцид».

Было предпринято две попытки зафиксировать определение «геноцид» по отношению к событиям в Сребренице специальным документом ООН. В 2015 г. Россия воспользовалась правом вето при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН, содержащей такое определение. В 2024 г. схожая резолюция была принята уже Генеральной Ассамблеей – до этого Сербией была запущена информационная кампания за непринятие такой резолюции,

кульминацией которой стало личное участие президента А. Вучича на заседании Генеральной Ассамблеи ООН с выступлением против принятия резолюции. Одобрение документа 84 голосами за (при 109 не «за») позволило А. Вучичу назвать произошедшее победой и заявить, что у мирового сообщества не получилось «заклеймить сербский народ»¹. После этого во многих городах Сербии и Республики Сербской (энтитета в составе конфедеративной Боснии и Герцеговины) появились сербские триколоры и плакаты с лозунгами: «Мы не геноцидный народ». Соперничество за статус жертвы в рамках рассказа о Сребренице можно подтвердить не только оспариванием истинности его «западного» варианта [Растегаев, 2023], но и прямым замещением рассказа о событиях 1995 г. повествованиями о страданиях сербов в Сребренице от усташей в Независимом государстве Хорватия в 1943 г.² или от боснийских мусульман в 1992 г.³

Повествование о других эпизодах, рутинно представляемых в логике коллективной жертвы, также работает в интересах «соперничества за статус жертвы». Таким эпизодом Югославских войн можно назвать операции хорватских ВС «Молния» и «Буря» 1995 г., приведших к военному поражению Республики Сербская Краина – непризнанного государства хорватских сербов. И если хорватской стороной эти события принято трактовать как победу в Отечественной войне, то в Сербии они интерпретируются как этническая чистка или геноцид [Subotić, 2015]. Официальные коммеморационные мероприятия проводятся в Сербии с 2014 г.; на последнем (на момент написания статьи), прошедшем в Лознице 3 августа 2024 г., с приветственным словом выступили президент Сербии А. Вучич и президент Республики Сербской Милорад Додик⁴. Наименование операции «Буря» (серб. «Олуја») может вы-

¹ Vučić: Hteli su da proglaše srpski narod krivim, nije im uspelo // Политика. – 2024. – May 23. – Mode of access: <https://www.politika.rs/sr/clanak/616124/Vucic-Hteli-su-da-proglaše-srpski-narod-krivim-nije-im-uspelo> (accessed: 19.01.2025).

² Сребреница: Служен парастос српским жртвама усташких злочина // РСТС. – 2022. – 13 июня. – Режим доступа: <https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=476745> (дата посещения: 13.02.2025).

³ U Bratuncu obeležena 29. godišnjica stradanja Srba iz srednjeg Podrinja // Danas. – 2021. – July 10. – Mode of access: <https://www.danas.rs/vesti/drustvo/u-bratuncu-obeležena-29-godisnjica-stradanja-srba-iz-srednjeg-podrinja/> (accessed: 13.02.2025).

⁴ Обележавање Дана сећања на све страдале и прогнане у оружаном акцији “Олуја” // Председник Републике Србије. – 2024. – 3 августа. – Режим доступа:

ступать самостоятельным символом и фигурировать в речах политиков (в том числе и самого А. Вучича) как метафора отчаянного положения (так, например, на фоне очередного обострения в Косово в 2022 г. А. Вучич сказал, что «албанцы готовят новую “Бурю”»¹).

Еще одной критической ситуацией для сербского общества является угроза потери Косова. Для вытеснения коллективной тревожности используется главным образом стратегия «перманентного непризнания» независимости края, описанная Ф. Эйдусом [Ejdus, 2020, p. 130]. Представление о сербах как о жертве в контексте Косова также рутинизируется. В этом процессе можно выделить два уровня: первый соотносится с сербами, проживающими в Косове, которые становятся жертвами «албанского террора» (пример: в 2024 г. состоялась коммеморация 20-й годовщины сербского погрома в Косове, в мероприятии принял участие президент Сербии А. Вучич²), второй – со всей сербской нацией, интерпретируемой как жертва «сговора великих держав».

Представление о сербах как о коллективной жертве также рутинизируется через рассказ о бомбардировках НАТО 1999 г. против СР Югославии (и здесь «соперничество за статус жертвы» пересекается с угрозой утраты Косова). Официальное повествование об этом событии постепенно организовывается таким образом, что из него пропадает артикулированная фигура «преступника». Если сравнить содержание речи президента А. Вучича на последних коммеморативных мероприятиях, посвященных «Дню памяти погибших в результате агрессии НАТО» (2022³, 2023⁴,

<https://www.predsednik.rs/pres-centar/vesti/obelezavanje-dana-secanja-na-sve-stradale-i-prognane-u-oruzanoj-akciji-oluja> (дата посещения: 19.01.2025).

¹ Vučić o odluci Prištine: Cilj je da se Srbi proteraju, spremaju napad već 1. Oktobra // Kosovo Online. – 2022. – June 29. – Mode of access: <https://www.kosovo-online.com/vesti/politika/vucic-o-odluci-pristine-cilj-je-da-se-srbi-proteraju-spremaju-napad-vec-1-oktobra-29> (accessed: 19.01.2025).

² Председник Вучић: Двадесет година без правде за жртве и казне за злочинце // Политика. – 2024. – 17 марта. – Режим доступа: <https://www.politika.rs/scc/clanak/604620/Председник-Вучић-Двадесет-година-без-правде-за-жртве-и-казне-за-злочинце> (дата посещения: 13.02.2025).

³ Обележавање Дана сећања на страдале у НАТО агресији // Председник Републике Србије. – 2022. – 24 марта. – Режим доступа: <https://www.predsednik.rs/pres-centar/vesti/obelezavanje-dana-secanja-na-stradale-u-nato-agresiji-30912> (дата посещения: 19.01.2025).

⁴ Обележавање Дана сећања на страдале у НАТО агресији 1999. године // Председник Републике Србије. – 2023. – 24 марта. – Режим доступа:

2024¹), то с каждым годом риторика становится менее бескомпромиссной. Если в 2022 г. А. Вучич говорил о том, что у НАТО «нет ни ценностей, ни морали», а в 2023 г. «оправдание бомбардировок гуманитарной катастрофой» было названо ложью (хотя в той же речи президент Сербии говорил о том, что сербы «обязаны простить» бомбардировки), то в 2024 г. А. Вучич говорит о персональных жертвах, в роли «преступника» фигурировали в основном местоимения «они» и «вы», а НАТО упоминалось в официальной новости только четырежды (с этого ракурса очевидна рутинизация представления о Нас как о жертве, выражаемая размытием фигуры преступника и апелляцией к «судьбе» и «злому року»). С другой стороны, подчеркивание ответственности НАТО за бомбардировки стало частью политического курса левых сербских политиков: в частности, Ивицы Дачича, в разное время занимавшего посты премьер-министра, министра иностранных дел Сербии, и Даницы Груйичич, министра здравоохранения Сербии (2022–2024).

Итак, рутинизацию представления о сербах как о коллективной жертве в повествовании о Югославских войнах можно интерпретировать как поиск онтологической безопасности для сербского макрополитического сообщества. Это связано с необходимостью преодоления критических ситуаций, соотносимых с закреплением статуса «преступника» за сербским обществом и с угрозой потери Косова. Рутинизация представления о сербах как о жертве в первом случае служит мерой «соперничества за статус жертвы», во втором – дополнением к стратегии «перманентного непризнания» Косова.

Рутинизация представлений о коллективной жертве как способ поиска онтологической безопасности: выводы

В настоящей статье был произведен краткий теоретический обзор концепта онтологической безопасности. Рутинизация понимается как воспроизведение некоторой координирующей конвенции (представления), служащей в том числе ответом на базовый

<https://www.predsednik.rs/pres-centar/vesti/obelezavanje-dana-secanja-na-stradale-u-nato-agresiji-1999-godine> (дата посещения: 19.01.2025).

¹ Обележавање Дана сећања на страдање у НАТО агресији 1999. године // Председник Републике Србије. – 2024. – 24 марта. – Режим доступа: <https://www.predsednik.rs/pres-centar/vesti/obelezavanje-dana-secanja-na-stradale-u-nato-agresiji-1999-godine-32547> (дата посещения: 19.01.2025).

экзистенциальный вопрос. Рутинизированные практики считаются «установившимися рутинами». Было установлено, что существует два вида рутинизации: «между» сообществами и «внутри» сообщества (т.е. рутинизация по отношению к Себе). К последнему виду мы отнесли рутинизацию элементов национальной биографии, частный случай которого – рутинизация представления о Нас как о жертве.

В сербском макрополитическом сообществе образ жертвы является «установившейся рутиной», используемой для укрепления онтологической безопасности. Рутинизация представления о Нас как о жертве в сербском случае выражается в установлении памятных дат, связанных с травматическими эпизодами биографии (а также в поиске и виктимизации новых эпизодов), проведении коммеморативных мероприятий, переименованиях улиц – мерах, соответствующих проведению политики памяти государством и иными мнемоническими акторами.

Представление о сербах как о коллективной жертве является консенсусным способом повествования о событиях Второй мировой войны и, следовательно, его рутинизация способствует укреплению онтологической безопасности. Представление о Нас как о жертве в рассказе о Второй мировой войне соотносится в основном с концентрационным лагерем Ясеновац, однако появляются и иные коммеморируемые сюжеты (резня в Крагуеваце, концентрационные лагеря в Старо-Саймиште и Баньице).

В рамках повествования о Югославских войнах в Сербии работают механизмы «соперничества за статус жертвы», когда рутинизируемое представление о Нас как о жертве вытесняет нежелательный для сербского сообщества образ «преступника». Подобная практика характерна для оспаривания наименования «геноцид» в отношении резни в Сребренице. Представление о Нас как о жертве укрепляется за счет рутинных повествований о других травматических эпизодах: операциях «Молния» и «Буря», бомбардировках НАТО или сербского погрома в Косово 2004 г.

D.O. Rastegaev*

**Routinisation of the victimhood as a mechanism
of ontological security seeking: the case of Serbia**

Abstract. The ontological security of a macro-political community is understood as the community's secure sense of being-in-the-world, expressed in a predictable social

* Rastegaev Daniil, INION (Moscow, Russia), e-mail: rastegaev.2000@mail.ru

environment and in the stability of the representation of the Self in the past, present, and future. The mechanism of routinization is usually postulated by theorists as the repetition of certain social actions designed to bracket out the sense of collective anxiety and thereby become ontologically secure. The present article represents one of the first attempts to conceptualize the notions of “routinization” and “routine” in the theory of ontological security in international relations. The author demonstrates that routine is a kind of convention “established” through routinization. To unveil the practice of routinization, the author has chosen the victimhood as a routine for the Serbian macro-political community. The relevance of the category is substantiated by the existence and results of studies focusing on the victimhood in Serbian politics. The routinization of victimhood was examined on two cases: narratives on the World War II and the Yugoslav wars in contemporary Serbia. Victim representations of WWII are explicitly routinized through increased attention to civilian casualties (“Jasenovac Martyrs” or victims of Nazi terror). Victimhood in the Yugoslav wars is manifested both through the commemorations of traumatic episodes of national biography (Operation “Storm”, NATO bombings) and through the contestation of the fact of involvement in mass crimes (“genocide in Srebrenica”) that can “blur” the routinization of victimhood. Victimhood in WWII narrative is a consensus representation against the background of the existence of competing historical narratives. In relation to the Yugoslav Wars, the routinization of victimhood constitutes the main way in which the mechanism of “competition for victim status” is implemented. Hence, the routinization of victimhood contributes to ontological security seeking.

Keywords: ontological security; routine; routinization; victimhood; S. Milošević; Chetniks; Jasenovac; Srebrenica.

For citation: Rastegaev D.O. Routinization of the victimhood as a mechanism of ontological security seeking: the case of Serbia. *Political science (RU)*. 2025, N 2, P. 182–203. DOI: <https://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.08>

References

- Berenskoetter F. Parameters of a national biography. *European journal of international relations*. 2014, Vol. 20, N 1, P. 262–288. DOI: <https://doi.org/10.1177/2F1354066112445290>
- Bilewicz M., Stefaniak A. Can a victim be responsible? Antisemitic consequences of victimhood-based identity and competitive victimhood in Poland. In: Bokus B. (ed.) *Responsibility: An interdisciplinary perspective*. Piaseczno: Studio Lexem, 2013, P. 69–77.
- Browning C.S. Brexit, existential anxiety and ontological (in) security. In: Catarina Kinnvall C., Manners I., Mitzen J. (eds). *Ontological insecurity in the European Union*. Routledge, 2020, P. 88–107.
- Byford J. When I say “The Holocaust,” I mean “Jasenovac” remembrance of the Holocaust in contemporary Serbia. *East European Jewish Affairs*. 2007, Vol. 37, N 1, P. 51–74.
- Damjanovic R. Serbian victimhood and historical injustice: Understanding heritage sites and narratives in the former Yugoslavia. In: Lixinski L., Zhu Y. (eds). *Heritage, conflict, and peace-building*. London: Routledge, 2024, P. 62–80.

- Đureinović J. *Politika sećanja na ratove devedesetih u Srbiji: istorijski revizionizam i izazovi memorijalizacije*. Beograd: Fond za humanitarno parvo, 2021, 44 p. (In Serb.)
- Efremenko D.V. Memory as Casus Belli. *Russia in global affairs*. 2022, Vol. 20, N 6 (118), P. 119–141. (In Russ.)
- Efremenko D.V. Skeletons in a Slavic Closet. Controversies of historical memory and nation-building in Serbia and Croatia after the collapse of the SFRY. *Polis. Political studies*. 2021, N 5, P. 127–145. DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.05.09> (In Russ.)
- Ejdus F. *Crisis and ontological insecurity. Serbia's anxiety over Kosovo's secession*. Cham: Palgrave Macmillan, 2020, 202 p.
- Giddens A. *Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age*. Stanford: Stanford university press, 1991, 256 p.
- Jacoby T.A. A theory of victimhood: Politics, conflict and the construction of victim-based identity. *Millennium*. 2015, Vol. 43, N 2, P. 511–530.
- Kinnvall C. Globalization and religious nationalism: Self, identity, and the search for ontological security. *Political psychology*. 2004, Vol. 25, N 5, P. 741–767.
- Kinnvall C., Mitzen J. Anxiety, fear, and ontological security in world politics: Thinking with and beyond Giddens. *International theory*. 2020, Vol. 12, N 2, P. 240–256.
- Koprivica Č.D. Kako promišljati srpsku krizu? *Социолошки преглед*. 2008, Vol. 42, N 2, P. 129–146. (In Serb.)
- Lerner A.B. The uses and abuses of victimhood nationalism in international politics. *European journal of international relations*. 2020, Vol. 26, N 1, P. 62–87.
- Mälksoo M. «Memory must be defended»: Beyond the politics of mnemonical security. *Security dialogue*. 2015, Vol. 46, N 3, P. 221–237. DOI: <https://doi.org/10.1177/0967010614552549>
- Mehler D. The last ‘never again’? Srebrenica and the making of a memory imperative. *European review of history: Revue européenne d'histoire*. 2017, Vol. 24, N 4, P. 606–630.
- Meleshkina E. Yu., Pomiguyev I.A. The ideas of nationalism and yugoslavism in Serbian political discourse. *Rusin*. 2019, Vol. 58, P. 306–321. (In Russ.)
- Mencej M. The dead, the war, and ethnic identity: ghost narratives in post-war Srebrenica. *Folklore*. 2021, Vol. 132, N 4, P. 412–433.
- Mitzen J. Ontological security in world politics: State identity and the security dilemma. *European journal of international relations*. 2006, Vol. 12, N 3, P. 341–370.
- Odak S., Benčić A. Jasenovac – A past that does not pass: The presence of Jasenovac in Croatian and Serbian collective memory of conflict. *East European politics and societies*. 2016, Vol. 30, N 4, P. 805–829.
- Pavlović Z. Идеологија и политика: значај разлика у нивоу образовања за политичке поделе у Србији и Црној Гори. *Српска политичка мисао*. 2015, Special Issue, P. 125–152. (In Serb.)
- Ponamareva A.M. An inconvenient past of World War II in the historical policy of the Republic of Croatia. *Lomonosov world politics journal*. 2020, Vol. 11, N 4, P. 39–67. (In Russ.)
- Ramet S. Dead kings and national myths: Why myths of founding and martyrdom are important. In: Listhaug O., Ramet S., Dulić D. (eds). *Civic and uncivic values: Serbia in the Post-Milošević Era*. Budapest: Central European university press, 2011, P. 267–298.

- Rastegaev D.O. «Anti-memory space»: Srebrenica narrative in the structure of ontological security of the Republika Srpska. *Political science (RU)*. 2023, N 2, P. 315–337. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2023.02.14> (In Russ.)
- Šijaković B. Велики рат, Видовданска етика, памћење-о историји идеја и Спомену Жртве. *Politeia – Naučni časopis Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci za društvena pitanja*. 2015, Vol. 5, N 9, P. 9–57. (In Serb.)
- Steele B. *Ontological security in international relations: Self-identity and the IR state*. New York: Routledge, 2008, 244 p.
- Stojanović D. Value changes in the interpretations of history in Serbia. In: Listhaug O., Ramet S., Dulić D. (eds). *Civic and uncivic values: Serbia in the Post-Milošević Era*. Budapest: Central European university press, 2011, P. 221–240.
- Subotić J. Genocide narratives as narratives-in-dialogue. *Journal of regional security*. 2015, Vol. 10, N 2, P. 177–198.
- Timofeev A.Yu. Metamorphoses of memory of the Russian-Serbian Brotherhood of War in Modern Serbia. *MGIMO Review of international relations*. 2020, N 13 (4), P. 142–156. DOI: <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2020-4-73-142-156> (In Russ.)
- Wohl M.J.A., Branscombe N.R., Klar Y. Collective guilt: Emotional reactions when one's group has done wrong or been wronged. *European review of social psychology*. 2006, Vol. 17, N 1, P. 1–37.
- Zarakol A. Ontological (In)security and state denial of historical crimes: Turkey and Japan. *International relations*. 2010, Vol. 24, N 1, P. 3–23. DOI: <https://doi.org/10.1177/0047117809359040>

Литература на русском языке

- Ефременко Д.В. «Скелеты в славянском шкафу». Контroversы исторической памяти и нациестроительство в Сербии и Хорватии после распада СФРЮ // Полис. Политические исследования. – 2021. – № 5. – С. 127–145.
- Ефременко Д.В. Память как *casus belli* // Россия в глобальной политике. – 2022. – Т. 20, № 6 (118). – С. 119–141.
- Мележикова Е.Ю., Помигуев И.А. Идеи национализма и югославизма в политическом дискурсе Сербии // Русин. – 2019. – Т. 58. – С. 306–321.
- Понамарева А.М. «Неудобное прошлое» Второй мировой войны в исторической политике Республики Хорватия // Вестник Московского Университета. Серия XXV. Международные отношения и мировая политика. – 2020. – Т. 11, № 4. – С. 39–67.
- Растегаев Д.О. Место антипамяти: нарратив о Сребренице в структуре онтологической безопасности Республики Сербской // Политическая наука. – 2023. – № 2. – С. 315–337. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2023.02.14>
- Тимофеев А.Ю. Метаморфозы памяти о боевом братстве русских и сербов в годы Второй мировой войны в современной Сербии // Вестник МГИМО Университета. – 2020. – № 4 (73). – С. 142–156.

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ

В.С. МУРОНЕЦ*

ВПЕРЕД К ИСТОКАМ: ОБЗОР ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Аннотация. Политические предубеждения больших языковых моделей нередко становились предметом научного рассмотрения. Большинство исследователей, однако, скорее конкурирует в изобретении оригинальных способов выявлять предубеждения, нежели стремится ставить новые вопросы, с ними связанные, кроме: «Предубеждена ли эта модель политически?» и «Каков характер этого предубеждения?». Для оценки возможного влияния моделей на политическую реальность и получения ответов на некоторые вопросы регулирования необходимо также обладать способами изучения связи между предубежденностью и ее причиной. По качеству ответа на вопрос о выявлении зависимости между открытой предубежденностью и ее возможным источником я разделил подходы на три кластера: подходы, задействующие анкеты по определению политической позиции, исследования, посвященные способу составления промптов и откликов модели и их взаимосвязи, а также междисциплинарные исследования, в которых проводятся манипуляции с возможными источниками политических предубеждений больших языковых моделей. Последнее исследовательское направление кажется наиболее перспективным, несмотря на свою непопулярность на данный момент. Тем не менее продвижение в нем невозможно без тесного сотрудничества другими подходами, подпадающими под первые два кластера. К исследованиям проблемы предубеждений LLM должны привлекаться не только специалисты по компьютерным наукам, но и философы, политологи и другие специалисты в области социальных наук. Отдельного изучения также требуют политические предубеждения на стыке LLM и других технологий генеративного ИИ, в частности, технологий генерации изображений на основе промптов, составленных на

* **Муронец Всеволод Сергеевич**, стажер-исследователь, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), e-mail: vmuronets@hse.ru

естественном языке, рекомендательных алгоритмов и т.д. С точки зрения регулирования дальнейшее продвижение в области ослабления, искоренения и контроля политических предубеждений в алгоритмических инструментах потребует предоставления большего доступа исследователей к существующим и активно используемым технологиям. Кроме того, кажется необходимым создание специальных институтов, посвященных изучению ИИ на стыке компьютерных наук, этики, философии сознания, нейрокогнитивных и социальных наук.

Ключевые слова: Большие языковые модели; политические предубеждения; предвзятость алгоритмов; генеративный искусственный интеллект; этика искусственного интеллекта; ценности и политические взгляды.

Для цитирования: Муронец В.С. Вперед к истокам: обзор подходов к изучению политических предубеждений больших языковых моделей // Политическая наука. – 2025. – № 2. – С. 204–226. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.09>

Введение

Большие языковые модели (англ. Large Language models) – одна из разновидностей т.н. генеративного искусственного интеллекта, основная задача которой заключается в работе с текстами естественного языка, в том числе запросами, создаваемыми на естественном языке. Особую популярность в академической литературе данная технология приобрела с появлением чат-ботов на ее основе, благодаря которым аудитории моделей расширились от узкого круга специалистов по машинному обучению до пользователей без специального образования, а сами модели получили возможность влиять на повседневную жизнь людей.

Тема предубежденности (англ. bias) Больших языковых моделей (далее – LLM) поднималась в академической литературе неоднократно. Было доказано, что LLM не только оказываются предубежденными с точки зрения расовых [Omiye et al., 2023], гендерных [Kotek, Docum, Sun, 2023] и иных социально-демографических параметров [см., напр.: Nadeem, Bethke, Reddy, 2020], но также разделяют предубеждения политического характера [см., напр.: Motoki, Pinho Neto, Rodrigues, 2023; Rozado, 2023; Liu et al., 2021; Gover, 2023; Bang et al., 2024; Urman, Makhortykh, 2025]¹. Как демонстри-

¹ Разумеется, политические предубеждения могут быть связаны или даже совпадать по содержанию с социально-демографическими. В таком случае политические будут означать те социально-демографические предубеждения, которые при этом релевантны для современного политического дискурса. Стоит, впрочем, заметить, что предубеждения здесь используются в качестве перевода англоязыч-

руется в данной статье, исследовательская работа по теме политической предубежденности LLM реализуется в нескольких направлениях, которые фокусируются на разных вопросах. Совмещение подходов, разрабатываемых в отдельных направлениях, сможет взаимно обогатить последние. В данной статье предпринимается попытка систематизации подходов к изучению политической предубежденности LLM с целью обеспечения фундамента для интеграции наработок из различных направлений. Подобное сращение может позволить ставить новые вопросы и получать новые релевантные ответы, которые были бы невозможны при изолированной работе в русле отдельных направлений. В статье дается ответ на следующий вопрос: какие подходы к изучению политической предубежденности LLM в плане поиска их источников, распознавания их характера и способов устранения имеются в академической литературе, и каковы возможные траектории дальнейшего развития таких исследований?

Таким образом, цель статьи заключается в создании более систематизированной основы для дальнейших исследований политической предубежденности больших языковых моделей в отношении источников и типов предубежденностей LLM, способов их выявления, определения их характера и рекомендаций по ослаблению или устранению.

Статья состоит из пяти разделов. Вводная часть посвящена английскому термину «bias», особенностям обучения и предубеждений LLM, LLM в контексте символической политики и краткому обзору академической литературы по теме политических предубеждений LLM. Во втором разделе кратко описываются различия в понимании предубеждений со стороны авторов статей по рассматриваемой теме и три основных направления исследовательской работы с политическими предубеждениями LLM. В третьем разделе рассматриваются наиболее популярные подходы, в которых используются анкеты для установления политической позиции LLM. В четвертом разделе разбираются подходы, акцентирующие внимание на том, как строятся промпты и отклики моделей. В пятом разделе я рассматриваю наиболее перспективное, на мой взгляд, направление исследований данной проблематики – подходы, экспериментирующие с возможными источниками политических предубеждений LLM. Статья завершается заключением, где кратко обрисовываются перспективы развития данной области в будущем

ного термина «bias», и в этом смысле отличны от стереотипов. Подробнее это обсуждается в первом разделе данной статьи.

и предлагаются возможные меры, связанные, в том числе, с регулированием данной технологии, для продуктивного продвижения в данном направлении.

«Bias» и политические предубеждения больших языковых моделей

Основа технологии больших языковых моделей – наборы данных, на которых модели обучаются. Эпитет «большой» (*англ. large*) указывает на значительный (большой) размер базы обучающих данных. Языковые модели без подобного эпитета представляют собой аналогичную технологию, обученную на меньшем количестве данных. При любом наборе данных функцией языковых моделей остается выявление закономерностей в обучающих текстовых данных; выделенные закономерности позволяют моделям работать с текстами, которые не входили в обучающую базу, включая обработку пользовательских запросов, сформулированных в свободной форме, их интерпретацию для понимания ожидаемого результата, а также предсказание последовательности слов в генерируемом тексте, симулируя человеческое творчество.

Однако процесс выявления закономерностей также подразумевает обнаружение систематических предубеждений, присутствующих в обучающих текстах, которые впоследствии могут воспроизводиться языковой моделью. Увеличение количества обучающих данных не обязательно снижает предубежденность, так что предубежденными оказываются как малые, так и большие языковые модели. Обучающие материалы, однако, являются не единственным возможным источником предубеждений: среди таковых выделяются также механизмы фильтрации генерируемого контента, встроенные в модели их разработчиками, оценки ответов моделей со стороны команд тестировщиков, в соответствии с которыми модели корректируют свои будущие ответы, и специфика архитектуры самих моделей [Motoki, Pinho Neto, Rodrigues, 2023; Rozado, 2023].

Труднопереводимый англоязычный термин «bias», используемый авторами статей по тематике политических предубеждений LLM, означает уклон в определенную сторону; в случае политических предубеждений – уклон в сторону взглядов определенной группы или идеологии. «Bias» также предполагает неспособность или нежелание отойти от данного ракурса вне зависимости от

аргументированности альтернатив. Мой перевод термина как «предубежденность» и «предубеждения» в этом смысле весьма условен, хотя, к примеру, словарь Merriam-Webster связывает «bias» и «prejudice» (прямой перевод на английский термина «предубежденность» и «предубеждения»)¹, в силу чего его можно использовать в качестве рабочего варианта без существенных смысловых потерь.

Политическая предубежденность LLM заключается в «склонности» выражать мнения, свойственные некоторой группе или идеологии, вместо альтернативных мнений. Мнение, однако, зависит от предмета, о котором высказывается мнение, и от доступных средств для выражения этого мнения. К примеру, предложение выразить строгое согласие или строгое несогласие с некоторым утверждением подразумевает невозможность нейтральной позиции; необходимость согласиться, выразить равнодушие или не согласиться ограничивает ответчика двумя взаимоисключающими позициями и нейтралитетом, отказывая ему в возможности погрузиться в детали и выразить некоторую четвертую позицию. Характер выявляемого предубеждения, таким образом, зависит от постановки вопроса и простора для ответа. В отношении политических предубеждений LLM, эта особенность ответов моделей, как я покажу далее, оказывается особенно важной. В случае политических предубеждений людей уместным оказывается прямой вопрос о политических взглядах, которых человек придерживается; названная политическая позиция подразумевает определенный набор ответов на также определенные политически значимые вопросы. Большинство LLM, однако, отказываются отвечать на прямые вопросы, отчего выявление общего «уклона» модели осуществляется только индуктивно.

Смыслообразование является важнейшим фактором обретения и укрепления политического влияния. Посредством символической политики государства имеют возможность осуществлять не только манипулятивные практики над индивидами, но и задавать им картины мира, способы осмысления окружающей социальной реальности и социально конструировать реальность [Малинова, 2012, с. 10–11]. Борьба за доминирование способов интерпретации социальной реальности [ibid., с. 10] реализуется посредством весьма

¹ Merriam-Webster. Bias Definition & Meaning. Merriem-Webster Dictionary. Not dated. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/bias> (accessed: 13.10.2024.)

широкого набора средств, семантических (знаков, образов, нарративов, изображений) и институциональных (традиционных и новых СМИ) [Тульчинский, 2023, с. 156].

Технологии искусственного интеллекта (далее – ИИ), в особенности LLM, также можно считать средством смыслообразующего политического воздействия. Поскольку спектр использования технологий чрезвычайно широк (от развлечения и бытовых советов до поиска информации, в том числе политической, и непосредственного использования в работе), масштаб их влияния на индивидуальные картины мира также должен быть существенным. Хотя интернет нередко понимается как реализация идеи публичной сферы Ю. Хабермаса [Habermas, 2005; 2015], как площадка для свободного обмена мнениями и увеличения политического участия общественности [Papacharissi, 2012; Davis, 2009; Elmer, Langlois, McKelvey, 2012], политически предубежденные LLM, будучи встроены в поисковые и рекомендательные алгоритмы, а также в алгоритмы модерации, могут быть использованы для сокрытия от пользователей интернета любой информации, против которой модели предубеждены. Таким образом, интернет как эффективная платформа для распространения свободных мнений может быть лишен данной характеристики. Это делает контроль над LLM весьма желанным для политических акторов, параллельно предоставляя разработчикам моделей новую возможность для лоббирования собственных интересов.

Наиболее актуальной практической проблемой в области работы с политической предубежденностью LLM является, пожалуй, возможность ее смягчения и контролирования. Независимо от того, насколько целенаправленно в модели прививаются предубеждения, косвенно они становятся инструментами политической борьбы. Модели могут распространять привитые им политические предубеждения, влияя как на самих пользователей, так и на аудитории, с которыми пользователи делятся сгенерированным моделью контентом. Кроме того, имплементация моделей в рекомендательные системы и автоматизированные системы модерации контента может привести к предубежденным рекомендациям и блокировкам контента и пользовательских профилей. Без эффективного регулирования модели могут стать (или, возможно, уже становятся) новым инструментом обретения политического влияния для компаний-разработчиков: так, последние могут либо перенастраивать модели в соответствии с интересами своих партнеров из политической сферы (в качестве сервиса), либо использовать их

как инструмент распространения собственных взглядов и влияния на политику через контроль над потоками информации. В свою очередь, осуществление эффективного регулирования может включать возможность контроля моделей на предмет их политической предубежденности, установления источника выявленных предубеждений, создание унифицированного стандарта для создания и обучения моделей, а также ответа на вопрос о возможности политической нейтральности моделей в целом. Для выбора наиболее оптимальных мер из указанных и их конкретизации до уровня осуществимых эффективных мер требуется научный фундамент в виде разноформатных исследований политических предубеждений LLM.

Особенно значимой исследовательской проблемой на данный момент, на мой взгляд, является установление связи между наблюдаемым предубеждением и его возможными источниками. Исследовательская проблема сопряжена с практической: лишь изучив связь между предубежденностью и ее источником, возможно эффективно ослаблять и контролировать проявления предубеждений. Вне практических целей она, однако, также имеет ценность. Без понимания того, каким образом манипуляции с источниками предубеждений могут быть эффективно использованы в целях пропаганды тех или иных взглядов, и того, как выявлять осознанное вмешательство в предубежденность алгоритмов, невозможно полноценно оценить меру и качество влияния LLM на политическую реальность. Изучение влияния технологий ИИ на сферу политики представляет собой другое важное направление политологических исследований, которое не обсуждается в данной статье.

Большинство научных работ, посвященных указанным проблемам, сосредоточено на выявлении наличия и характера политической предубежденности LLM [Motoki, Pinho Neto, Rodrigues 2023; Gover, 2023; Bang et al., 2024; и др.]. Авторские подходы значительно разнятся:

а) по качеству вопросов, на которые отвечают LLM, – более открытые запросы на написание эссе по заданной теме [Bang et al., 2024] и более закрытые вопросы в согласии с некоторыми тестами на политические взгляды [Motoki, Pinho Neto, Rodrigues, 2023; Rozado, 2023];

б) по количеству альтернативных наборов вопросов – к примеру, пятнадцать различных тестов [Rozado, 2023] или всего один [Motoki, Pinho Neto, Rodrigues, 2023];

в) по количеству рассматриваемых LLM – всего одна модель [см., напр.: Motoki, Pinho Neto, Rodrigues, 2023; Rozado, 2023; Liu

et al., 2021], три модели [Urman, Makhortykh, 2025] или одиннадцать [Bang et al., 2024];

г) по языку, на работу на котором настроены модели, – английский (у подавляющего большинства работ) или, к примеру, английский, украинский и русский [Urman, Makhortykh, 2025] и т.д.

Все эти подходы заслуживают внимания и будут подробно рассмотрены ниже. Однако, несмотря на различия, большинство из них преследуют аналогичные цели: а именно, выявление политических позиций LLM и разделяемых ими мнений по определенным политически значимым вопросам. Выявление политической предубежденности у LLM и ее характера представляет собой важное направление исследований и может быть эффективно включено в изучение других связанных с темой проблем. Тем не менее сосредоточение исключительно на обнаружении предубеждений может завести дискуссию в тупик в силу ограничений, присущих изучению политических взглядов моделей и описанных ниже. LLM не могут быть вовлечены в политическую жизнь напрямую. Осведомленности об их «мнениях» самой по себе недостаточно для понимания того, какое влияние предубежденные модели могут оказывать на политику. Как инструменты порождения и распространения информации, политические предубежденные модели являются скорее средствами пропаганды определенных взглядов, нежели их носителями. Следовательно, более важным оказывается изучение того, в какой мере и в каких случаях предубежденность моделей была внедрена целенаправленно, каким образом и в какой степени подобное внедрение в целом возможно, и осуществимо ли полное искоренение предубежденности в политически нагруженных материалах как таковых.

Таким образом, более важным нам кажется изучение меры возможного вмешательства человека в предубежденность моделей, в попытках либо смягчить ее, либо контролировать и направлять. Подобные исследования требуют постановки более сложных вопросов, связанных с промпт-инжинирингом, источниками предубеждений, тонкой настройкой (англ. *fine-tuning*)¹ моделей с целью регулирования степени и качества этих предубеждений, взаимодействием LLM с другими существующими технологиями ИИ. Для поиска ответов на эти вопросы требуется большее методологическое единство, нежели то, что мы можем наблюдать в форми-

¹ Описание процедуры тонкой настройки можно найти в пятом разделе данной статьи.

рующемся поле исследований в данный момент. Многие статьи создаются независимо друг от друга, что зачастую приводит к дублированию исследований в одних случаях, а в других – к игнорированию выводов предыдущих работ без должного обоснования. Кроме того, недостатки, на избегание которых обращали внимание одни авторы, могут повторяться другими. В попытке привести область исследований к большему единству, я описываю в статье имеющиеся достижения в области изучения политических предубеждений LLM и то, как они могут быть использованы в дальнейшем, а также намечаю ближайшие пути, по которым работа в этом русле может быть эффективно направлена. В описании имеющихся достижений я стремлюсь указать читателям на основные достоинства разбираемых подходов, но также подчеркиваю и их недостатки.

Систематизация имеющихся наработок также обретает значимость в контексте российского академического изучения политических предубеждений LLM. На данный момент, фокус внимания российского академического сообщества сосредоточен на предубеждениях LLM, лишь косвенно связанных с политикой. Тем не менее российские LLM, вроде YandexGPT и GigaChat, также не лишены политических предубеждений¹. Кроме того, зарубежные модели имеют значительную популярность у российских пользователей, притом что их политические предубеждения могут иметь характер, противоречащий интересам Российского государства. Использование широкими кругами российских пользователей политически предубежденных моделей может оказывать влияние на политическую реальность, сопоставимое с любым другим форматом распространения политически предубежденной информации. Специфика российских академических исследований политических предубеждений LLM может заключаться в использовании уже имеющихся зарубежных наработок, дополнении их собственными, а также учетом специфических российских политических реалий. Подобная спецификация необходима для, во-первых, более осознанной работы с иностранными и российскими моделями, а во-вторых, для постановки новых вопросов, невозможных при рассмотрении моделей в ином политическом спектре, к примеру,

¹ Так, например, данные модели отказываются отвечать на вопросы, связанные со специальной военной операцией на Украине. Прямой отказ отвечать на некоторые вопросы также можно рассматривать как проявление предубежденности [Urman, Makhortykh, 2025].

нередко всплывающей в зарубежных исследованиях дихотомии демократы – республиканцы. Специфицированные таким образом исследования могут, помимо прочего, обогатить международную дискуссию о политических предубеждениях LLM постановкой оригинальных вопросов и получением оригинальных ответов. Для этого необходимо подробное рассмотрение специфики российских политических реалий. В данной статье фокус ограничивается рассмотрением наработок зарубежных коллег-ученых и обрисовкой возможных дальнейших траекторий исследований в целом, без привязки к национальной специфике.

Подходы к исследованию политической предубежденности больших языковых моделей

Существующие на данный момент исследования политических предубеждений LLM предлагают академическому сообществу различные подходы к изучению темы. Как видно из обзоров литературы, содержащихся в статьях, количество работ по теме остается довольно скудным, что, впрочем, неудивительно, учитывая ее новизну. Тем не менее существующие на данный момент подходы заслуживают внимания.

Почти все исследования проводятся с позиции стороннего наблюдателя, который создает запросы («промпты», от англ. “prompt”) некоторому чат-боту или ряду чат-ботов на основе LLM и изучает их ответы. Таким образом, основные различия между подходами заключаются в том, как конструируются промпты и / или как исследуются ответы, генерируемые моделями. Есть, однако, небольшое количество работ, в которых исследование проводится не с точки зрения стороннего наблюдателя. Я предлагаю разделить существующие подходы на три кластера:

1) подходы, в которых для создания промптов используются вопросы из анкет по политическим ориентациям, и LLM как бы самостоятельно заполняют анкету;

2) подходы, в рамках которых LLM просят составить развернутые ответы на политически нагруженные запросы, например, написать эссе по темам допустимости абортов или смертной казни. Для изучения подобных ответов используются методы анализа, применяемые в исследованиях развернутых текстов, вроде анализа тональности, выявления ложной информации, и т.д.;

3) и наиболее перспективные, но в то же время малопопулярные подходы, в которых производится манипуляция с возможными источниками политических предубеждений.

Только третий кластер лишен указанного недостатка стороннего наблюдателя. Разделение на кластеры я осуществлял на основе того, насколько глубоко анализируется зависимость между выявленной предвзятостью и ее потенциальным источником. Подходы первого кластера, как будет понятно далее, вовсе не принимают во внимание возможные источники, сосредоточиваясь на выявлении предубежденности и предоставляя читателю возможность самому делать выводы о ее возможной причине. Подходы второго кластера пытаются установить зависимость проявлений предубежденности от способа составления промптов. Третий кластер рассматривает аналогичную зависимость более фундаментально, прослеживая связь между возможным источником предубежденности и ее реальным проявлением. В целом разные направления исследований позволяют ставить различные вопросы, связанные с политическими предубеждениями LLM, и давать на них различные ответы. Однако все эти подходы могут дополнять и обогащать друг друга.

Политическая ориентация моделей по данным опросов и анкетирования

Наиболее распространенным подходом к изучению политических предубеждений LLM является установление наличия и характера предубежденности посредством использования анкет для выявления политической ориентации анкетизируемого [Motoki, Pinho Neto, Rodrigues, 2023; Rozado, 2023; Pit et al., 2024; Durmus et al., 2023]. В качестве анкетизируемого выступает при этом некоторая модель или группа моделей. Исследователи используют существующие опросники, посвященные определению политических взглядов людей, и применяют вопросы анкеты для создания промптов. Анкетный тип вопросов приводит к некоторой ограниченности ответов LLM: чаще всего от модели требуется выбрать один из предложенных вариантов ответа. Дальнейшая работа с ответами заключается в получении готовых результатов прохождения анкеты, либо в сравнении ответов модели с каким-либо образцом прохождения анкеты. Наиболее изысканные исследования данного кластера также учитывают случайность генерации ответов, так что процесс анкетирования модели повторяется несколько раз. Так,

Мотоки, Пино Нето и Родригес задают ChatGPT-3 (на данный момент устаревшей версии ChatGPT) вопросы из Political Compass 100 раз (в результате было получено 6200 ответов на 62 вопроса анкеты). Затем, с помощью линейной регрессии, они анализируют связь между результатами прохождения анкеты моделью в режиме по умолчанию, и результатами, полученными в режиме имитации моделью типичного представителя республиканских и демократических взглядов.

Основное различие работ данного кластера заключается в масштабе исследования. Например, Мотоки, Пино Нето и Родригес изучают всего одну модель одной версии при помощи одной анкеты (и второй анкеты – для подтверждения результатов, работу с которой они, однако, никак не освещают). Розадо использует уже 15 анкет, одна из которых составлена на испанском языке (хотя выбор анкеты и испанского языка никак не объясняется), но также задействует только одну модель одной версии [Rozado, 2023, p. 1, 2]. Дальнейшая работа в данном направлении требует увеличения масштабов всех параметров исследования: привлечение новых языков, моделей, их версий и режимов работы, анкет, увеличения циклов повторных прохождений и т.п. Предположительно, изменения масштаба исследования может приводить к различным результатам. Статья Розадо 2024 г. описывает существенно более проработанное исследование, включающее уже 24 модели, а также эксперимент с манипуляцией над источниками предубеждений в виде обучающих материалов. Это позволяет отнести ее к третьему кластеру подходов.

Что касается результатов исследований данного кластера, то все модели склоняются приблизительно к одним взглядам, а именно леволиберальным¹. В зависимости от используемых анкет

¹ Точное определение того, что понимается под либеральными взглядами, требует контекстуализации в рамках некоторой эпохи и конкретной страны. Однако в общем смысле либерализм можно охарактеризовать через такие ключевые концепты, как ценность свободы, индивидуальности, прогресса, рациональности, уважение интересов обществности, социальности, и ограниченности власти [Greedon, 1996, p. 141–177]. «Левые» и «правые» взгляды также требуют аналогичной контекстуализации. В целом левые взгляды разделяют идеи равенства, поддержки рабочего класса, национализацию индустрии, противление иерархичности и национализму [см.: Brown G. W., McLean I., McMillan A. (eds). *The concise Oxford dictionary of politics and international relations*. Oxford: Oxford University Press, 2018, 597 p. – p. 321]. Опросы, в том числе используемые разбираемыми авторами, обычно отличают правые взгляды от левых по их негативному отношению к национализации и перераспределению благ, а также большей религиозностью [ibid., p. 486]. Левый

результаты могут, разумеется, качественно различаться: так, анкета, проверяющая ориентацию модели в рамках биполярной системы политических координат демократ – республиканец, будет показывать иные результаты, нежели более многосторонняя или содержательно полярная анкета. Тем не менее изученные на данный момент версии моделей преимущественно склоняются именно к левым взглядам.

К достоинствам подобных подходов к изучению политической предубежденности LLM следует отнести возможность работать с большими объемами полученных от различных LLM данных, легкость в получении статистически значимых результатов. Кроме того, привлечение готовых анкет освобождает исследователей от необходимости дополнительной экспертной оценки ответов моделей. Однако у подхода есть ряд ограничений и недостатков. Во-первых, использование готовых анкет делает исследователей зависимыми от качества и содержания анкет, к чему нередко добавляется невозможность узнать исходную методику подсчета результатов, если исследователи идут путем вбивания ответов модели в анкету. Во-вторых, исследования в рамках данного кластера не акцентируют внимание на том, как модели строят свои ответы и как различные формулировки промптов влияют на содержание и форму ответов. В-третьих, единственными предметами исследования могут становиться лишь выраженные моделями позиции (в очень ограниченном количестве возможных видов) и финальные результаты прохождения ими анкеты. Также имеются два дополнительных недостатка, на которых я сфокусируюсь подробнее.

Первый кластер исследований ничего не может сказать о связи потенциальных источников предубеждений и самими последними. В статье 2022 г. Д. Розадо поднимает тему возможных источников, опираясь на общие знания об обучении и корректировке работы LLM, однако даже не пытается указать, какие из них должны были вызвать открытую им предубежденность. Розадо выделяет три возможных источника: обучающие данные, особенности архитектуры алгоритмов и реакции пользователей и тестировщиков, оценивающих ответы модели. В работе А. Урман и М. Махортыха, которую я отнес к другому кластеру, выделяются

либерализм (или социальный либерализм) отличается от правого преимущественно позитивным отношением к вмешательству государства в экономику. Когда авторы говорят о левых (и леволиберальных) и правых взглядах моделей, чаще всего, вероятно, имеется в виду именно такое различие, хотя прямо это не обсуждается.

также фильтры, встраиваемые в модель ее разработчиками для корректировки выходных данных [Urman, Makhortykh, 2025]. Таким образом, исследования, построенные на прохождении моделями анкет, могут устанавливать факт и характер предубежденности, но не выявлять источник последней.

Ограниченность возможных рабочих промптов не позволяет даже устанавливать зависимость появления предубежденности от того, как сформулирован запрос, и данная ограниченность выступает второй центральной проблемой данного кластера. Поскольку модели нередко отказываются высказываться на политически нагруженные темы, исследователи пытаются составлять промпты, на которые модель точно давала бы ответ. Такие промпты обладают весьма специфическим характером и слабо совпадают с теми запросами, которые может отправлять исследуемым моделям обычный пользователь. Как отмечают Рёттгер и его соавторы, в большинстве работ этого направления используются ограниченные (“constrained”) промпты, вынуждающие модели выбирать один из возможных вариантов ответа [Röttger et al., 2024, p. 1], что приводит к невозможности нейтрального ответа со стороны модели [ibid., p. 3–4]. Главная проблема подобного подхода заключается в том, что реальные пользователи не взаимодействуют с LLM столь специфическим образом. Скорее, пользователи будут создавать запросы на выполнение заданий, например написание эссе, не интересуясь особенностями взаимодействия с используемой моделью. Как показывают авторы статьи, в работах этого направления могут применяться различные степени принуждения LLM к выдаче политически предубежденных ответов. Ответы моделей будут варьироваться в зависимости от наличия или отсутствия фраз принудительного характера и даже от степени их агрессивности [ibid., p. 4–5]. Кроме того, разные формулировки принуждающих фраз могут приводить к различающимся результатам [ibid., p. 5–6]. Если модели не принуждаются к выбору варианта ответа, многие из них отказываются отвечать на значительную часть вопросов (такие ответы авторы называют «недействительными», англ. “invalid”) [ibid., p. 4].

Вместо использования принуждающих промптов авторы предлагают сосредоточиться на таких запросах, которые бы допускали большую степень свободы в ответах LLM. Это может сделать эксперименты более похожими на реальный процесс использования моделей реальными пользователями [ibid., p. 6]. В результате собственного авторского эксперимента, в котором использовались

непринуждающие промпты, авторы установили, что ответы, которые модели давали на их запросы, часто были противоположны «вынужденным» ответам, когда LLM должны были выбрать один из предложенных вариантов [Röttger et al., 2024]. Исходя из этого авторы делают вывод, что предубеждения (или, следуя их терминологии, ценности и мнения) LLM должны изучаться в связи с конкретными реальными формами использования моделей, без общих умозаключений о мнениях и ценностях LLM как некоего единого целого¹, т.е. выводы должны включать описание конкретных приложений и промптов [ibid., p. 8].

Изучение политических предубеждений LLM с учетом особенностей написания промптов и ответов

Интерес к тому, как именно LLM отвечают на вопросы, затрагивающие политически значимые проблемы, в наибольшей степени проявляется в работах, исследующих свободные ответы моделей. Если предыдущие подходы использовали преимущественно те промпты, на которые LLM не отказывались выдавать ответ, то в этих подходах отказы и наличие ложной информации также рассматриваются как нечто показательное для политической предубежденности изучаемых технологий. Открытые ответы тоже позволяют изучать содержание и стиль информации на выходе, наличие или отсутствие ложной информации в качестве проявления предубежденности, а кроме того – устанавливать многоплановую зависимость ответов моделей от того, как формулируются запросы.

Изучение отказов позволяет установить, при использовании каких промптов модель отказывается давать ответы на политически значимые вопросы. Как показывается в статье А. Урман и М. Махортыха, отличия в отдельных параметрах запросов могут приводить к различным результатам: ответы на запросы (или отказ от вопросов), а также их содержание могут зависеть, например, от

¹ Вообще говоря, вопрос о том, можно ли рассматривать LLM как нечто цельное в отношении выражаемых ими позиций, еще требует изучения. Как показывают исследования со статистически значимыми количествами наблюдений, LLM действительно склонны выражать некоторую определенную и связную предубежденность со статистически значимой вероятностью. Однако правильнее было бы рассматривать их реакции не как мнение агента, но, скорее, как элементы выборки из генеральной совокупности всех возможных ответов моделей.

языка, на котором сформулирован промт [Urman, Makhortykh, 2025]¹. Можно предположить, что варьирование значений других параметров также будет влиять на характер ответов.

Различные модели могут отвечать на политически нагруженные запросы по-разному с точки зрения стиля и содержания. Запросы, допускающие большую свободу в ответах модели, открывают путь более глубокого анализа предубежденности последней. К примеру, такой подход позволяет запрашивать у LLM эссе на политически значимые темы и затем обрабатывать их релевантными методами контент-анализа, в частности, анализом тональности [Bang et al., 2024; Gover, 2023]. Тем самым изучению становятся подвластны новые аспекты политической предубежденности LLM, вроде мнения моделей по конкретным политически значимым вопросам в противовес одной лишь общей политической ориентации [Bang et al., 2024]. В контексте потенциального (а подчас – актуального²) внедрения LLM и иных видов ИИ в принятие политических или косвенно связанных с политикой решений такие тонкости могут оказаться чрезвычайно существенными.

Подходы, позволяющие моделям давать открытые ответы, расширяют горизонты изучения политической предубежденности LLM, однако все еще ничего не говорят о связи выявляемых предубеждений с их возможными источниками. Урман и Махортых изучают содержание ответов, частоту отказов, и меру наличия ложной информации (вызванного, предположительно, скорее склонностью моделей «галлюцинировать», то есть сочинять ложные факты, нежели преднамеренным влиянием, хотя наверняка утверждать нельзя) как параметры измерения предубежденности моделей. Источником они считают фильтры, целенаправленно наложенные на модели их создателями. Тем не менее подлинная причина появления предубеждения может оказаться иной. Как и в

¹ В случае статьи Урман и Махортыха выбор языка влечет за собой выбор соответствующих регулятивных мер, принятых в стране, наиболее прочно ассоциируемой с данным языком, хотя установлению этого факта и посвящена статья. У различий в ответах в зависимости от выбранного языка, однако, могут быть и другие причины.

² Так, Google заявляли, что использовали свои модели в обеспечении борьбы с тем, что они подразумевают под «мизинформацией» (англ. “misinformation”), в ходе выборов в Европейский парламент в 2024 г. [см.: Kroeber-Riel A. Supporting the Elections for European Parliament in 2024. *Google Blog*. February 5, 2024. URL: <https://blog.google/around-the-globe/google-europe/supporting-elections-for-european-parliament-2024/> (accessed: 13.10.2024)].

исследованиях предыдущего кластера, связь между потенциальными источниками предубеждений и самими предубеждениями формулируется на уровне догадок, гипотез – научное подтверждение своим утверждениям подходы данного кластера дать не могут.

Манипуляции с возможными источниками политических предубеждений LLM

Для исследования возможных источников политической предубежденности LLM необходимо работать с самими источниками, а не с последующими проявлениями предубежденности в генерируемом контенте. Учитывая практическую задачу коррекции предвзятости моделей и исследовательскую задачу установления связи между предвзятостью и её источником, только такой подход представляется способным дать достаточно полные ответы на соответствующие вопросы. По свидетельствам авторов статей двух рассмотренных выше направлений, источниками предубеждений могут быть: материалы, на которых обучаются LLM; фильтры, которые накладывают на модели их разработчики; предвзятость тех, кто оценивает ответы моделей и чьи оценки затем учитываются при корректировке их вывода; особенности архитектуры моделей. Определение подлинных причин возникновения политических предубеждений в данных, генерируемых LLM, а также установление связи между конкретными источниками и соответствующими предубеждениями в выходных данных, выходит за рамки возможностей описанных подходов. Единственное методологическое решение, которое мне видится, – это сосредоточение на манипуляциях с теми аспектами разработки LLM, которые, предположительно, являются причинами их предубеждений. Пока что, однако, это направление наименее разработано в академических исследованиях. За последние несколько лет появлялись статьи, посвященные изучению того, как манипуляции с обучающими данными для небольших языковых моделей могут влиять на их политические взгляды [Feng et al., 2023; Jiang et al., 2022]. В рамках таких исследований модели изначально обучались на предвзятом контенте. К сожалению, этот подход, хотя и весьма примечательный, не может быть использован для изучения больших языковых моделей, если только на подобные исследовательские цели не будут выделены большие ресурсы. Стоимость обучения новой LLM измеряется в миллионах долларов, которые вряд ли

будут выделены на проведение весьма узкоспециализированных экспериментов, вроде связанных с работой с политическими предубежденностями LLM.

Нерепрезентативность данных исследований для LLM – одна из причин, по которым работа с уже существующими LLM кажется более эффективной. Другая причина заключается в том, что существующие LLM – это модели, которые действительно используются миллионами людей по всему миру, и именно через них политические предубеждения LLM оказывают влияние на реальность, в частности, на индивидуальное сознание. Кроме того, исследование существующих LLM может также способствовать лучшему пониманию особенностей смягчения политических предубеждений LLM в целом (или манипулирования ими). К счастью, коды многих влиятельных LLM размещены в открытом доступе и, следовательно, доступны независимым исследователям. При этом, однако, данное направление изучения политических предубеждений LLM требует проведения междисциплинарных исследований, в которых будут задействованы, по меньшей мере, специалисты по компьютерным наукам и политологи. Это делает данный кластер более требовательным, но также более всесторонним. Требовательность данного направления (в которую включается также, к примеру, высокая стоимость соответствующих экспериментов), превышающая исследования других кластеров, вероятно, является причиной его слабой популярности.

Статья А. Агиза, М. Мостагира и Ш. Реда – одна из немногих работ, в которой описывается исследование в русле подходов из данного кластера [Agiza, Mostagir, Reda, 2024]. Чтобы оценить предубежденность исследуемого LLM (Mistral-7B-v0.2), авторы используют уже известные по предыдущим разделам подходы: они запрашивают у LLM ее мнение по поводу утверждений из Political Compass и задействуют другую модель (ChatGPT-4) для оценки того, что сгенерировала Mistral [ibid., p. 6–8]. Однако перед этим авторы проводят манипуляции с моделями, дважды «перенастраивая» их посредством тонкой настройки: один раз – на соответствие левым взглядам, и второй на соответствовали правым [ibid., p. 5–6, 7]. Перенастройка составляет главную методологическую ценность исследования.

Для осуществления тонкой настройки авторы дважды дообучают модель политически нагруженными датасетами, проводя их предварительный сбор, оценку (к слову, оценка снова осуществляется LLM – Mixtral-8x7B) и компоновку. Один датасет состоит

из данных, взятых с медиаплатформы правой направленности Truth Social, другой – из форума левой направленности Reddit Politosphere¹. Эти датасеты далее используются для создания двух новых, состоящих из инструкций (т.е., образцов возможных запросов к модели) и образцовых ответов на эти и любые подобные им запросы. В одном случае модель дообучается² на республиканском датасете, состоящем из пар инструкция – ответ, в другом – на демократическом.

Два модифицированных таким образом варианта уже выпущенной на рынок LLM с открытым исходным кодом действительно оказываются политически предубежденными в соответствии с материалами, под которые модели подстраивались [Agiza, Mostagir, Reda, 2024, p. 7–10]. Полученные результаты являются весьма впечатляющими, доказывая, что существующие Большие языковые модели могут быть настроены на отражение определенных политических взглядов с помощью обучающих данных.

Обучающие данные, однако, являются не единственным возможным источником политических предубеждений LLM. Тщательного изучения требуют также другие возможные источники: цензурирующие фильтры, специфика устройства моделей и процессы доработок моделей с учетом оценок ее ответов со стороны специально подобранных команд. Дэвид Розадо, по сути, повторяет исследование Агиза, Мостагира и Реды, но увеличивает масштаб исследования до 24 моделей, 11 тестов для оценки предубежденности, и добавляет сравнение одинаковых моделей, прошедших и не прошедших специальные процедуры дообучения для настройки моделей на общение с живым пользователем [Rozado, 2024]. Последний аспект его исследования представляет наибольшую ценность, поскольку связывает появление предубеждений с контролируемым дообучением моделей, нацеленным на настройку их под работу с живыми пользователями. Однако эта ценность существенно подрывается тем, что контролируемое дообучение проводит не сам Розадо, в силу чего автор почти не имеет представления о фактическом содержании проведенных процедур. Как признает Розадо, такой дизайн исследования не позволяет ему сделать одно-

¹ Почему авторы относят Truth Social к правой направленности, а Reddit Politosphere – к левой, в статье не обсуждается.

² Для дообучения используется механизм низкоранговой адаптации (англ. Low-Rank Adaptation, сокр. LoRA).

значные выводы о связи предубеждений с дообучением [Rozado, 2024, p. 11].

Для полноценного изучения указанных вопросов необходимы эксперименты, построенные на непосредственной манипуляции с возможными источниками предубеждений. Такие эксперименты, в свою очередь, требуют междисциплинарных исследований, задействующих не только специалистов по компьютерным наукам, но также философов, политологов и других специалистов в области социальных наук. Отдельного изучения также требуют политические предубеждения на стыке LLM и других технологий генеративного ИИ, в частности, технологий генерации изображений на основе промптов, составленных на естественном языке, рекомендательных алгоритмов и т.д. Эти направления остаются пока что не затронутыми несмотря на то что некоторые подходы к изучению неполитических предубеждений в подобных технологиях начинают разрабатываться [Zhou et al., 2024].

Заключение

Исследования политических предубеждений LLM становятся особенно актуальными в свете необходимости регулирования данных технологий. С точки зрения регулирования дальнейшее продвижение в области ослабления, искоренения и контроля политических предубеждений в алгоритмических инструментах потребует предоставления большего доступа исследователей к существующим и активно используемым технологиям. Также кажется необходимым создание специальных институтов, посвященных изучению ИИ на стыке компьютерных наук, этики, философии сознания, нейрокогнитивных и социальных наук, в том числе политологии¹. В целом манипуляции с возможными источниками политических предубеждений LLM кажутся наиболее многообещающим направлением, в рамках которого можно поставить большое количество вопросов, недоступных для исследований из первых двух кластеров. Тем не менее последние также имеют

¹ Примером такого института можно считать Стэнфордский институт Человекоориентированного Искусственного Интеллекта (Stanford Institute of Human-Centered Artificial Intelligence, HAI) [см.: Stanford University. Human-Centered Artificial Intelligence. *Stanford University Website*. Not dated. URL: <https://hai.stanford.edu/> (accessed: 13.10.2024)].

большое значение для изучения политических предубеждений LLM, и дальнейшее продвижение требует тесного сотрудничества наиболее изобретательных подходов из всех трех кластеров.

V.S. Muronets*

**The basics yet ahead: an overview of the approaches
to investigating political bias in large language models**

Abstract. Political bias of Large Language Models has frequently become a topic for scientific investigation. Most of the researchers tend to compete in inventing more original ways of identifying bias rather than posing new research questions related to it besides “Is this model politically biased?” and “What is the character of its bias?”. To properly evaluate possible influence of the models on the political reality and finding answers to some questions regarding regulation of Artificial Intelligence it is essential to be able to study the linkage between the bias and its cause. With regard to how the question of dependence between the identified bias and its possible source is addressed I have grouped the approaches to studying political bias of LLMs into three clusters: approaches that use political orientation surveys and questionnaires, studies devoted to investigating different ways of creating prompts and models’ responses and their interdependence, and interdisciplinary research in which manipulations with possible sources of LLMs’ political bias is conducted. The latter research trajectory seems to be the most promising one, despite its current unpopularity. Yet, it is impossible to advance in this trajectory without it being complemented by further developments in the approaches in the first two clusters. In studying the issue of LLM bias, not only computer science specialists but also philosophers and political scientists and other experts in the social sciences should be involved. Political biases at the intersection of LLM and other generative AI technologies – in particular, technologies for generating images based on prompts composed in natural language, recommendation algorithms, etc. – also require separate research. From a regulatory standpoint, further progress in mitigating, eradicating, and controlling political biases in algorithmic tools will require providing researchers with greater access to existing and actively used technologies. Furthermore, it appears necessary to establish specialized institutions dedicated to research on AI at the intersection of computer science, ethics, the philosophy of mind, neurocognitive and social sciences.

Keywords: Large language models, political bias, algorithmic bias, generative artificial intelligence, ethics of artificial intelligence, values and political views.

For citation: Muronets V.S. The basics yet ahead: an overview of the approaches to investigating political bias in large language models. Political science (RU). 2025, N 2, P. 204–226. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.09>

* **Muronets Vsevolod**, HSE University (Moscow, Russia), e-mail: vmuronets@hse.ru

References

- Agiza A., Mostagir M., Reda S. Analyzing the impact of data selection and fine-tuning on economic and political biases in LLMs. *arXiv preprint arXiv:2404.08699*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.08699>
- Bang Y., Chen D., Lee N., Fung P. 2024. Measuring political bias in large language models: what is said and how it is said. *arXiv preprint arXiv:2403.18932*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.18932>
- Davis R. *Typing politics: The role of blogs in American politics*. Oxford: Oxford university press, 2009, 241 p.
- Durmus E., Nyugen K., Liao T.I., Schiefer N., Askill A., Bakhtin A., Chen C., Hatfield-Dodds Z., Hernandez D., Joseph N., Lovitt L. Towards measuring the representation of subjective global opinions in language models. *arXiv preprint arXiv:2306.16388*. 2023. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.16388>
- Elmer G., Langlois G., McKelvey F. *The permanent campaign: new media, new politics*. Lausanne: Peter Lang, 2012, 144 p.
- Farrell H., Drezner D.W. The power and politics of blogs. *Public choice*. 2008, N 134, P. 15–30.
- Feng S., Park C.Y., Liu Y., Tsvetkov Y. From pretraining data to language models to downstream tasks: Tracking the trails of political biases leading to unfair NLP models. *arXiv preprint arXiv:2305.08283*. 2023. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.08283>
- Freeden M. *Ideologies and political theory: A conceptual approach*. Oxford: Clarendon Press, 1996, 604 p.
- Gover L. Political bias in large language models. *The commons: Puget sound journal of politics*. 2023, Vol. 4 (1), N 2, P. 11–22.
- Habermas J. Concluding comments on empirical approaches to deliberative politics. *Acta politica*. 2005, N 40, P. 384–392.
- Habermas J. *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015, 631 p.
- Hargittai E., Gallo J., Kane M. Cross-ideological discussions among conservative and liberal bloggers. *Public Choice*. 2008, N 134, P. 67–86.
- Jiang H., Beeferman D., Roy B., Roy D. CommunityLM: Probing partisan worldviews from language models. *arXiv preprint arXiv:2209.07065*. 2022. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.07065>
- Kotek H., Dockum R., Sun D. Gender bias and stereotypes in large language models. In: Bernstein M., Savage S., Bozzon A. (eds). *Proceedings of The ACM collective intelligence conference*. 2023, P. 12–24.
- Liu R., Jia C., Wei J., Xu G., Wang L., Vosoughi S. Mitigating political bias in language models through reinforced calibration. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. 2021, Vol. 35, N 17, P. 14857–14866.
- Malinova O.Yu. Symbolic policy: contours of the problem field. In: Malinova O.Yu. (ed.). *Symbolic politics: Collection of articles*. Moscow: INION RAS, 2012, P. 5–16. (In Russ.)
- Motoki F., Pinho Neto V., Rodrigues V. More human than human: Measuring ChatGPT political bias. *Public Choice*. 2023, Vol. 198, N 1, P. 3–23.

- Nadeem M., Bethke A., Reddy S. StereoSet: Measuring stereotypical bias in pretrained language models. *arXiv preprint arXiv:2004.09456*. 2020. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2004.09456>
- Omiye J. A., Lester J. C., Spichak S., Rotemberg V., Daneshjou R. Large language models propagate race-based medicine. *NPJ Digital medicine*. 2023, Vol. 6, N 1, Article 195.
- Papacharissi Z. The virtual sphere: The internet as a public sphere. *New media & society*. 2002, Vol. 4, N 1, P. 9–27.
- Pit P., Ma X., Conway M., Chen Q., Bailey J., Pit H., Keo P., Diep W., Jiang Y.G. Whose side are you on? Investigating the political stance of large language models. *arXiv preprint arXiv:2403.13840*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.13840>
- Rasmussen T. Internet and the political public sphere. *Sociology Compass*. 2014, Vol. 8, N 12, P. 1315–1329.
- Rozado D. The political biases of ChatGPT. *Social Sciences*. 2023, Vol. 12, N 3, Article 148.
- Rozado D. The political preferences of LLMs. *PLoS ONE*. 2024, Vol. 19, N 7, Article e0306621. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306621>
- Röttger P., Hofmann V., Pyatkin V., Hinck M., Kirk H.R., Schütze H., Hovy D. Political Compass or Spinning Arrow? Towards More Meaningful Evaluations for Values and Opinions in Large Language Models. *arXiv preprint arXiv:2402.16786*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.16786>
- Tulchinskii G.L. Power and making of meaning, or political pragmasemantics. *Political science (RU)*. 2023, N 3, P. 151–169. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2023.03.07>
- Urman A., Makhortykh M. The silence of the LLMs: Cross-lingual analysis of guardrail-related political bias and false information prevalence in ChatGPT, Google Bard (Gemini), and Bing Chat. *Telematics and Informatics*. 2025, Vol 96, Article 102211.
- Zhou M., Abhishek V., Derdenger T., Kim J., Srinivasan, K. Bias in Generative AI. *arXiv preprint arXiv:2403.02726*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.02726>

Литература на русском языке

- Малинова О.Ю. Символическая политика: контуры проблемного поля // Символическая политика: сб. науч. тр. Выпуск 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс / под ред. Малиновой О.Ю. – М.: ИНИОН РАН, 2012. – С. 5–16.
- Тулчинский Г.Л. Смыслообразование и власть, или Политическая прагмасемантика // Политическая наука. – 2023. – № 3. – С. 151–169. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2023.03.07>

К.А. ТУРЕНКО*

**КОНЦЕПЦИЯ СУВЕРЕНИТЕТА
В ПОСТКОЛОНИАЛЬНОЙ МЕКСИКЕ:
ЛИБЕРАЛЬНЫЕ И КОНСЕРВАТИВНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ**

Аннотация. В статье на основе методов британского историка К. Скиннера исследуются развитие и особенности концепции суверенитета в постколониальный период мексиканского государства (1820–1830-е годы). Обращаясь к идеям о значении авторской интенции, контекста, целях употребления понятия, автор анализирует формы слова «суверенитет» и его синонимы. Основным источником выступает периодическая печать того времени – пять газет, которые отражали как либеральные, так и консервативные настроения. В центре внимания находятся два северо-восточных мексиканских штата – Веракрус и Тамаулипас, демонстрирующие особенности использования понятия в портовых и приграничных территориях.

Главным стимулом к формированию суверенитета стала Война за независимость испанских колоний в Америке (1810–1826). Язык стал важным инструментом мексиканцев, направленным на интерпретацию новой политической реальности. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в 1820–1830-е годы под суверенитетом понимали независимость во внутренних и внешних делах, а также верховенство и легитимность закона. При этом у либералов и консерваторов расходились трактовки источника суверенитета: если первые подчеркивали верховенство политической власти нации, то вторые отмечали его божественное происхождение. Сочетание местных (колониальных) и общеевропейских внимания интерпретаций понятия стало особенностью мексиканского дискурса в этот период.

Ключевые слова: суверенитет; постколониальная Мексика; интеллектуальная история; независимость; нациестроительство; легитимность.

Для цитирования: Туренко К.А. Концепция суверенитета в постколониальной Мексике: либеральные и консервативные толкования // Политическая наука. – 2025. – № 2. – С. 227–247. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.10>

* Туренко Кристина Армановна, приглашенный преподаватель, аспирант программы двойного диплома “Global History of Empires”, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), Университет Турина (Турин, Италия), e-mail: ka.saakova@hse.ru

© Туренко К.А., 2025

DOI: 10.31249/poln/2025.02.10

Контекст и выбор кейсов

Суверенитет – это одно из самых распространенных современных понятий. Его определяют как правовой, политический и конституционный принцип, означающий независимость государства. В конце XVIII – начале XIX в. суверенитет представлял собой основополагающую политическую концепцию, которая воплощала новый легитимизирующий принцип власти по обе стороны Атлантики. Дэвид Армитэдж отмечает, что новая модель суверенитета была заложена Декларацией независимости США (1776) и представляла модель национального отделения и государственного строительства вопреки империи [Armitage, 2007, p. 19].

Провозглашение народного или национального суверенитета в Испанской Америке стало, в свою очередь, ответом на кризис иберийской монархии и последовавших войн за независимость (1810–1826). В отличие от Франции и США, где народные революции отвергли суверенную власть короля, в Испанской Америке суверен покинул народ. Таким образом, королевская легитимность оказалась оспорена уже во время революции. Отречение Карла IV от власти в пользу своего сына Фердинанда VII, а последнего – в пользу Жозефа Наполеона после французского вторжения на Пиренейский полуостров в 1808 г.¹ привело к политико-правовому переустройству испанской нации и последующему распаду империи еще до начала народного восстания [Ochoa Espejo, 2012, p. 1056]. Кризис суверенитета привел к образованию *хунт*, представительных правительств, которые стали провозглашать независимость от Испании в 1811 г. Споры о справедливости, а затем независимости создали противоречивую ситуацию. Нация, которая была образована действиями абсолютистской власти, в конце концов выступила против этой власти как искусственно созданной. Суверенитет вытеснял Суверена.

Среди новых независимых государств особый интерес представляет Мексика. Проблема суверенитета остро встала в стране в 1840–1850-е годы, когда Мексика потеряла больше половины своей территории (Техас, Верхняя Калифорния, Новая Мексика) в результате войны с США в 1846–1848 гг. Но истоки концепции следует искать в 1820–1830-е годы, когда в Мексике соперничали между собой две политические группы – либералы и консерваторы.

¹ Это событие получило название Байоннских отречений.

Цель статьи – выявить специфику концепции мексиканского суверенитета на примере двух граничащих штатов – Веракруса и Тамаулипаса. В первую очередь штаты объединяет стратегически важное расположение, поскольку они находятся на востоке страны и вытянуты вдоль Мексиканского залива с юга на север, до границы с США. В связи с этим они исторически представляли «точки входа» в страну для иностранцев – как военных интервенций, так и иммиграций.

В 1527–1821 гг. территория современного штата Веракрус была частью центрального королевства Мексика, входившего в вице-королевство Новая Испания. Город Веракрус, основанный в 1519 г., еще в колониальный период был главным портом для иммигрантов, экспорта и импорта товаров. Повстанческие движения, иностранные интервенции часто начинались и проходили через город. Кроме того, один из ключевых лидеров революции Антонио Лопес де Санта-Анна (1794–1876), занимавший президентский пост 11 раз в 1830–1850-е годы, был уроженцем г. Халапы, находящегося в 100 км от Веракруса, где и начинал политическую деятельность.

Реакцией на революционные события на полуострове, вызванные созданием конституционного правительства в марте 1820 г., стали вооруженные движения во главе с Агустином де Итурбиде (1783–1824), составившим «План Игуалы» – временную систему государственного устройства. 24 августа 1821 г. документ был закреплён Кордовским договором, а в 1822–1823 гг. Итурбиде уже стал мексиканским императором. Веракрус при этом продолжал борьбу против испанского владычества до ноября 1825 г.

Большую роль в этом противостоянии сыграл Санта-Анна, который 2 декабря 1822 г. сделал два военных заявления, «План де Каса Мата» и «План Веракруса», с критикой монархического режима, и поднял восстание против Итурбиде, что привело к победе республиканцев и отставке последнего в марте 1823 г. [Aguilar Sánchez, Ortiz Escamilla, 2011, p. 205–211; Booker, 1988]. Федеральная конституция Мексиканских Соединённых Штатов была принята 4 октября 1824 г., а конституция штата Веракрус – 3 июня 1825 г. в городе Халапе.

Тамаулипас, находящийся к северу от Веракруса, представляет не меньший интерес. В первую очередь он заслуживает внимания из-за близости к США. Как отмечает Омар С. Валерио-Хименес, жители этого штата всегда испытывали «двойственную

лояльность», вставая то на сторону Мексики, то на сторону США [Valerio-Jiménez, 2002].

В Тамаулипасе¹ события развивались иначе. 15 апреля 1817 г. на побережье провинции Новый Сантандер высадилась экспедиция испанского повстанца Франсиско Хавьера Мины (1789–1817). Поход Мины начался 24 мая 1817 г., когда он пересек горный хребет Сьерра-де-Тамаулипас (*Sierra de Tamaulipas*) и направился в Кукурузную долину (*el Valle de Maíz*). Однако в результате преследований со стороны роялистов Мина вскоре был схвачен и казнен. Только после прихода к власти Итурбиде Тамаулипас торжественно присягнул независимости Мексики 7 июля 1821 г. По Федеральной конституции 1824 г., Тамаулипас стал одним из 19 штатов – основателей нового государства. В июле того же года в штате был учрежден первый Конгресс, а 6 мая 1825 г. была обнародована его первая конституция [Weber, 1997, p. 22–31].

Хронологические рамки исследования ограничены 1822–1835 гг. 1 декабря 1822 г. Антонио Лопес де Санта-Анна поднял восстание против императора Агустина де Итурбиде и объявил Мексику республикой. Верхняя рамка обусловлена созданием Централистской республики в Мексике, закрепленной Конституцией 23 октября 1835 г.

Источники и методология исследования

Тема суверенитета рассматривается в исторических, правовых и политических трудах. В первую очередь стоит отметить латиноамериканскую интеллектуальную историю, которая активно развивается в традиции немецкой истории понятий Рейнхарта Козеллека [Palti, 2005; Fernández Sebastián, 2009]. Для нашего исследования особенно важен том, посвященный концепции суверенитета в странах Латинской Америки [Fernández Sebastián, 2014]. Тем не менее понятие анализируется в рамках войны за независимость (1810–1824) и ориентируется на «классические» тексты; региональные источники не привлекаются. Эта проблема также изучается в рамках атлантической истории, исследующей взаимосвязи и трансферы между странами по обе стороны Атлантического океана в Новое время [Adelman, 2006; Benton, 2010]. Отечественные исследователи изучают проблему становления мексиканского го-

¹ В 1746–1821 гг. был частью провинции Новый Сантандер.

сударства с позиции конституционных, политических и территориальных вопросов [Селиванова, 2013; Селиванова, Цыганков, 2019]. Основным пробелом в литературе остается сосредоточенность исследователей на «классических текстах» и периоде войны за независимость (1810–1824)¹. Анализ отдельных штатов обычно связывается с историей политических или экономических событий, не затрагивающих дискурсивные практики [Booker, 1988; Valerio-Jiménez, 2002; Ортис Перальта, 2018]. Новизна исследования состоит, с одной стороны, в рассмотрении мексиканского суверенитета как понятия политического словаря, а с другой – в его изучении на примере региональной прессы, раскрывающий семантические особенности концепции в этот период.

В качестве источников выступают газеты штатов Веракрус и Тамаулипас. Периодическая печать возникла в Испанской Америке до революции, но стала процветать именно в 1820–1830-е годы, когда государственные перемены привели к поляризации общества. Журналистика, отличающая эту эпоху, была связана с появлением либералов и консерваторов. Следует понимать, что большая часть населения Мексики в ту эпоху оставалась неграмотной. Известно, что на 1895 г. грамотное население в возрасте 10 лет и старше составляло 17,9% [Estadísticas históricas..., 1999, p. 100]. Хотя начальное образование начали развивать еще Бурбоны во второй половине XVIII в., эта практика распространялась небыстро. Например, в 1829 г. в штате Коауила-и-Техас, граничащим с Тамаулипасом, около 10% детей посещали школы [Vaughan, 1990, p. 36]. В соседнем с Веракрусом штате Оахака на 1871 г. уровень грамотности составлял 6% [Kowalewski, Saindon, 1992, p. 114].

По недавним подсчетам, с 1792 по 1950 г. во всей Мексике было около 4804 газет. Первая газета была опубликована в Мехико в 1722 г., и только в 1795 г. появилось региональное периодическое издание, как раз в Веракрусе. В период с 1795 по 1824 г. в штате насчитывалось всего 10 газет. В Тамаулипасе пресса развивалась медленнее: первые оцифровки датированы 1834 г. В остальных штатах периодика стала зарождаться в период войны за независимость, но в некоторых регионах ее не было вплоть до XX в. (например, первые журналы в штатах Мичоакан, Сакатекас и Чьяпас появились только в 1906–1912 гг.) [Palacio Montiel, 2009, p. 89–90].

¹ Подробнее о «классических текстах» см. методологию исследования.

Газеты условно разделены на либеральные и консервативные¹. К первым можно отнести «Диарио де Веракрус» (1822–1823), «Эль Цензор» (1833–1844) и ранние выпуски «Эль Ориенте» (1824–1828), ко вторым – «Гасета де Тампико» (1834), «Гасета де Тамаулипас» (1834) и «Эль Цензор» (после 1827 г.). Первой сохранившейся в регионе революционной газетой стала «Диарио де Веракрус» [Palacio, 2015, p. 28–33]. Ее основание и руководство приписывается дипломату Хоакину Марии дель Кастильо-и-Лансасу (1801–1876). Газета имела республиканский характер и поддерживала восстание Санта-Анны против режима Итурбиде. Направленность первой ежедневной газеты «Эль Ориенте» изменилась в ходе правления первого президента Гуадалупе Виктории (1824–1829). Ее издателем был политик Себастьян Камачо (1791–1847), занимавший посты министра иностранных дел и губернатора Веракруса в 1820-е годы. Разочаровавшись в либеральной политике Гуадалупе, Камачо в 1827 г. ушел с поста и стал поддерживать консерваторов, что отразилось в публикациях. Главным редактором «Эль Цензора» был полковник Питер Ландеро, поддерживающий федеративное государство и выступавший против церкви. В период консервативного президентства Анастасио Бустаманте (1830–1832) газета считалась оппозиционной [Torges, Castañeda, 1995, p. 147]. Две другие газеты, «Гасета де Тамаулипас» и «Гасета де Тампико», поддерживались правительством Санта-Анны, который на тот момент сменил политические воззрения и присоединился к группе консерваторов. Издателем обеих газет был малоизвестный Г.Х. Грей.

Понятие мексиканского суверенитета в источниках проанализировано при помощи методов Кембриджской школы интеллектуальной истории, в частности – британского историка Квентина Скиннера. Цель его метода – борьба с «текстуалистским» подходом, то есть с позитивистской традицией написания истории через классические тексты. Скиннер предлагает обратить внимание на более широкую социальную и интеллектуальную среду (*контекст*), что позволит избежать ошибочных выводов, как, например, приписывание автору тех или иных идей или представление его как «предвестника» открытий или течений [Скиннер, 2018 а, с. 10]. Для этого при работе с источниками нужно совершить три действия: определить семантическое поле понятия (принятый на

¹ Подробнее о различиях см. раздел «Мексиканский суверенитет: “либералы” и “консерваторы”».

тот исторический момент политический словарь); восстановить механику его употребления и авторскую интенцию (в каких формах употребляется понятие и каким функциям служит); выявить политические и идеологические смыслы понятия и вписать его в интеллектуальный контекст. Несмотря на разногласия, которые могут возникнуть при употреблении термина, нужно понимать, что оценочный язык всегда легитимизирует действия определенных социальных групп. Социальные практики наполняют смыслом социальный словарь, и, наоборот, словарь накладывает ограничения на наше поведение [Скиннер, 2005, с. 145–146; Скиннер, 2018 а, с. 11].

Особенности понятия суверенитета в Новое время

В основе слова «суверен» лежит латинское прилагательное *superanus* («верховный»), которое во французском языке преобразовалось в *sovereign* и получило политическое значение – верховный правитель [Суверенитет..., 2008, с. 27]. Введение понятия в политический словарь связывают с именем Ж. Бодена (1529/1530–1596). В отличие от плюралистических средневековых интерпретаций, Боден обозначил суверенитет как исключительное государственное господство, которое носит в основном законодательный характер. В его трактовке суверенитет – это высшая, абсолютная и бессрочная власть над гражданами [Скиннер, 2018 б, с. 426]. Идеи Бодена нашли отражение в теории Т. Гоббса (1588–1679): суверенная власть ничем не ограничена, но у подданных есть право на сопротивление. Как писал Мишель Фуко, начиная с XVI и особенно с XVII в., во времена религиозных войн теория суверенитета использовалась, с одной стороны, как механизм феодальной монархии, с другой – как инструмент политической и теоретической борьбы (католики и протестанты, аристократы и парламентарии и т.д.) [Foucault, 2003, p. 34].

Параллельной тенденцией в рамках Вестфальской системы международных отношений стало развитие понятия народного суверенитета, согласно которому источником власти является народ. Так появилась теория общественного договора Ж.-Ж. Руссо (1712–1778): суверенитет принадлежит народу и проявляется через представительство, общая воля – это высшее политическое господство [Bodin, 1995, p. 25–27; Суверенитет..., 2008, с. 45]. Э. Сийес (1748–1836) в политическом памфлете «Что такое Третье сословие?», опубликованном незадолго до начала Французской

революции, говорит о необходимости установления национального суверенитета [Sieyès, 2003, p. 94–98]. Впоследствии он выдвинул идею учредительной власти (*pouvoir constituant*) как осмысление недавно обретенной народом политической власти.

Как справедливо отмечает Дэниел Филпотт, сейчас все многообразие значений понятия можно объединить следующим образом: суверенитет – это верховная власть на определенной территории. Суверенитет может принадлежать не только отдельному человеку или легитимному органу, как полагали Боден и Гоббс. Революционная эпоха предложила новую трактовку – держателем суверенитета может быть народ, объединенный конституцией или другим законом [Philpott, 2001, p. 17].

Поиск суверенитета в странах Латинской Америки

В конце XVIII в. в испаноязычной среде наиболее распространенным обращением к монарху было «суверен». Согласно определению из «Словаря испанского языка», изданного Королевской Испанской академией в 1739 г., суверен – это «Королевское Высочество, власть над всеми»¹. Поворотным моментом стало изгнание иезуитов из Испанской Америки в 1767 г.: их обвинили в поддержании доктрины, подрывающей королевскую власть. Общество Иисуса, или иезуиты, появилось в Новой Испании еще в сентябре 1572 г. Иезуитские коллегии становились главными учебными центрами, которые занимались образованием креольской элиты. Их изгнание испанским королем Карлом III (1759–1788) было направлено на уменьшение роли ордена и восстановление полного контроля метрополии.

В последней четверти XVIII в. из-за ряда восстаний в колониях наблюдался рост распространения сочинений, посвященных божественному праву королей и королевскому суверенитету (например, «Королевский катехизис» 1786 г. епископа Хосе Антонио де Сан-Альберто). Параллельно стали появляться произведения литераторов, таких, как Леон де Арройаль (1755–1813), Мануэль де Агирре (1827–1911) и др., которые считали, что суверенитет является не только атрибутом короля, но и нации [Fernández Sebastián, 2014, p. 17–21].

¹ Diccionario de la lengua española // Real Academia Española. – Mode of access: <https://apps2.rae.es/DA.html> (accessed 10.09.2024).

Кризис испанской власти 1808 г., приведший к независимости колоний, обозначается в историографии как «либеральная революция»: такое интенсивное и последовательное строительство государств и наций было беспрецедентно [Freeden, Fernández-Sebastián, Leonhard, 2019, p. 103]. Поиск суверенитета стал сложной и долгосрочной задачей для всех молодых республик.

В первую очередь возникла проблема внешнего суверенитета. Несмотря на провозглашение независимости новых государств к 1826 г., Испания предприняла ряд попыток, чтобы вернуть свои колонии, вплоть до испано-американской войны (1898), в ходе которой она лишилась последних колоний (Куба, Пуэрто-Рико) в Америке. Кроме того, республики столкнулись с иностранными (французскими, американскими, английскими) интервенциями, которые подрывали ее право на суверенитет. Другой проблемой стало определение границ вокруг политического сообщества, что означало разделение между «своими» и «чужими», создание самостоятельных национальных «частей» из существовавшего ранее имперского целого [Adelman, 2006, p. 6]. В республиках, установивших федеративное устройство, как в Мексике, также предстояло определить «делимость» суверенитета между штатами и центральным правительством.

Внутренний суверенитет был не менее сложным вопросом. В тот момент, когда Европа оставалась верной монархии, особенно после поражения Наполеона, вся Америка, за исключением Бразилии, склонялась к республиканским формам правления. Строительство государств было направлено на восстановление политического порядка на основе принципа народного суверенитета и формирования новых сообществ – наций, которые должны были стать источником суверенной власти и ее объектом [Sabato, 2009, p. 25]. В первые постреволюционные десятилетия дискуссии вокруг форм суверенитета носили противоречивый характер. Либеральная концепция нации как абстрактной сущности единого и неделимого суверенитета, состоящей из свободных и равных граждан, конкурировала с идеей о взаимосвязи между народным суверенитетом, представительством и нацией [ibid., p. 26]. Дебаты также велись по вопросам установления формы правления (президентство или парламентаризм), государственного устройства (федерация или унитаризм), разделения властей, избирательного права, гражданства.

Так, провозглашение суверенитета стало всеобъемлющей проблемой для новых государств. Ее решение требовало обсуждения и координации действий между новыми элитами.

Конструирование мексиканского суверенитета: «либералы» и «консерваторы»

XIX в. в латиноамериканской истории можно охарактеризовать как борьбу между «либералами» и «консерваторами» [Ларин, 2009, с. 26; Ларин, 2018; Hale, 1968]. Мексика стала одной из первых стран, в которой это противостояние проявилось уже в 1820-е годы. Под консерваторами традиционно подразумевают крупных землевладельцев и собственников, армию, не готовых отказываться от своих привилегий в новой республике, а под либералами – новых выдвиженцев, в основном креолов, ремесленников, мелких собственников, которые ориентировались на идеологии европейских революций (Война за независимость в США и Французская революция) и поддерживали федеральную систему управления. Важным вопросом в противостоянии между группами политиков стало отношение к церкви. Либералы критиковали церковь за чрезмерное обогащение за счет сборов и обширных земельных владений и ущемление свобод. При этом либералы и консерваторы представляли не политические партии в современном понимании, а, скорее, менее организованные объединения, сосредоточенные вокруг лидеров.

Одним из основных факторов, повлиявших на разделение политиков и приведших к эпохе переворотов, стало распространение масонских лож – «шотландцев» (*escocés*) и «йоркинос» (*yorkino*). Последняя ложа поддерживалась первым министром США в Мексике Джоэлем Пойнсеттом (1825–1829) и была основана в конце 1825 г. Пойнсетт назвал свою партию «американской», и именно она, по его мнению, стала главным оплотом республиканизма и боролась с влиянием церкви и армии. Параллельно была образована консервативная шотландская ложа во главе с Мануэлем Кодорниу (1788–1857), испанским военным врачом и главой масонской газеты «Эль Соль». Представителем йоркинос был первый президент Гуадалупе Виктория, а шотландской ложи – первый вице-президент Николас Браво (1786–1854) [Rodríguez, 2005, p. 213].

Обострение конфликта было связано с президентскими выборами 1829 г., в результате которых сменилось несколько поли-

тиков либерального и консервативного толка: Висенте Герреро (1829), Анастасио Бустаманте (1830–1832), Валентин Гомес Фариас (1833), Санта-Анна и др. Их позиции отличались отношением к привилегированным группам (армия, церковь, крупные землевладельцы), свободе прессы, государственному устройству (федерализм или унитаризм). Политические эксперименты привели к формированию централистского консервативного правительства, принципы которого были закреплены в конституции 1835 г. [Ларин, 2018, с. 153–161].

Либеральная трактовка суверенитета

В либеральных газетах можно выделить три основных вопроса, связанных с суверенитетом: кто обладает, как распределяется и куда распространяется (внешние и внутренние границы). Основным значением понятия «суверенитет» в 1822–1824 гг. становится независимость Мексики от Испании. Оно впервые встречается в преамбуле либеральной газеты «Диарио де Веракрус»: «Второй год независимости и первый год восстановленной мексиканской республики» (*“año segundo de la Independencia, y primero de la República megicana”*)¹. Подразумевается, что Мексика стала независимой после прихода к власти Итурбиде, а восстановила республиканскую форму, пусть и неофициально, после публикации «Плана де Каса Мата».

Несмотря на провозглашение независимости, главную угрозу суверенитету все еще представляла Испания, которая удерживала последнюю стратегическую крепость до конца 1825 г. В газете «Эль Ориенте» от 1 сентября 1824 г. опубликована статья политиков, избравшихся на тот момент в Конгресс, которые сообщают о подготовке в Кадисе нового вторжения в Южную Америку². В пример веракрусцам приводится Симон Боливар (1783–1830), который не намерен покидать страну до тех пор, пока неза-

¹ “Diario de Veracruz”, no. 253 (December 8, 1822) // East View. – Mode of access: <https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=faa370ab-0a3b-41f1-89aed01247edfcb0> (accessed: 30.09.2024).

² “El Oriente”, no. 1 (September 1, 1824) // East View. – Mode of access: <https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=oren18240901-01.1.4&e=-----es-25--1--img-txIN-sobera-----> (accessed: 31.01.2025).

висимость не будет достигнута (*“asegurado enteramente su independencia”*).

В схожих значениях упоминаются понятия «независимость» и «освобождение». Например, в выпуске «Эль Ориенте» от 8 сентября 1824 г., в разделе международных новостей описываются отношения между бывшими испанскими колониями и метрополией. Согласно статье, Мадрид никогда не признает независимость какого-либо государства в Америке (*“la independencia de ningun estado de America”*)¹. При этом если суверенитет обычно относится к конкретному штату (Веракрус / Тамаулипас), независимость и освобождение оказываются шире. Слово «независимость» употребляется и по отношению к Соединенным Штатам Центральной Америки, и к Испанской Америке, и к Северной и Южной Америке. Освобождение, хотя и встречается в рассмотренных источниках всего два раза, используется в следующих контекстах: «освобождение Америки» (*“la emancipación de Américas”*), «время их² освобождения» (*“la época de su emancipación”*)³.

Федеральная мексиканская конституция была ратифицирована уже 4 октября 1824 г. и в первом пункте установила свободу и независимость мексиканской нации от испанского правительства и любой другой державы⁴. После 1824 г. фокус сместился с внешнего суверенитета на внутренний. Если обратиться к исследованию К. Скиннера, понятие «state», как в испанском языке «estado», всегда означает «государство». Т. Гоббс в труде «О гражданине» (1646) заложил идею гражданского правления, заявив, что подданные скорее подчиняются государству (*state*), чем монарху [Гоббс, 1989, с. 331; Kalmo, Skinner, 2010, с. 26–47]. Следуя этой интерпретации, и Мексику, и отдельные штаты следует называть государством. В газетах суверенитет употребляется как прилагатель-

¹ “El Oriente”, no. 8 (September 8, 1824) // East View. – Mode of access: <https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=oren18240908-01.1.3&e=-----es-25--1--img-txIN-sobera-----> (accessed: 07.08.2024).

² Мексики и всей Испанской Америки.

³ “El Oriente”, no. 17 (September 17, 1824) // East View. – Mode of access: <https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=oren18240917-01.1.2&e=-----es-25--1--img-txIN-sobera-----> (accessed: 09.08.2024); “El Censor”, no. 509 (January 3, 1830) // East View. – Mode of access: <https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=cena18300103-01.1.2&e=-----en-25--1--img-txIN-----> (accessed: 08.09.2024).

⁴ Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (1824) // UNAM. – Mode of access: <https://museodelasconstituciones.unam.mx/wp-content/uploads/2023/03/1824-Constitution-Federal.pdf> (accessed: 21.01.2025).

ное и чаще всего относится к Веракрусу и Тамаулипасу (например, «*el Estado libre y soberano de Veracruz*»)¹.

Другой не менее важной задачей для мексиканских политиков стало определение носителя суверенитета. В либеральных газетах источником суверенитета всегда является нация или народ. Паулина Очоа Эспехо предлагает разделить народ в Испанской Америке на *el pueblo* (един. число) и *los pueblos* (множ. число) [Ochoa Espejo, 2012, p. 1057]. Единый народ является носителем суверенитета в государстве и может быть заменен на «нацию» или «демос» (совокупность граждан государства). Концепция множественного народа возникла в результате смешения либеральных идей с особенностями испанского колониального режима – это королевства, области или города (*pueblos*), подчиняющиеся королевскому суверенитету, в которых народ составляют соседи (*vecinos*), участники социальной и политической жизни деревень и общин. Для нас важнее первая концепция, которая образовалась в годы войны за независимость.

В декабре 1822 г. в газете «Диарио де Веракрус» мы встречаем «Манифест мексиканской нации» Санта-Анны, в котором он отмечает, что нация должна восстановить свои власть и суверенитет (“*la nación debe recuperar su poder y soberanía*”)². В следующий раз понятие употребляется только в 1830 г. в преамбуле, подготовленной редакторами газеты «Эль Цензор», в контексте «суверенная воля нации» (“*a voluntad soberana de la nación*”)³. Часто встречаются похожие по значению фразы, такие как «политическая свобода нации» (“*la libertad política de la Nación*”), «суверенное имя народа» (“*a voluntad soberana de la nación*”), «свободная воля народа» (“*la voluntad libre del pueblo*”)⁴.

¹ See, for example, “El Censor”, no. 510 (January 4, 1830) // East View. – Mode of access: <https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=cena18300104-01.1.3&e=-----en-25--1--img-txIN-----> (accessed: 31.01.2025).

² “Diario de Veracruz”, no. 253 (December 8, 1822) // East View. – Mode of access: <https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=faa370ab-0a3b-41f1-89ae-d01247edfcb0> (accessed: 30.09.2024).

³ “El Censor”, no. 510 (January 4, 1830) // East View. – Mode of access: <https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=cena18300104-01.1.3&e=-----en-25--1--img-txIN-----> (accessed: 08.09.2024).

⁴ See, for example, “El Censor”, no. 512 (January 6, 1830) // East View. – Mode of access: <https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=cena18300106-01.1.3&e=-----en-25--1--img-txIN-----> (accessed: 31.01.2025).

Нации предстояло установить новый политический порядок, соответствующий республиканским принципам. Первые конституции в Латинской Америке были направлены на установление режимов, основанных на представительстве, и определение гражданских и политических свобод. Избирательное законодательство постоянно обновлялось: в XIX в. в Мексике было принято не менее 46 различных статуты и законов, регулирующих выборы. В стране существовала непрямая трехуровневая система представительства, которая была упрощена до двухуровневой Конституцией 1857 г. Согласно закону от 17 июня 1823 г., избирательным правом пользовались все трудоспособные мужчины от 18 лет, имущественный ценз не накладывался. Конституция 1836 г. закрепила всеобщее избирательное право для мужчин, единственным условием получения гражданства был возраст (20 лет для одиноких, 18 лет для женатых) и «честный» образ жизни [Rivera, 2012, p. 40–47].

Главным «представительным органом» суверенитета, отвечающим за законодательную власть, стал Конгресс. Он упоминается как «Суверенный конгресс» (*“El Soberano Congreso”*), «Суверенный генеральный конгресс» (*“El Soberano Congreso General”*), «Учредительный конгресс штата» (*“El Congreso constituyente del estado”*)¹. В статье Санта-Анны в «Диарио де Веракрус» от 8 декабря 1822 г. подчеркивается связь между республиканским правительством и суверенным мексиканским учредительным конгрессом (*“El Soberano Congreso constituyente megicano”*) как органом, ответственным за принятие справедливых решений и внедрение либеральной системы².

Таким образом, три ключевых значения суверенитета – государственный, национальный и представительный – нашли отражение в прессе того времени. Эти смыслы не были принципиально новыми и несильно отличались от европейского контекста. Трактовка суверенитета консерваторами, несмотря на сходства с либералами, носила другой, более традиционный характер.

¹ See, for example, “El Oriente”, no. 1213 (January 5, 1828) // East View. – Mode of access: <https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=oren18280105-01.1.1&e=-----25--1--img-txIN-----> (accessed: 01.09.2024).

² “Diario de Veracruz”, no. 253 (December 8, 1822) // East View. – Mode of access: <https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=faa370ab-0a3b-41f1-89ae-d01247edfcb0&page=3> (accessed: 30.09.2024).

Консервативная трактовка суверенитета

Газеты, основателями и редакторами которых выступали консерваторы, отличались, в первую очередь, трактовкой носителя суверенитета. В целом авторы поддерживали идеи независимости во внутренних и внешних делах, национального суверенитета, делегирования властных полномочий и даже федеративного устройства. Например, все колонтитулы «Газеты де Тамаулипас» и «Газеты де Тампико» содержали слова «федерация» и «свобода». Однако были свои особенности.

Консервативная фракция появилась в результате распространения масонства в правительстве, что отразилось в смене направленности «Эль Ориенте» в 1828 г. В выпуске от 5 сентября была опубликована заметка вице-губернатора Мехико Мануэля Р. Вераменди подполковнику Ж. Мануэлю Монтаньо, осуждающая действия масонов и указывающая на необходимость амнистии в «суверенных штатах для истинных федералистов» (*“estados soberanos para verdaderos federalistas”*)¹. Так, настоящими федералистами оказываются политики, не согласные с режимом президента Виктории. В ответе Монтаньи, представленном в том же номере, более подробно рассмотрена проблема лож: они создают угрозу независимости Мексики и противоречат Конституции, провозглашающей католицизм, поэтому Конгресс должен подготовить законодательную инициативу об искоренении всех видов тайных собраний в республике. Уже в этом отрывке прослеживается ключевая идея: католицизм и масонство несовместимы. В следующем выпуске публикуется план, рассматривающий противоречия каждого тайного собрания: оно порождает «злобу», особенно в либеральном правительстве (*“un gobierno liberal”*), где свобода прессы и публичность законодательных собраний не могут сочетаться с деятельностью тайных обществ². В этих номерах впервые встречается критика масонов и их определение как либералов.

В этих дискуссиях встает вопрос о том, кому изначально принадлежит суверенитет. Боден считал, что именно Бог передал

¹ “El Oriente”, no. 1213 (January 5, 1828) // East View. – Mode of access: <https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=oren18280105-01.1.1&e=-----25--1--img-txIN-----> (accessed: 20.08.2024).

² “El Oriente”, no. 1214 (January 6, 1828) // East View. – Mode of access: <https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=oren18280106-01.1.3&e=-----es-25--1--img-txIN-sobera-----> (accessed: 31.01.2025).

власть своему земному избраннику, а значит суверенитет всех государей произведен от Бога [Скиннер, 2018 б, с. 367]. Испаноамериканская революция и последующее оформление молодых республик во многом опиралось на схоластическую традицию, что отразилось, например, в закреплении католицизма в конституциях. Статьи в «Гасета де Тамаулипас» и «Гасета де Тампико» зачастую заканчивались фразой «Бог и свобода» (“*Dios y Libertad*”) или «Бог, свобода и федерация» (“*Dios, Libertad y Federación*”), что означало первенство религиозного и либерального принципов для мексиканцев¹. Схожий по смыслу посыл обнаруживается в речи революционера и позднее губернатора штата Мехико Рамона Лопеса Района (1775–1839): «...да здравствует религия, да здравствует генеральный председатель и да здравствует свобода!» (“*viva la religión, viva el Escmo. General presidente, y viva la libertad!*”)².

Любопытно, что в «Гасета де Тамаулипас» от 27 июня 1834 г. приводится фрагмент из зала заседаний штата Сакатеса от 9 июня 1824 г. о необходимости установления отношений между гражданскими и церковными властями, а также о том, что церковное имущество должно остаться нетронутым и никакая власть не может этому препятствовать³. Но в газетах встречается и критика папской власти. Например, в «Гасета де Тампико» за июль 1834 г. есть анонимная статья о римских понтификах (“*los soberanos pontífices*”): «...их ошибочная и абсурдная система главенства унижала императоров, королей и суверенов всех классов»⁴. По мнению автора, церковь, изначально демократический институт, установила аристократическую систему, что привело к ее падению.

При этом нельзя не заметить, что из дискурса не исчезло представление о короле как держателе суверенитета. «Суверен» (“*el soberano*”) употребляется по отношению к мексиканским пре-

¹ See, for example, “Gaceta de Tampico”, no. 283 (April 24, 1834) // East View. – Mode of access: <https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=gatt18340424-01.1.2&e=-----en-25--1--img-txIN-----> (accessed: 13.10.2024).

² “Gaceta de Tamaulipas”, no. 333 (September 5, 1834) // East View. – Mode of access: <https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=gact18340905-01.1.2&e=-----en-25--1--img-txIN-----> (accessed: 01.02.2025).

³ “Gaceta de Tamaulipas”, no. 303 (June 6, 1834) // East View. – Mode of access: <https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=gact18340627-01.1.1&e=-----en-25--1--img-txIN-----> (accessed: 01.02.2025).

⁴ “Gaceta de Tampico”, no. 283 (April 24, 1834). – Mode of access: <https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=gatt18340424-01.1.2&e=-----en-25--1--img-txIN-----> (accessed: 03.09.2024).

зидентам и европейским монархам¹. Даже в анонимной статье либеральной газеты «Эль Цензор», посвященной истории Нидерландов, есть фраза о том, что сейчас не время спорить с суверенами и нациями (“*no era tiempo de disputar con los soberanos y las naciones*”)².

Из-за продолжающейся политической и экономической нестабильности Санта-Анна, придя к власти в 1833 г., начал процесс формирования централизованного государства, и в 1835 г. была обнародована новая конституция. Форма государственного устройства (федерализм, унитаризм) была еще одной точкой расхождения между либералами и консерваторами, но это проявится позже.

Таким образом, консерваторы, руководящие вышеуказанными газетами, разделяли взгляды либералов, но расходились в вопросе церкви и источника суверенитета. В XIX в. власть повсеместно переходила в руки нации по закону естественного права, но носителями все также могли быть Бог и правитель.

Заключение

Исследование мексиканского суверенитета показывает, что в 1820–1830-е годы отсутствовала единая трактовка этого понятия. Консерваторы и либералы сходились в том, что он означал независимость во внутренних и внешних делах, переход верховной власти к нации, развитие представительных органов власти и разработку собственного законодательства. При этом мексиканская революция имела свою специфику, которая отразилась в консервативной прессе. Для католической Мексики было важно сохранить свою религию, и она утверждалась как единственно допустимая в Федеральной конституции и конституциях штатов. Если сама вера осталась непоколебимой, то ее институционализация и накопления церкви вызвали ожесточенные споры и спровоцировали политические перевороты. Особую роль в формировании мексиканского

¹ See, for example, “El Oriente”, no. 1214 (January 6, 1828) // East View. – Mode of access: <https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=oren18280106-01.1.3&e=-----es-25--1--img-txIN-sobera-----> (accessed: 01.02.2025).

² “El Censor”, no. 909 (February 8, 1831). – Mode of access: <https://gpa.eastview.com/crl/irmn/?a=d&d=cena18310208-01&e=-----en-25--1--img-txIN-----> (accessed: 12.09.2024).

либерализма сыграли масоны, которые способствовали появлению дискуссий об источнике суверенитета. Консерваторы утверждали, что он имеет божественное происхождение, а либералы, придерживаясь антиклерикальной политики, всегда подчеркивали, что суверенитет принадлежит нации.

Таким образом, конструирование мексиканского суверенитета в 1820–1830-е годы заключалось в уникальном сочетании местных, еще схоластических идей и общеевропейских интерпретаций того времени. Региональные газеты, редакторы которых разделяли противоположные политические взгляды, демонстрируют разницу между либеральным и консервативным прочтением суверенитета. Борьба между фракциями завершится только в Войне за реформу (1857–1861) победой либералов и изданием законов о национализации церковного имущества, гражданском браке и свободе вероисповедания. Эти изменения вызовут новые толкования суверенитета.

К.А. Turenko*

**The concept of sovereignty in post-colonial Mexico:
liberal and conservative interpretations**

Abstract. Sovereignty remains today a key political and legal principle of modern states. This article examines the development and features of the concept of sovereignty in the post-colonial Mexican state (1820–1830s). The work applies the methods of the British historian Quentin Skinner. The author analyzes the forms of the word “sovereignty” and its synonyms. The main source is the periodical press of that time, i.e. five newspapers that reflected both liberal and conservative sentiments. The research focuses on two northeastern Mexican states, Veracruz and Tamaulipas, demonstrating the traits of using the concept in port and border areas.

The main impetus for the formation of a new political language was the War of Independence of the Spanish colonies in America (1810–1826). Language has become an important tool for Mexicans to interpret the new political reality. The author concludes that in the 1820s and 1830s sovereignty was understood as independence in internal and external affairs, as well as the rule and legitimacy of the law. At the same time, liberals and conservatives had different interpretations of the source of sovereignty: if the former emphasized the supremacy of the nation's political power, the latter noted its divine origin. The combination of local (colonial) and European interpretations of the concept became a feature of Mexican discourse during this period.

Keywords: sovereignty; postcolonial Mexico; intellectual history; independence; nation-building; legitimacy.

* **Turenko Kristina**, HSE University (Moscow, Russia); University of Turin (Turin, Italy), e-mail: ka.saakova@hse.ru

For citation: Turenko K.A. The concept of sovereignty in post-colonial Mexico: liberal and conservative interpretations. *Political science (RU)*. 2025, N 2, P. 227–247. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.10>

References

- Adelman J. *Sovereignty and revolution in the Iberian Atlantic*. Princeton: Princeton university press, 2006, 409 p.
- Aguilar Sánchez M., Ortiz Escamilla J. (eds). *Historia general de Veracruz*. México: Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana, 2011, 744 p. DOI: <https://doi.org/10.25009/uv.2959.1768> (In Spain)
- Armitage D. *The Declaration of independence: A global history*. Cambridge: Harvard university press, 2007, 300 p. DOI: <https://doi.org/10.2307/j.ctv1ks0hkk>
- Benton L. *A search for sovereignty. Law and geography in European empires, 1400–1900*. New York: New York university press, 2010, 340 p. DOI: <https://doi.org/10.1017/cbo9780511988905>
- Bodin J. *Six books of the commonwealth. Book I*. Oxford: Basil Blackwell, 1955, 260 p.
- Booker J. The Veracruz merchant community in late Bourbon Mexico: a preliminary portrait, 1770–1810. *The Americas*. 1988, Vol. 45, N 2, P. 187–199. DOI: <https://doi.org/10.2307/1006784>
- Estadísticas históricas de México*. Editado por la Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Informática. México: INEGI, 1999, 892 p. (In Spain)
- Fernández Sebastián J. *Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750–1850*. Madrid: Centro de estudios políticos y constitucionales, 2009, Vol. 1, 1422 p. DOI: <https://doi.org/10.15446/achsc.v43n1.55081> (In Spain)
- Fernández Sebastián J. *Diccionario político y social del mundo iberoamericano. Soberanía*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, Vol. 2, 234 p. DOI: <https://doi.org/10.15446/achsc.v43n1.55081> (In Spain)
- Foucault M. “Society Must Be Defended” (*Michel Foucault lectures at the Collège de France*, 5). London: Picador, 2003, 336 p.
- Freeden M., Fernández-Sebastián J., Leonhard J. *In search of European liberalisms: concepts, languages, ideologies*. New York, Oxford: Berghahn Books, 2019, 346 p. DOI: <https://doi.org/10.2307/j.ctv1850h1f>
- Hale C. *Mexican liberalism in the Age of Mora, 1821–1853*. New Haven, London: Yale University Press, 1968, 347 p. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0022216X00004545>
- Hobbes T. *Works in 2 volumes*. Moscow: Mysl, 1989, Vol. 1, 622 p. (In Russ.)
- Ilyin M.V., Kudryashova I.V. (eds). *Sovereignty. Transformation of concepts and practices*. Moscow: MGIMO University, 2008, 228 p. (In Russ.)
- Kalmo H., Skinner Q. (eds). *Sovereignty in fragments. The past, present and future of a contested concept*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 269 p. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511675928>
- Kowalewski S., Saindon J. The spread of literacy in a Latin American peasant society: Oaxaca, Mexico, 1890 to 1980. *Comparative studies in society and history*. 1992, Vol. 34, N 1, P. 110–140. DOI: <https://doi.org/10.1017/S001041750001745X>

- Larin E.A. *Liberalism and conservatism in Latin American history*. Moscow: Nauka, 2018, 760 p. (In Russ.)
- Larin E.A. The counteraction of conservatives and liberals in the Ibero-American historiography of 19th century. *RUDN journal of world history*. 2009, N 3, P. 26–35. (In Russ.)
- Ochoa Espejo P. Paradoxes of popular sovereignty: a view from Spanish America. *The journal of politics*. 2012, Vol. 74, N 4, P. 1053–1065. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0022381612000503>
- Ortiz Peralta R. Against desperation: Manuel de Mier y Teran and the Northern border of Mexico, 1825–1832. *Latin American historical almanac*. 2018, N 20, P. 94–109. DOI: <https://doi.org/10.32608/2305-8773-2018-20-1-94-109> (In Russ.)
- Palacio Montiel C. *Pasado y presente. 220 años de prensa veracruzana (1795–2015)*. México: Universidad Veracruzana, Dirección Editorial, 2015, 260 p. DOI: <https://doi.org/10.25009/uv.352.141> (In Spain)
- Palacio Montiel C. Una mirada a la historia de la prensa en México desde las regiones. Un estudio comparativo (1792–1950). *HIB: revista de historia iberoamericana*. 2009, Vol. 2, N 1, P. 80–97. DOI: <https://doi.org/10.3232/RHI.2009.V2.N1.04> (In Spain)
- Palti E. *La invención de una legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX*. México: Fondo de la Cultura Económica, 2005, 544 p. (In Spain)
- Philpott D. *Revolutions in sovereignty: How ideas shaped modern international relations*. Princeton: Princeton university press, 2001, 352 p. DOI: <https://doi.org/10.1515/9781400824236>
- Rivera J. Beyond the restrictive consensus: elections in Mexico (1809–1847). *Revista de sociología e política*. 2012, N 42, P. 39–55. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-44782012000200005>
- Rodríguez J.E. (ed.). *Las nuevas naciones, España y México, 1800–1850*. Madrid: Fundación Mapfre Tavera, 2005, 388 p. (In Spain)
- Sabato H. Soberanía popular, ciudadanía y nación en Hispanoamérica. *Almanack Braziliense*. 2009, N 9, P. 23–40. (In Spain)
- Selivanova I.V. Conservatives and liberals in Mexico: the search for ways to develop the country. *Latin American historical almanac*. 2013, N 13, P. 60–77. (In Russ.)
- Selivanova I.V., Tsygankov A.S. The formation and development of constitutionalism in Mexico: from colony to independence (historical and legal aspect). *Latin American historical almanac*. 2019, N 21, P. 42–65. DOI: <https://doi.org/10.32608/2305-8773-2019-21-1-42-65> (In Russ.)
- Sieyès E. *Political writings: including the debate between Sieyès and Tom Paine in 1791*. Indianapolis: Hackett Publishing Company Inc., 2003, 256 p.
- Skinner Q. Language and political changes. *Logos*. 2005, Vol. 48, N 3, P. 143–152. (In Russ.)
- Skinner Q. *The foundations of modern political thought*. Moscow: PH “Delo” RANEPa, 2018 a, Vol. 1, 464 p. (In Russ.)
- Skinner Q. *The foundations of modern political thought*. Moscow: PH “Delo” RANEPa, 2018 b, Vol. 2, 568 p. (In Russ.)
- Torres L., Castañeda M. *El periodismo en México. 500 años de Historia*. México: EDAMEX, 1995, 372 p. (In Spain)

- Valerio-Jiménez O. Neglected citizens and willing traders: The Villas del Norte (Tamaulipas) in Mexico's Northern borderlands, 1749–1846. *Estudios Mexicanos*. 2002, Vol. 18, N 1, P. 251–296. DOI: <https://doi.org/10.1525/msem.2002.18.2.251>
- Vaughan M. Primary education and literacy in nineteenth-century Mexico: Research trends, 1968–1988. *Latin American research review*. 1990, Vol. 25, N 1, P. 31–66. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0023879100023190>
- Weber D. *The Mexican frontier, 1821–1846. The American Southwest under Mexico*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1997, 416 p.

Литература на русском языке

- Гоббс Т. Сочинения: в 2 томах. – М.: Мысль, 1989, Т. 1. – 622 с.
- Ларин Е.А. Противоборство либералов и консерваторов в латиноамериканской историографии XIX века // Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история. – 2009. – № 3. – С. 26–35.
- Либерализм и консерватизм в латиноамериканской истории / отв. ред. Е.А. Ларин. – М.: Наука, 2018. – 760 с.
- Ортис Перальта Р. В борьбе с отчаянием: Мануэль де Миер-и-Теран и северная граница Мексики, 1825–1832 // Латиноамериканский исторический альманах. – 2018. – № 20. – С. 94–109. – DOI: <https://doi.org/10.32608/2305-8773-2018-20-1-94-109>
- Селиванова И.В. Консерваторы и либералы в Мексике: поиски путей развития страны // Латиноамериканский исторический альманах. – 2013. – № 13. – С. 60–77.
- Селиванова И.В., Цыганков А.С. Становление и развитие конституционализма в Мексике: от колонии к независимости (историко-правовой аспект) // Латиноамериканский исторический альманах. – 2019. – № 21. – С. 42–65. – DOI: <https://doi.org/10.32608/2305-8773-2019-21-1-42-65>
- Скиннер К. Истоки современной политической мысли: в 2 т. / пер. с англ. А.А. Олейникова. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2018 а. – Т. 1. – 464 с.
- Скиннер К. Истоки современной политической мысли: в 2 т. / пер. с англ. А.А. Яковлева. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2018 б. – Т. 2. – 568 с.
- Скиннер К. Язык и политические изменения // Логос. – 2005. – № 3 (48). – С. 143–152.
- Суверенитет. Трансформация понятий и практик / под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. – М.: МГИМО-Университет, 2008. – 228 с.

С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

В.С. АВДОНИН *

**МЕТОДОЛОГИЯ КОНТЕКСТУАЛИЗМА,
ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ**

Рец. на кн.: Кембриджская школа. Теория и практика интеллектуальной истории / сост. Т. Атнашев, М. Велижев. – 2-е изд. – М.: Новое литературное обозрение, 2023. – 632 с. (Серия «Интеллектуальная история»)

Для цитирования: Авдонин В.С. Методология контекстуализма, ее достижения и проблемы (Рецензия) // Политическая наука – 2025. – № 2. – С. 248–257. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.11>

Солидный том «Кембриджская школа. Теория и практика интеллектуальной истории», выпущенный вторым¹ изданием в 2023 г., является на сегодняшний день, пожалуй, самой обстоятельной презентацией в русскоязычном пространстве социогуманитарных наук того, что в западной науке давно получило название «Кембриджской школы интеллектуальной истории». О ней, разумеется, писали и у нас, публиковались труды ее основателей², чувствовалось ее влияние, находились последователи, но столь

* **Авдонин Владимир Сергеевич**, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник, Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН (Москва, Россия), e-mail: avdoninvla@mail.ru

DOI: 10.31249/poln/2025.02.12

¹ Первое издание: Кембриджская школа. Теория и практика интеллектуальной истории. – М.: НЛО, 2018.

² См., например: Скиннер К. Истоки современной политической мысли: в 2 томах: том 1. Эпоха Ренессанса; том 2. Эпоха Реформации. – М.: Дело, 2018.

яркого и всестороннего представления этого феномена, как в рецензируемом томе, в нашей литературе ранее не встречалось. Об успешной реализации замысла фактически говорит и выход второго издания, обусловленного повышенным спросом и вниманием к первому¹.

Вспоминается, как несколько лет назад, делая доклад о методологии «истории понятий» (Begriffsgeschichte) Рейнхарда Козеллека (тоже не очень известной у нас) в одной академической аудитории, автор получил вопрос одного молодого коллеги: «А как эта методология соотносится с методологией Кембриджской школы?». Мой ответ тогда, увы, получился весьма кратким и поверхностным. Теперь же, после знакомства с представленной работой, он, вероятно, мог бы быть значительно более точным и всесторонним. Но об этом ниже.

Авторы и составители сборника – Тимур Атнашев и Михаил Велижев – уже во вводной статье (с. 7–52) касаются трех его основных тем: представление главных авторов школы (Квентина Скиннера и Джона Покока) и ее институционализация; исследовательская методология школы; рецепция ее программы в исследованиях отечественной политической мысли. Особый интерес к методологии здесь не случаен, так как именно она, с одной стороны, относится к несомненным достижениям Кембриджской школы, позволившим создать интереснейшие исследования политической мысли раннего европейского Модерна, с другой, – вызывает полемику и разнообразные критические замечания. Понятно, что в книге главный акцент сделан на достижениях, но и о критике в ней не забыто (раздел «Полемика и критика: вокруг Кембриджской школы»), тем более что сами авторы школы часто выстраивали свои методологические объяснения в виде ответов на критику.

Одним из достижений Кембриджской школы, вероятно, можно считать глубину философской проработки исторической методологии, что обширно представлено в материалах сборника. Главные представители школы выступают не только как историки политической мысли определенного периода, но и как авторы философской методологии исторического познания или, более конкретно, – познания «интеллектуальной истории» или истории идей. В материалах сборника показано, что в философском плане они опираются преимущественно на *лингвистическую ветвь* аналитической философии. В этом течении (Дж. Остин, Дж. Серль,

¹ См. рецензии: [Павлов, 2018; Белявский, 2020].

П. Стросон, и др.), которое приобрело популярность в 50–70-е годы XX в., были пересмотрены некоторые идеи более раннего этапа аналитической философии (30-е–50-е годы), известного под именем «логического позитивизма», о котором в сборнике, впрочем, не сказано почти ничего. Хотя сам по себе этот сдвиг или «лингвистический поворот» в аналитической философии значим и мог бы быть предметом более пристального интереса.

На новом этапе в аналитической философии акцент переносится с формальных, логико-семантических и логико-синтаксических свойств высказываний на анализ прагматики языка высказываний, на их коммуникативные и конвенциональные свойства. Это способствовало более тесному сближению аналитической философии с лингвистикой и обновлению идей в области философии языка. Среди авторов этого направления, влиявших на Кембриджскую школу, особая роль принадлежит Дж. Остину с его теорией речевых актов, что ярко отражено в публикациях К.Скиннера, представленных в сборнике. «Иллокутивные» речевые акты (высказывания с намерением) Остина открывают для Скиннера обширное поле анализа «иллокутивных сил» (намерений действия) в работах политических мыслителей. А в материалах Покока хорошо прослеживается связь с лингвистическими теориями, в частности с теорией языка Ф. Де Соссюра (его различием «языка» и «речи»), что открывает путь к исследованию различных языковых «конвенций» и «дискурсов». Таким образом, сборник дает подробное представление о том, что обращение к прагматике языка и ее возможностям исследования лингвистическими, филологическими и логико-философскими методами, связанными с традициями аналитической философии, было для Кембриджской школы важным условием разработки методологии исследования истории политических идей.

Другим компонентом является собственно историческая методология, которая рассматривает изменения политических идей во времени. Здесь влияния, отмечаемые в сборнике, тоже имели место, хотя для формирования собственного подхода они имели, скорее, вспомогательное значение, как, например, идеи М. Фуко о взаимосвязи знания и власти или методы английского историка и философа Р.Дж. Коллингвуда, касающиеся правильной постановки исторических вопросов для извлечения из истории правильных ответов и др. Но главное, что привнесли в методологию изучения истории идей основатели Кембриджской школы – это оригинальная разработка *контекстуализма*, что неоднократно демонстрируется в книге. В методологическом плане контекстуализм означает

преобладание контекста над «текстом» в исторических объяснениях и реконструкциях. Применительно к истории идей это предполагает приоритетное внимание к разнообразным условиям / контекстам, в которых функционировали тексты. Также читатели сборника могут получить достаточно полное представление о конкретных особенностях контекстуализма Кембриджской школы.

Среди них особенно подчеркивается контекст действенности текста, текста как действия, что может быть обеспечено через исследование и реконструкцию авторских замыслов и намерений, вложенных в текст. Не текст как таковой, а вложенные в него намерения автора, обладающие «иллокутивной силой», делают текст исторически действенным. Эти намерения можно реконструировать и понять, учитывая личность автора, а также контекст, в котором действует автор. И, прежде всего, это «идеологический» контекст или контекст языковых конвенций и «идеологических нарративов», в рамках которых в данную эпоху было принято говорить об обществе, истории и политике, и, далее, – это контекст самой практической политической жизни общества данной эпохи, с ее проблемами и конфликтами. Как все это воплощается в исследовательской практике, подробно излагается в публикациях Джеймса Талли о Скиннере (с. 218–248), а также в методологических текстах самого Скиннера и Дж. Покока (с. 53–141; с. 142–217).

К достоинствам сборника можно отнести и публикации, в которых представлен достаточно широкий спектр критических тезисов и соображений, выдвинутых в адрес методологии Кембриджской школы. В «Ответе моим критикам» (с. 247–346) Скиннер привел немало примеров этой критики, в частности, такие характеристики его позиций в области интерпретации суждений и трактовки речевых актов, как «консервативный релятивизм», «порочный релятивизм» или релятивизм как таковой (с. 287–290). Одной из проблем, отмеченных критиками, является слабое или неопределенное выражение метаисторического критерия исследования и оценки политической мысли прошлого, что ведет к чрезмерному релятивизму и анахронизму, излишнему погружению в исторические и филологические контексты и ослаблению ее связей со структурами социальной истории и с современностью.

Естественно, что и Скиннер, и Покок не соглашались с этой критикой, приводя многочисленные доводы в защиту своего подхода. Читатель найдет их в изобилии в сборнике. Отметим, например, три тезиса Джеймса Талли о работах Скиннера. В первом из них он аргументирует связь исторической прагматики с современ-

ной широко понимаемой «юридической идеологией», впитавшей различные политические идеологии Модерна, во втором – обосновывает отличия этой прагматики от релятивизма и субъективизма, в третьем – указывает на связь истории политической мысли, представленной Скиннером, со структурными сдвигами в системах политической власти, вызванными, прежде всего, войнами и вооруженными конфликтами в этот период (с. 232–246).

Тем не менее в сборнике также представлены материалы о тех средствах, которые, по мнению некоторых исследователей, могли бы помочь в решении методологических проблем исторического познания, которые вменялись Кембриджской школе. Одним из таких решений предлагается сближение со сходной по тематике, но несколько отличной по методологии, немецкой «школой» истории понятий, или *Begriffsgeschichte* (BG). На это обращено внимание в статьях Мелвина Рихтера и Мартина ван Гелдерена, что делает проработку критики более полной и позволяет читателю лучше понять характер разбираемых проблем.

Оба подхода подчеркивают роль и действенность идей в переходе европейских обществ от Средневековья к раннему Модерну, а также важность их аутентичного понимания для своего времени. При этом для Кембриджской школы главным способом является исследование действенного применения идей в аутентичных исторических контекстах, тогда как у *Begriffsgeschichte*, в лице основного автора Рейнхарда Козеллека, ключевым аспектом является осмысление *темпоральности* истории понятий (прослеживание сохранения, изменения и инновации их значений). Козеллек предложил метаисторическую схему, предшествующую истории понятий и включающую категории «антропологической рефлексии»: «пространство опыта» (*Erfahrungsraum*) и «горизонт ожидания» (*Erwartungshorizont*) [Koselleck, 1979, S. 349–375]. Благодаря этому, в исследовании истории идей возможен познавательный эффект «герменевтического круга» или «одновременности неодновременного» (*Gleichezeitigkeit des Ungleichzeitigen*) между историческим выражением понятий, значения которых мы находим в исторических и филологических документах, и интерпретирующими инструментальными понятиями историка. В этой связи важным для *Begriffsgeschichte* стало открытие так называемого *Standort* или места историописания, требующего учета в исследовании истории идей интерпретирующих понятий самого историка. Это также означает постоянное пополнение наших знаний об идеях прошлого, зависящее от развития средств исторической реф-

лекции [Koselleck, 1979, S. 185–192]. Козеллек также выдвинул идею «историки» (Historik) – особой исторической дисциплины, в рамках которой указанные аспекты исторического познания могли бы специально изучаться¹.

Несмотря на некоторый интерес к подходам Begriffsgeschichte, основные авторы Кембриджской школы их не принимали, оставаясь на позициях контекстуализма и недоверия к метаисторическим категоризациям. Скиннер весьма сдержанно оценил многотомное энциклопедическое издание «Geschichtliche Grundbegriffe», подготовленное Козеллеком и его соавторами [Brunner, Conze, Koselleck, 2004]. Скиннер указывал на трудности попыток изолированного рассмотрения отдельных понятий, вне связи с контекстом, хотя и отмечал некоторые параллели со своим подходом.

В то же время вопросы к контекстуализму самой Кембриджской школы у критиков сохранялись. Неопределенность критериев установления намерений авторов исторических текстов и выделения «идеологических конвенций» и «дискурсов», в рамках которых они действовали, вносили в методологию элементы неопределенности и релятивизма. Отмечалась также излишняя ангажированность представителей школы теми теориями языка, на которые они опирались. На этом фоне Begriffsgeschichte демонстрировала более широкий и гибкий подход к философии языка и методологии исторического познания в целом, что позволило ей расширять свой подход на область разнообразных символических явлений (визуальных изображений, праздников, памятных мест и др.).

В завершающей части книги читатель может познакомиться с интересной подборкой статей российских авторов по темам отечественной интеллектуальной истории, вдохновленных методологической программой Кембриджской школы. Это, несомненно, призвано способствовать повышению интереса к ней в нашей стране, тем более что ее контекстуализм был дополнен методологической категорией «*режима публичности*», введенной в российские исследования отечественными авторами².

В подборку «История политических языков в России» включены шесть статей, в центре которых находится широкий контекстуальный анализ некоторых известных документов и произведений из истории российской политической мысли XVIII–XX вв.

¹ Подробнее см.: [Koselleck, Mommsen, Rüsen, 1977; Rüsen, 2018].

² Подробнее о «режиме публичности» см.: [Атнашев, Велижев, 2018; Белявский, 2020].

В статьях, посвященных XVIII в., рассматриваются становление в России того периода способов осмысления («политических языков») легитимации монархической власти (С. Польский) и частной собственности (Е. Правилова). Авторы ставят задачу исследовать формирование «рационального политического языка», который постепенно оттеснял в официальных текстах и кругах образованной политической элиты «публичные» языки предшествующей эпохи: в одном случае язык религиозной легитимации монархической власти, в другом – запутанный и сложный язык представлений о собственности феодальной эпохи. Эти материалы дают возможность обогатить наши знания об интеллектуальной истории эпохи «просвещенного абсолютизма».

Две статьи посвящены истории отечественной политической мысли XIX в. В статье М. Велижева дана трактовка первого из «Философических писем» Петра Чаадаева, написанного в 1829 г. и впервые опубликованного в 1836 г. На основе подробного анализа контекста автор связывает язык письма с течениями консервативной политической мысли послереволюционной Франции (Ж. де Местр, Л. де Бональд и др.), представляя Чаадаева как консервативного мыслителя, вдохновленного авторитетными в тот период идеями духовного и политического возрождения Европы под эгидой Священного союза. Но публикация вызывает скандал и санкции властей. Автор объясняет такую реакцию изменением политического и культурного контекста и режима публичности. Полемический скепсис Чаадаева относительно включения России в европейский «консервативный ренессанс» в силу ее отсталости в религиозной, культурной и политической сферах, который ранее использовался как инструмент для побуждения к действиям в рамках старого публичного политического языка, в новом контексте, где доминировали идеи самобытности России, становится неприемлемым и воспринимается как почти революционный, что вызывает санкции. Автор демонстрирует, как изменения контекста (режима публичности) предопределили восприятие текста и как в дальнейшем этот текст послужил «кристаллизацией» новых публичных политических языков (языки «западников» и «славянофилов»).

Статья Т. Борисова посвящена процессу Веры Засулич 1878 г., в котором ключевую роль сыграл известный юрист А. Кони, для оправдания обвиняемой использовавший аргумент о необходимой самообороне. Как отмечает автор, за 12 лет до процесса Кони написал статью «О необходимой обороне», в которой доказывал правовую необходимость граждан защищаться от произвола чи-

новников. Автор считает это примером влияния языка юридической науки на публичный политический дискурс. В статье отмечается, что процесс стал важной вехой легитимации в публичном языке прав «общества» в пореформенной России, что активно поддерживалась сообществом юристов.

Завершается сборник двумя статьями об отечественной истории XX в. Впрочем, первая из них (К. Бугров) в значительной степени посвящена особенностям политической концепции «неоримского республиканизма», которой придерживались Скиннер, Покок и их сторонники, а также анализу «сложного и чрезвычайно интересного развития республиканской интеллектуальной парадигмы в России». Автор предлагает рассматривать российский республиканизм сквозь призму восходящего к греко-римской Античности «гlossария добродетели / коррупции», исследованного Пококом на европейском материале. В последней части статьи автор затрагивает политические идеи Л. Троцкого и Н. Бухарина 20–30-х годов XX в. Прослеживая метаморфозы республиканского дискурса, включающие периоды оживления и упадка, автор приходит к выводу, что с приходом большевистской эры республиканский гlossарий стал переосмысливаться применительно к революции. Формула Троцкого 30-х годов о «преданной революции» оспаривалась, как отмечает автор, Бухариным, который утверждал, что «беззаветная преданность идеалам революции» большевистского руководства (большевистская «добродетель») является гарантией продолжения революционных преобразований. (Сам Бухарин, как известно, в дальнейшем был казнен по обвинению в «предательстве».)

Последняя статья Т. Атнашева посвящена книге главного архитектора российских реформ конца XX в. Егора Гайдара «Государство и эволюция», написанной в 1994 г. Автор отмечает, что в предметно-тематическом плане это произведение можно квалифицировать как работу по философии истории, написанную на двух «политических языках» – на языке (пост)марксистского исторического детерминизма и «языке перестройки», содержащем возможность исторического выбора для России. Имеется в виду выбор между «номенклатурным капитализмом», понятым как часть цикла «азиатского способа производства», и возможностью выхода из него к «западной цивилизации». Автор полагает, что в целом язык детерминизма в работе преобладает, а «перестроечный» язык исторического выбора выглядит менее обоснованным, что свидетельствует о недостаточной уверенности или «отрефлексирован-

ности» этой позиции самим Гайдаром. Сегодня, впрочем, мы видим, что его сомнения в историческом выборе России были не случайны.

Таким образом, во всех статьях сборника на российскую тематику хорошо заметны приоритеты кембриджской программы исследований – внимание к намерениям и действиям авторов в рамках исторически складывающихся и изменяющихся политических языков / «идеологических дискурсов», а также существенных для России «режимов публичности». Они, несомненно, способны внести весомый вклад в наше историческое познание этой области и ее специфики в России. В то же время надо помнить и о ряде проблем этого подхода, о которых было сказано выше.

V.S. Avdonin*

**Methodology of contextualism, its achievements and problems
(Review)**

For citation: Avdonin V.S. Methodology of contextualism, its achievements and problems (Review). *Political science (RU)*. 2025, N 2, P. 248–257. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.11>

References

- Atnashev T., Velizhev M. (eds). *Cambridge School: theory and practice of intellectual history*. Moscow: New Literary Review, 2018, 632 p. (In Russ.)
- Atnashev T., Velizhev M. History of political languages in Russia: towards the methodology of the research program. *Philosophy: Journal of the higher school of economics*. 2018, Vol. 2, N 3, P. 107–137. (In Russ.)
- Belyavsky B.A. Cambridge school: import and modernization of the method of historical analysis: review of the collection “Cambridge School: theory and practice of intellectual history”. *Philosophy. Journal of the higher school of economics*. 2020, Vol. 4, N 3, P. 217–229. (In Russ.)
- Brunner O., Conze W., Koselleck R. (eds). *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch sozialen Sprache in Deutschland*. Stuttgart: Klett-Cotta, 2004, Vol. 1–8, 9000 p. (In German)
- Koselleck R. *Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt: Suhrkamp, 1979, 389 S. (In German)
- Koselleck R., Mommsen W., Rüsen J. (eds). *Beiträge zur Historik. Bd. 1: Objektivität und Parteilichkeit in der Geschichtswissenschaft*. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag, 1977, 495 S. (In German)

* **Avdonin Vladimir**, INION (Moscow, Russia), e-mail: avdoninvla@mail.ru

- Pavlov A.V. Adventures of method: Cambridge School (of political thought) in contexts. *Logos*. 2018, N 4, P. 263–303. (In Russ.)
- Rüsen J. *Grundzüge einer Historik*. Bochum, 2018, 369 S. (In German)

Литература на русском языке

- Атнашев Т., Велижев М. История политических языков в России: к методологии исследовательской программы // *Философия. Журнал Высшей школы экономики*. – 2018. – Т. 2, № 3. – С. 107–137.
- Белявский Б.А. Кембриджская школа: импорт и модернизация метода анализа истории: рецензия на сборник «Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории» // *Философия. Журнал Высшей школы экономики*. – 2020. – Т. 4, № 3. – С. 217–229.
- Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории / под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. – М.: Новое литературное обозрение, 2018. – 632 с.
- Павлов А.В. Приключения метода: Кембриджская школа (политической мысли) в контекстах // *Логос*. – 2018. – № 4. – С. 263–303.

О.Ю. МАЛИНОВА*

**ГЕНЕАЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЕЛИЧИЯ,
ИЛИ ПОЧЕМУ *ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА* –
НЕ КАЛЬКА *GREAT POWER***

Рец. на кн.: Решетников А. Погоня за величием: тысячелетний диалог России с Западом / А. Решетников; пер. с англ. Ю. Игнатъевой. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – 384 с.

Для цитирования: Малинова О.Ю. Генеалогия политического величия, или Почему великая держава – не калька *great power* (Рецензия) // Политическая наука. – 2025. – № 2. – С. 258–268. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.12>

Монография доцента кафедры международных отношений Вебстерского университета в Вене Анатолия Решетникова, посвященная истории понятия *великая держава*, почти одновременно вышла в издательстве Мичиганского университета на английском и в русском переводе в издательстве «Новое литературное обозрение». История диалога России с Западом не раз становилась предметом конструктивистских исследований международных отношений. Ее анализировали с точки зрения взаимоотношений со Значимым Другим, конструирования коллективных идентичностей и формирования национальных интересов [Neumann, 1999; 2017; Нойманн, 2004; Малинова, 2009; Морозов, 2009; Clunan, 2009], на ее материале развивали теории о роли идеационных и эмоцио-

* **Малинова Ольга Юрьевна**, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела политической науки, Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН (Москва, Россия), e-mail: omalinova@mail.ru

нальных факторов в международных отношениях [English, 2000; Tsygankov, 2012; Malinova, 2014], ее пытались концептуализировать в логике постколониального подхода [Morozov, 2015] и др. Работа Решетникова продолжает этот ряд, фокусируясь на истории понятия, игравшего существенную роль во взаимоотношениях России и Запада. Как поясняет автор, его анализ опирается на три взаимосвязанные школы мысли: немецкую школу истории понятий (*Begriffsgeschichte*), Кембриджскую школу интеллектуальной истории и зародившуюся во Франции критическую историю современности [Решетников, 2024, с. 65–66]. Руководствуясь принципами, которые он считает общими для этих направлений, но не углубляясь в детали их методологий, Решетников реконструирует генеалогию современного российского дискурса о великодержавии, начиная с самых ранних упоминаний этого и других родственных ему понятий. При этом автор специально подчеркивает, что его работа не является историческим трудом (с. 14), и это важная оговорка, поскольку специалистам по интеллектуальной истории его исследование действительно может показаться недостаточно основательным. Скорее, это попытка политолога-международника разобраться в современных дискурсивных проблемах, прослеживая их генеалогию.

Слова могут менять значения, а значения – облекаться в новые слова. И то и другое не только отражает, но и опосредует изменения в социальной жизни, влияя на то, каким образом осмысливаются новые обстоятельства. Ибо слова не нейтральны, они обременены грузом накопленных значений. По мысли Решетникова, в некоторых случаях это порождает эффект колеи, который можно выявить, реконструируя дискурсивную генеалогию (с. 68). Прослеживая историю понятий, описывавших самовосприятие России как великой державы, он пытается объяснить, почему великодержавная риторика так важна для нее сегодня и почему эта риторика вызывает непонимание на Западе.

Решетников рассматривает современные российские представления о великодержавии как продукт исторической эволюции, которая происходила в контексте международных и межкультурных взаимодействий с европейскими соседями. Он выделяет в историческом репертуаре дискурсивных проявлений политического величия и превосходства четыре генеалогически связанных модуля, которые конкурировали и сменяли друг друга, по очереди претендуя на дискурсивную гегемонию. Хотя эти модули были характерны и для России, и для ее западных соседей, это не всегда обеспе-

чивало общность понимания величия и превосходства, поскольку эти модусы наполнялись разным содержанием в силу различий культурно-религиозных традиций. Описывая историю понятия *великая держава* через формирование, смену, трансформацию и гибридизацию модусов, Решетников фокусируется на моментах семантических сдвигов.

В качестве отправной точки его анализа выступает модус, именуемый *абсолютным величием*, которому посвящена вторая глава. Данный модус опирался на христианскую картину мира и утверждал величие политической власти благодаря ее прямой связи с властью божественной. Любопытно, что, по заключению автора, изначально слово *держава* не нуждалось в прилагательном. В источниках XI–XIII вв. оно часто представлялось как божественный атрибут, применительно же к земной жизни могло обозначать власть князя или правителя, но никогда – государство как институт. Великий князь или княгиня представлялись передаточным звеном в осуществлении власти Бога над людьми (с. 75–77). Таким образом, «идея политического порядка в русском политическом дискурсе всегда была связана с величием, понимаемым в трансцендентных терминах» (с. 70). Словосочетание «великая держава» – плеоназм, появившийся в источниках XV–XVI вв. По мнению Решетникова, новое выражение отражало дискурсивный сдвиг, который стал защитной реакцией на трансформацию политических режимов в ряде европейских государств: русские монархи продолжали «держаться за идею о том, что верховная исполнительная власть должна быть безраздельной, а ее отношения с подданными характеризуются скорее принципом *владения*, а не *управления*» (с. 325). Примечательно, что при этом они не искали явного признания у других европейских правителей: величие Русского государства воспринималось в XV–XVI вв. как непреложный факт, а не как вопрос международного консенсуса, поскольку абсолютное величие не требует внешней валидации.

Потребность в таковой возникала постепенно в результате стечения разных обстоятельств – трансформации понимания верховной власти в Смутное время, церковного раскола, а также изменения представлений о власти в европейских дискурсах. Трансформация дискурса о политическом величии завершилась в период правления Петра I, когда сформировался модус, который Решетников называет *театральным*. Ему посвящена третья глава. Хотя этот модус не был исключительно российским явлением (с. 163, 328), логику его формирования автор наиболее последовательно

описывает применительно к отечественному контексту, придавая решающее значение отношениям государства и церкви. Согласно его интерпретации, в период гегемонии абсолютного модуса величия картина политического устройства была близка к византийской идее симфонии: «...царь и патриарх делили между собой верховную власть. Один непосредственно отправлял верховную власть, а другой был ее источником и символом. Пока такое положение вещей сохранялось, российский политический режим воспринимался как великий или *величественный*, независимо от сторонних подтверждений» (с. 326). В результате подчинения церкви государственной власти при Петре I эта конструкция распалась, и трансцендентное величие, приписываемое государству, превратилось в персонифицированное *возвеличивание* монарха.

Типологически театральный модус политического величия, не имея под собой эссенциалистских оснований (величие как непреложный атрибут), реализуется через решительные действия и убедительные спектакли, дополненные восхвалениями и пышностью. Его валидация зависит от результативности политических и / или военных действий и убедительности сопровождающих их зрелищ (с. 48). Расцвет этого модуса политического величия Решетников связывает с «политическим импрессионизмом» Екатерины II, а его кризис – с постепенным включением России в европейское общество государств и управляющий им клуб великих держав, происходившим параллельно с переосмыслением сути политического величия в Европе (с. 164). На мой взгляд, эта часть анализа оставляет некоторые вопросы. Во-первых, объясняя формирование этого модуса, Решетников делает основной упор на Россию, хотя и признает, что «переход от абсолютного понимания политического величия к театральному можно рассматривать как общеевропейскую тенденцию» (с. 171). Относительный успех «политического импрессионизма» на внешних аренах был, по-видимому, как-то связан с разделяемыми представлениями о политическом величии. Не случайно, ссылаясь на исследования И. Нойманна, Решетников отмечает, что в XVIII в. Россия частично добилась признания своего великодержавного статуса в основном через войну и подражание. Интересно было бы обсудить, каким образом эволюция идеи политического величия в западноевропейских дискурсах этому способствовала или препятствовала. Во-вторых, с исторической точки зрения объяснения подъема и кризиса театрального модуса величия не так убедительны, как рассуждения автора о других модусах. Очевидно, что «решительные действия и убедительные

спектакли» играли важную роль в утверждении политического величия и прежде, и позднее. В российском контексте это хорошо показывает обстоятельное исследование Ричарда Уортмана, изучившего эволюцию «сценариев власти» в Российской империи от Петра I до Николая II. Оно наглядно демонстрирует, что театральное величие, во-первых, играло существенную роль в репрезентации *имперской* власти на всех этапах существования Российской империи, и во-вторых, существенно эволюционировало под влиянием внешних и внутренних факторов [Wortman, 2006; Уортман, 2002]. Таким образом, театральное величие не столько уступает место новому модусу, который Решетников называет цивилизационным, сколько трансформируется, оставаясь его дополнением.

Цивилизационному модусу политического величия посвящены четвертая и пятая глава. Подобно театральному, этот модус требует внешней валидации, но таковая оказывается более сложной, поскольку опирается на сравнительную оценку различных свойств государств и политических факторов. Дискурсивный сдвиг, установивший гегемонию цивилизационного модуса величия, стал следствием укоренения нарратива о всемирно-историческом прогрессе, который конструировал и оправдывал международную иерархию, разделяющую народы на цивилизованные, варварские и дикие. Именно на этот нарратив опирался возникший в XIX в. институт великодержавного управления: великие державы взяли на себя ответственность за поддержание международного порядка и приобщение к цивилизации нецивилизованных народов (с.168–171). Случилось то, что когда-то хорошо описал И. Нойманн: правила игры, по которым оценивался Значимый Другой, менялись по мере того, как представляемая в роли «вечного ученика» Россия, казалось бы, уже была готова подтвердить, что выучила урок [Neumann, 1999, p. 111]. Политическое величие стало восприниматься как плод политической истории отдельных государств, а также их социально-экономических достижений, подтверждаемых статистикой.

Согласно Решетникову, получив признание в качестве европейской великой державы в результате победы над Наполеоном, Россия восприняла цивилизационный нарратив, хотя «он часто играл не в ее пользу» (с. 50). В результате она «попала в дискурсивную ловушку полупериферии, что выразилось в (1) претензиях на ведущую роль среди главных защитников цивилизованности и (2) болезненном осознании собственной отсталости по меркам недавно усвоенного цивилизационного стандарта» (с. 203). Ответом на этот вызов стали поиски альтернативных оснований политиче-

ской идентичности России в интеллектуальных дискуссиях середины XIX в. Подвергнув в пятой главе экспресс-анализу историю спора западников и славянофилов, теорию официальной народности С. Уварова, а также идеи А. Горчакова, С. Витте, П. Столыпина и П. Струве, автор приходит к выводу, что результатом их исканий стал «специфический синтез абсолютного и театрального величия, который превратился в мобилизующую идеологию для внутренней аудитории, сформулированную во внешнеполитических терминах» (с. 203).

Типология, использованная Решетниковым для генеалогического анализа, позволяет обнаружить точки соприкосновения между дискурсами разных интеллектуальных лагерей. Так, обнаруживается, что и западники, и славянофилы были эссенциалистами, т.е. в логике абсолютного модуса считали величие имманентным свойством России, хотя и интерпретировали его по-разному: для западников она по определению была *одним из* великих народов, для славянофилов – обладала уникальностью, предположительно имеющей вселенское значение. Даже принимая идею о соотносительности величия, требовавшую обосновывать притязания на него в соответствии с дискурсивно разделяемыми критериями, оппоненты продолжали апеллировать к тому, что считали непреложной сущностью России. Таким образом, российский ответ на сформировавшийся в других европейских странах цивилизационный модус оказался гибридным. Вместе с тем то обстоятельство, что противостояние, начавшееся в 1840-х годах полемикой славянофилов и западников, определяло поляризацию российского публичного дискурса до конца 1890-х годов [Malinova, 2014, p. 297–299], вряд ли позволяет говорить об однозначном «синтезе». Если рассматривать великодержавный дискурс как мобилизующую идеологию для внутренней аудитории, как это делает автор, то вплоть до революции 1917 г. этот дискурс оставался фрагментированным: в нем сосуществовали разные гибриды рассматриваемых модусов.

Ситуация радикально изменилась после 1917 г., когда место Советской России в международной системе и ее роль в мировой истории стали осмысливаться в соответствии с *социал-интернационалистическим* модусом политического величия. Ему посвящена шестая глава. Воспринятый российскими революционными партиями марксистский нарратив оспаривал цивилизационный модус политического величия: предполагалось, что международным порядком фактически управляют капиталистические классы и что институты великодержавного управления являются вспомога-

ными инструментами для урегулирования общих капиталистических интересов (с. 52–53). В этой логике тоже была своя шкала соотносительности, однако она определялась не международной иерархией, а уверенностью в конечной точке человеческого прогресса (с. 53). Как я когда-то попыталась показать, октябрь 1917 г. кардинально изменил систему координат, в которой определялась российская идентичность, и стимулировал пересмотр представлений о «соревновании» с Западным Другим не только в официальном дискурсе большевиков, но и в дискурсах эмиграции [Малинова, 2009, с. 27–83]. В исследовании Решетникова – иной фокус: оно сосредоточено на формировании социал-интернационалистического модуса величия и его эволюции. Но так же, как и исследователи, изучавшие конструирование идентичности Советской России, Решетников придает решающее значение необходимости выстраивать отношения с капиталистическим окружением и формированию того, что Дэвид Бранденбергер назвал сталинской «идеологией русоцентричного этатизма» [Brandenberger, 2002]. По мысли Решетникова, будучи «вынуждена принять участие в устоявшейся модели ведения международных дел», молодая Советская Россия обнаружила источник легитимации своего оппортунизма в «многовековой привычке приписывать России величие» (с. 266). Возвращение в советский политический дискурс «имперских и колонизаторских нарративов, на первый взгляд чуждый марксистскому интернационализму» (с. 271), он наглядно демонстрирует на примере сталинского исторического кинематографа.

К сожалению, сюжеты, связанные с победой во Второй мировой войне и превращением СССР в ядерную державу, очевидно важные для понимания современного великодержавного дискурса, остались за рамками анализа. Эта странная лакуна не обсуждается и не обосновывается. Закончив обсуждение конструирования величия в массовом искусстве, Решетников обращается к тому, каким образом преемники Сталина преодолевали дискурсивное напряжение, обусловленное созданным им «революционно-империалистическим гибридом» (с. 335). В отличие от предыдущих модусов социал-интернационалистическое понимание величия не разделялось на Западе. Было бы интересно посмотреть, как это отражалось на восприятии статуса СССР – лидера блока, противостоявшего НАТО – в период холодной войны, однако и этот сюжет в книге опущен.

В седьмой главе рассматривается дискурсивное взаимодействие России с Западом после распада Советского Союза. По мнению автора, ее положение оказалось во многом похожим на то,

которое Россия занимала до 1917 г.: она «вновь воспринималась как претендент на участие в международном концерте, основанном на нормативных универсалиях», но «обязанности и права этого претендента признавались лишь частично» (с. 314), что вызывало прежние фрустрации. Рассматривая внешнеполитический дискурс ельцинского периода, Решетников вполне убедительно доказывает, что вопреки расхожему мнению он не был лишен великодержавных амбиций (с. 314–316). Переходя же к путинскому периоду, констатирует, что «современный российский великодержавный дискурс представляет собой конгломерат различных дискурсивных модусов, одни из которых более влиятельны, чем другие» (с. 317).

Результатом является очевидный дисбаланс темпоральных проекций. По словам Решетникова, «российское величие (1) легитимизируется прошлым, которое давно и безвозвратно ушло; (2) проецируется в будущее, наступление которого призрачно и требует мобилизации в грандиозных, “великодержавных” масштабах, (3) остается преимущественно нереализованным в настоящем, поскольку креативность и антикризисное управление – это чрезвычайные меры, а не повседневная политическая рутина» (с. 318).

Проделанный Решетниковым анализ истории понятий, описывавших политическое величие, показывает, почему идея быть великой державой так важна для России: это не только вопрос международного статуса, но и основа мобилизующей идеологии, предлагающей воодушевляющую картину прошлого и будущего нации. Вместе с тем книга еще раз подтверждает вывод, к которому приходили и другие исследователи истории дискурсивных взаимодействий России и Запада: принимая гегемонистский дискурс, опирающийся на цивилизационный модус величия, Россия воспроизводит «когнитивный диссонанс, вызванный постоянным несоответствием между ее самовосприятием и амбициями в рамках усвоенного цивилизационного стандарта и международной иерархии, с одной стороны, и ее способностью заставить других воспринимать эти амбиции всерьез – с другой» (с. 344–345). Это обстоятельство является постоянным источником фрустрации, ressentimenta и онтологической небезопасности [Neumann, 2017, p. 188; Malinova, 2014, p. 302–303; Morozov, 2015, p. 65]. Представленный в книге анализ – полезный дополнительный аргумент в пользу этого вывода.

На мой взгляд, этот аргумент мог бы быть более убедительным, если бы автор уделил больше внимания параллельной исто-

рии иностранных понятий – этот принцип декларирован во введении, но слабо реализован, а также литературе, написанной историками – опора на нее позволила бы погрузить по необходимости фрагментарный анализ в надлежащий контекст. Но наиболее существенным пробелом представляется отсутствие анализа дискурса о великодержавии России в период Второй мировой войны и по ее итогам. Вряд ли можно понять современные перипетии дискурса о российском великодержавии, фокусируясь исключительно на эволюции официальных идеологем, использовавшихся для легитимации сотрудничества с капиталистическим миром.

Несмотря на эти недочеты, книга вполне успешно разрешает загадку, которой начинается введение. Реконструируя, с одной стороны, семантику концепта *great power* в современном политическом дискурсе и в исследованиях международных отношений, а с другой генеалогию самовосприятия России как *великой державы*, автор четко очерчивает пересечения и расхождения понятий, играющих столь важную роль в современном диалоге России с Западом. *Great power* – это не совсем то же самое, что *великая держава*. Хотя оба понятия имеют общее семантическое ядро, связанное с внешней политикой, уверенным международным положением и явным относительным превосходством, они не вполне эквивалентны, ибо для семантического репертуара *великой державы* не менее важны коннотации, связанные с темпоральной проекцией из прошлого в будущее. *Великая держава* – это «статус, якобы заработанный в ходе столетий российской государственности и одновременно являющийся целью ее текущего развития в формате *нормализованного чрезвычайного положения*» (с. 322). Этот важный с методологической точки зрения результат. Прodelанная Решетниковым реконструкция понятий помогает усовершенствовать понятийный аппарат, позволяя разводить понятия, не являющиеся полными синонимами. Вместе с тем она помогает лучше понимать вариации великодержавной риторики в российском политическом дискурсе, предоставляя инструментарий для различения генеалогических модусов.

O.Yu. Malinova*
Genealogy of political greatness,
or why *velikaia derzhava* is not a copycat of great power (Review)

For citation: Malinova O.Yu. Genealogy of political greatness, or why *velikaia derzhava* is not a copycat of great power (Review). *Political science (RU)*. 2025, N 2, P. 258–268. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.12>

References

- Brandenberger D. *National bolshevism. Stalinist mass culture and the formation of modern Russian national identity, 1931–1956*. Cambridge: Harvard university press, 2002, 375 p.
- Clunan A.L. *The social construction of Russia's resurgence. Aspirations, identity, and security interests*. Baltimore: John Hopkins university press, 2009, 336 p.
- English R.D. *Russia and the idea of the West. Gorbachev, intellectuals, and the end of the Cold War*. New York: Columbia university press, 2000, 401 p.
- Malinova O.Yu. *Russia and "the West" in the Twentieth Century: the transformation of discourse about collective identity*. Moscow: ROSSPEN, 2009, 190 p. (In Russ.)
- Malinova O.Yu. Obsession with status and resentment: Historical backgrounds of the Russian discursive identity construction. *Communist and post-communist studies*. 2014, Vol. 47, N 4, P. 291–303. DOI: <http://www.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2014.07.001>
- Morozov V. *Russia and the Others: Identity and boundaries of a political community*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2009, 656 p. (In Russ.)
- Morozov V. *Russia's postcolonial identity: A subaltern empire in a Eurocentric world*. London: Palgrave Macmillan, 2015, 209 p.
- Neumann I.B. *Uses of the Other. "The East" in European identity formation*. Manchester: Manchester University Press, 1999, 281 p.
- Neumann I. *Uses of the Other: "The East" in European identity formation*. Moscow: Novoe izdatel'stvo, 2004, 336 p. (In Russ.)
- Neumann I.B. *Russia and the idea of Europe: A study in identity and international relations*. London, New York: Routledge, 2017, 214 p.
- Reshetnikov A. *Chasing greatness: On Russia's discursive interaction with the West over the past millennium*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2023, 384 p. (In Russ.)
- Tsygankov A.P. *Russia and the West: from Alexander to Putin: Honor in international relations*. Cambridge: Cambridge university press, 2012, 317 p.
- Wortman R.S. *Scenarios of power: myth and ceremony in Russian monarchy*. Moscow: OGI, 2002, Vol. 1, 608 p. (In Russ.)
- Wortman R.S. *Scenarios of power: myth and ceremony in Russian monarchy from Peter the Great to the abdication of Nicholas II*. Princeton: Princeton university press, 2006, 512 p.

* **Malinova Olga**, INION (Moscow, Russia), e-mail: omalinova@hse.ru

Литература на русском языке

- Малинова О.Ю.* Россия и «Запад» в XX веке: трансформация дискурса о коллективной идентичности. – М.: РОССПЭН, 2009. – 190 с.
- Морозов В.* Россия и другие: идентичность и границы сообщества. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 656 с.
- Нойманн И.* Использование «Другого»: образы Востока в формировании европейских идентичностей. – М.: Новое издательство, 2004. – 336 с.
- Решетников А.* Погоня за величием: тысячелетний диалог России с Западом / пер. с англ. Ю. Игнатъевой. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – 384 с.
- Уортман Р.С.* Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии. – М.: ОГИ, 2002. – Т. 1. – 608 с.

К.В. ЖИГАДЛО, Е.Р. ЗАБУГА*

**МАРСЕЛЬ ГОШЕ – СОЕДИНЯЯ НЕСОЕДИНИМОЕ:
УНИВЕРСАЛЬНОЕ И КОНТЕКСТУАЛЬНОЕ
В ПОНЯТИЯХ «ЛЕВЫЕ» И «ПРАВЫЕ»**

Рец. на кн.: Гоше М. Правые и левые: история и судьба / М. Гоше; пер. с фр. В. А. Мильчиной. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – 144 с. (Серия «Интеллектуальная история»)

Для цитирования: Жигadlo К.В., Забуга Е.Р. Марсель Гоше – соединяя несоединимое: универсальное и контекстуальное в понятиях «левые» и «правые» (Рецензия) // Политическая наука. – 2025. – № 2. – С. 269–278. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.13>

В недавно опубликованной в России книге «Правые и левые: история и судьбы» исследователя Марселя Гоше предпринята попытка анализа того, каким образом понятия «левые» и «правые» вошли в обиход сначала во Франции, а затем и во всем мире. Главная особенность этих понятий – бесконечная открытость к обогащению в зависимости от конкретного политического контекста. Более того, они позволяют индивиду, находящемуся в контексте современной политики, удовлетворить потребность в идентичности, выбирая одну из противоборствующих сторон. Книга особенно

* **Жигadlo Константин Викторович**, преподаватель Департамента политики и управления, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), e-mail: kzhigadlo@hse.ru; **Забуга Евгений Романович**, приглашенный преподаватель Департамента политики и управления, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), e-mail: ezabuga@hse.ru

интересна тем, что она снабжена дополнением, в котором автор стремится расширить свои выводы, исходя из политического контекста Европы середины 2010-х годов. В рамках рецензии проанализированы три ключевых этапа популяризации этих понятий от Французской революции до наших дней, а также предпринята попытка раскрыть в работе Гоше аспекты преемственности и возобновляемости понятий «левые» и «правые».

Книга французского интеллектуала и историка М. Гоше «Правые и левые: история и судьбы» впервые вышла в свет в 1993 г. Незадолго до этого распад СССР и коллапс коммунистического блока запустил радикальную трансформацию политического пространства. Традиционное разделение на левых и правых, приобретшее массовую популярность в XX в. в результате противостояния коммунистической и капиталистической систем, стало терять свою актуальность в 1990-е годы в связи с ослаблением идеологических конфронтаций в европейской и американской внутривнутриполитических сферах. В это время участились разговоры об устаревшем характере понятий «левые» и «правые» в контексте электоральных процессов, где, в соответствии с теорией ограниченной рациональности, борьба стала выстраиваться вокруг медийного избирателя, который стремится не соотносить свое мировоззрение с конкретной идеологией, а максимизировать выгоду. Кроме того, провозглашенная американским политологом Ф. Фукуямой идея «конца истории», ознаменовавшая новый виток распространения либерально-демократических ценностей в этот период, во многом обнуляла предшествовавшие идеологические баталии по поводу базовых ценностей. Однако усилившаяся в 2000–2010-е годы политической поляризации свидетельствует о реактуализации идеологического противостояния между левыми и правыми. Так, рост националистических и популистских тенденций в ряде государств, отстаивавших необходимость национальной идентичности и традиционной культуры в условиях глобализации и мультикультурализма, свидетельствует как минимум о преждевременности выводов Ф. Фукуямы.

Таким образом, формирование нового политического контекста в конце XX – начале XXI в. поставило перед исследователями задачу переосмысления традиционных подходов к определению политического спектра. В современной политической науке можно выделить два направления в изучении политических размежеваний. Первый – ситуативный подход, в рамках которого размежевание определяется политическим контекстом. Понятия

«левые» и «правые» в этом случае не несут позитивного содержания, а служат для определения того, каким образом происходит поляризация политических сил в конкретных условиях. Главная цель исследователя в рамках данного подхода состоит в том, чтобы максимально точно определить контекст политического размежевания. Второй подход – это попытка определить позитивное содержание понятий «левые» и «правые», найти в каждом из них некую идейную «константу» или ядро. С этой точки зрения в основе разделения лежат устойчивые критерии, поэтому понятия «левое» и «правое» несут в себе не только отпечаток политического контекста, но и постоянное идеологическое содержание [Larousse, 1981]. В целом можно утверждать, что второй подход представляет собой мейнстрим в современной западной политической науке, достаточно привести в пример популярное учебное пособие британского политолога Э. Хейвуда, который описывает размежевания левых и правых на примерах политических партий. Так, согласно приведенной типологии, к устойчивому набору левых ценностей относятся свобода, равенство, братство, права, прогресс, реформы и интернационализм, а к набору правых ценностей – власть, иерархия, порядок, обязанности, традиции, реакционность и национализм (речь идет не о конкретной стране, но об общем контексте) [Heywood, 2013].

Однако ни один из этих подходов не говорит о том, почему именно дихотомия левые / правые завоевала такую популярность не только в западной, но и в мировой политике. Исследование М. Гоше – это попытка понять, каким образом понятия «правые» и «левые» стали играть столь важную роль в мировой истории и ответить на два вопроса: во-первых, сохраняется ли актуальность этого разделения в современном мире, существенно отличающемся от того, в котором оно возникло, и, во-вторых, каким образом термины, связанные с сугубо специфическими чертами истории Франции, сумели войти в мировой язык и стать общими для самых разных политических контекстов (с. 93). В основе исследования лежит большой пласт источников, преимущественно относящихся к политической истории Франции: мемуары, публицистика (выпуски газеты, брошюры). На примере политической истории Франции (период с 1789 до 2017 г.) автор показывает, почему именно понятия «правые» и «левые», а не оппозиция либералы / консерваторы завоевала такую популярность.

Исследование Марселя Гоше можно разделить на три больших хронологических части. *Конец XVIII в. – первая половина XIX в.*

Этому этапу посвящены первая и вторая главы книги (с. 13–37). Впервые понятия «левые» и «правые» были использованы во время заседания Генеральных штатов в 1789 г. (с. 14). Как отмечает Гоше, контекст их употребления был связан с необходимостью определения позиции делегатов касательно совместного заседания трех сословий. Более того, это было не единичное размежевание между депутатами, расположившимися в разных частях зала Учредительного собрания, а депутаты различных созывов, которые регулярно выбирали противоположные стороны помещения, причем часто из нежелания оставаться в меньшинстве или находиться среди тех коллег, чьи взгляды были им неприятны. И раз за разом ситуация складывалась так, что слева садились «самые неистовые сторонники нововведений», а справа – «защитники Старого порядка» (по словам очевидца тех событий фейян Матье Дюма) (с. 20). Уже в конце лета 1789 г. очевидцы отмечали знаменательную роль тех, кто занял места в центре зала: сторонники конституционной монархии, так называемые Беспристрастные, они желали «всего, что происходит, но они хотели бы, чтобы все совершалось медленно и с меньшими потрясениями» (с. 21). Пространственная группировка депутатов по политическим предпочтениям сохранилась и во времена работы революционного Конвента. Традиция возобновилась и после реставрации Бурбонов, а также после установления Второй республики. Во время сессии французского парламента 1819–1820 гг. произошло окончательное закрепление деления на левых и правых, поскольку оно стало систематически упоминаться не только в личных переписках, но и в публицистике, и в прессе (с. 29). При этом важно отметить, что контекстуально данные понятия применялись преимущественно для описания парламентских дискуссий, а не собственной политической позиции конкретного актора. Так, на первом этапе распределение имело, в первую очередь, «географическую» окраску и служило для обозначения позиции акторов в политическом пространстве касательно конкретных проблем. Тогда оно еще не приобрело такой нормативной политической окраски, которая начала проявляться со временем. Однако стоит отметить, что автор с самого начала книги неоднократно упоминает о том, что сложившаяся в революционную эпоху оппозиция левые / правые практически сразу после ее возникновения стала подразумевать активное присутствие третьей стороны – центра, который, с одной стороны, не может существовать сам по себе без «правого» и «левого» полюсов, но, с другой стороны, претендует на преодоление этой оп-

позиции. Последнее свойство удачно выражено в приводимой М. Гоше цитате президента Французской Республики Валери Жискара д'Эстена: «Франция желает, чтобы ею управлял центр» (с. 9).

Тем не менее удобство использования данной дихотомии для обозначения позиции по конкретным проблемам в конкретной стране в конкретную эпоху ничего не говорит о том, почему именно понятия «левые» и «правые» стали столь массово и повсеместно использоваться в политическом лексиконе. *Именно с этим связан второй хронологический этап – середина XIX в. – XX в.* Этому периоду посвящены с третьей по пятую главы книги (стр. 37–93). Введение всеобщего избирательного права и становление массовой политики открыло новую веху в истории политического размежевания. Можно сказать, что человек из простого зрителя сам превращался в политического актора и своего рода аналитика, которому было необходимо формировать свое отношение к происходящему. Политический конфликт создавал предпосылки для воспроизводства разделения, причем чем радикальнее был конфликт, тем более очевидным становилось политическое разделение (с. 33). В условиях такого конфликта представлялось важным сделать выбор, который являлся своего рода актом политической самоидентификации индивида.

Таким образом, использование определений «левые» и «правые» решило сразу несколько проблем в контексте массовой политики, что определило популярность данной дихотомии. Во-первых, она упрощает ориентацию в политическом пространстве для избирателей, что крайне важно в условиях, когда у среднего избирателя нет возможности тратить много времени на изучение политических программ и позиций кандидатов. Во-вторых, в ситуации политического конфликта разделение позволяет консолидироваться с одним из противоборствующих лагерей, что хорошо заметно на примере консолидации правых и левых в период противостояния СССР и США (с. 49). В-третьих, она позволяет идентифицировать себя (или, иначе говоря, закрыть свою потребность в идентичности) на уровне идейного спектра без формальной принадлежности к конкретной политической силе (политической партии или движению).

Третий хронологический этап посвящен политическому размежеванию в новейшее время: *конец XX в. – наши дни*. Этот этап находит отражение в шестой главе, а также в заключении и в послесловии книги (с. 93–137). Формирование индустриального общества привело к изменению классического для XIX в. разделе-

ния. Радикальная трансформация политического пространства коснулась как левых, так и правых. Для левых эта трансформация оказалась связана с принятием невозможности полного освобождения индивида через построение бесклассового равного общества, которое было бы способно положить конец отчуждению труда. Тогда как для правых причиной трансформации стало падение главной угрозы в виде СССР, который «угрожал» свободному рынку и демократическим ценностям, что привело к утере объединяющего внешнего фактора (с. 112–113).

В такой ситуации мы снова возвращаемся к вопросу о смысле политического разделения и к поиску оптимального подхода к традиционной дихотомии. Постепенное укоренение разделения на левых и правых стало возможно с рационализацией политики. Современные общества перестают восприниматься как единое органическое целое, теперь это совокупность индивидов (или граждан), и в таких условиях осмысление нации как органического недифференцированного целого – это попытка навязывания иллюзии единства. В условиях политической эмансипации индивид должен определиться со своими предпочтениями, посмотреть на себя через дихотомию левые / правые. Такой выбор является, по сути, актом субъективации (неважно, политика, активиста или просто избирателя) (с. 103). Необходимость выбора в условиях рационализации политики напрямую связана с запросом на идентичность. Это особенно актуально в ситуации социального конфликта, что определяет популярность такого разделения: чем существеннее складывающаяся поляризация, тем выше необходимость объединения людей со схожими взглядами. Использование пары левые / правые позволяет переосмыслить требования единства политического тела нации как совокупности индивидов. Так, М. Гоше отмечает, что пара правые / левые позволяет мыслить нацию как единство противоположностей: «Дело в том, что благодаря другому аспекту телесности, каким является разделение тела на две симметричные половины, она позволяла провести символическую редукцию социального разлада к той дуальной неделимости, которая характеризует нашу индивидуальность» (с. 106). Эти идеи М. Гоше разделяются и другим философом, исследовавшим дихотомию правые / левые – итальянцу Н. Боббио. При этом М. Гоше в своей работе ссылается на итальянского политолога, критикуя его попытку четко определить смысловое ядро понятий, составляющих эту пару, в применении к политическим партиям: Н. Боббио предлагал рассматривать правых как условную «партию свободы», а

левых как условную «партию равенства» [Bobbio, 1996], но М. Гоше считает, что в то же самое время правых можно считать партией власти, а левых – партией, выступающей за индивидуальную эмансипацию и против социального принуждения. Важно отметить, что под партией власти в контексте рассуждений М. Гоше имеется в виду не партия, которая является лидирующей в данный момент времени, а партия, которая в принципе стремится поддерживать текущий *status quo*, отражая взгляды господствующего класса (в противовес левым ценностям социального равенства и индивидуализма). Схожую точку зрения, согласно которой правая идея трактуется как выражение интересов элиты или определенной властной группы, а левая – как оппозиция власти, отрицание легитимности существующего порядка и предложение политической альтернативы, востребованной низшими классами, в 2010-е годы разделяли и некоторые российские политологи [Афанасьев, 2011].

В заключительной части монографии М. Гоше содержатся интересные предпосылки для дальнейших исследований правого спектра. Автор вновь обращается к вопросу о том, могли ли перипетии французской истории выявить универсальное измерение современного политического опыта. М. Гоше отказывается от категорических выводов о том, как именно оппозиция правые / левые стала актуальной для других государств (например, Великобритании), отмечая, что для ответа на этот вопрос необходимо написать отдельную книгу (и, по-видимому, предлагая заняться этим уже другим исследователям). Вместо этого он выдвигает двойную гипотезу о причинах всемирного распространения этой оппозиции. Автор видит первую причину в том, что такая оппозиция позволяет акторам телесно идентифицировать себя с той общностью, к которой они принадлежат при этом сохраняя возможность выбора определенной стороны. Это становится особенно важным в условиях современного общества, которое, в отличие от своих предшествующих форм, больше не воспринимает себя как единое тело, что приводит к утрате органической символики, характерной для прошлых эпох. Вторая причина состоит в том, что любая политическая сила неизбежно сталкивается с внутренними противоречиями относительно того, как именно эти права следует обеспечивать. Деление на левых и правых позволяет «приглушить» эти противоречия внутри лагерей, открывая возможность для консолидации. И на пересечении этих двух тенденций – потребности индивидов в том, чтобы представлять собой образ социального, и возможности воплощать противоречия по поводу базовых для все-

го общества ценностей – располагается, согласно автору, глубинная причина популярности оппозиции левые / правые (с. 102).

Стоит отметить, что сформулированная автором гипотеза довольно громоздка; трудно представить, как она может быть проверена эмпирическим путем. В этой связи можно утверждать, что в работе М. Гоше его исследовательские тезисы все же недостаточно аргументированы, так как они не могут быть полноценно отнесены к каким-либо другим контекстам, кроме французского. Также остается непонятным, каким образом внутри каждого из полюсов этой оппозиции сформировались отдельные политические спектры. Так, например, на тот факт, что между различными левыми партиями никогда не было глубокого единства и что левые остаются левыми даже когда перестают быть оппозицией и становятся правящей партией, указывал еще в 1955 г. в своей программной работе «Опиум интеллектуалов» другой известный французский мыслитель Р. Арон [Арон, 2021]. То же самое применимо и к правым, и нельзя сказать, что с годами ситуация становится более ясной: почему, например, к правым могут относить себя одновременно либертарианцы, выступающие против государственной власти как таковой, и монархисты – приверженцы государственной власти в ее наиболее классической форме? Книга М. Гоше не дает ответов на эти вопросы ни применительно к французскому контексту, ни к мировому.

Тем не менее авторская характеристика оппозиции «левые / правые», представленная в конце шестой главы, кажется удачной: дихотомия «левые / правые» описывается как когнитивный инструмент, который воплощает символическую взаимосвязь индивидуального и коллективного и помогает примириться с конфликтным состоянием, навязываемым дуалистической структурой наших обществ (с. 117). Само это конфликтное состояние, исходя из всей предшествующей логики исторического описания М. Гоше, обусловлено разными онтологическими взглядами на природу человека и на то, какие условия лучше ей соответствуют: консервация наработанных порядков или постоянное движение вперед к прогрессу во всех сферах. Чуть раньше в тексте автор, ссылаясь на классическую работу П.-Ж. Прудона, сравнивает дихотомию правых и левых с борьбой между партией прошлого и партией будущего, а главное различие между ними определяет как раздел между любовью к устоявшейся традиции и надеждой на новое (с. 100). Такое обобщение видится убедительным, поскольку современный контекст политических размежеваний как минимум в странах

Европы и США, свидетельствует о наличии определенного стереотипа, в соответствии с которым левые всегда выступают за прогресс, а правые, условно говоря, – за возврат к прошлому.

Нужно отдать должное М. Гоше: несмотря на некоторую ограниченность, его работа хорошо раскрывает причины того, почему эта упрощенная бинарная дихотомия в принципе могла прижиться в любом политическом контексте. Способность двух простых понятий, относящихся одновременно к человеческой телесности и физическому пространству, а также помогающих гражданам современных государств удовлетворять когнитивную потребность в осознанном выборе политической позиции (с. 139), делает их гибкими и способными к обогащению. Это подтверждают разнообразные примеры из разных политических и временных контекстов. Такая гибкость позволяет каждый раз переосмысливать социальный конфликт, совмещая в себе как категорию возобновляемости этого разделения в политической истории, так и смысловую (сущностную) преемственность этих понятий в конъюнктуре. Поиск генезиса нормативного содержания этой дихотомии каждый раз подталкивает исследователей изменять и дорабатывать свои классификации, стремясь уловить содержание текущего политического момента. В частности, речь идет о Диаграмме Нолана, введенной американским политологом-либертарианцем Д. Ноланом в 1969 г. и представляющей собой тригонометр, в котором к левому и правому полюсам идеологических координат добавляются «либертарный» и «авторитарный» верх и низ. Также можно вспомнить предложенную российским политологом Б.Г. Капустиным в 1996 г. типологию идеологических парадигм в электоральной сфере Российской Федерации того времени, включавшую в себя такие четыре парадигмы, как «демократическая правая» (ДП), «авторитарная правая» (АП), «демократическая левая» (ДЛ) и «авторитарная левая» (АЛ) [Капустин, 2000]. Эти примеры помещают оппозицию правые / левые в новые, более сложные политические контексты XX в., чем тот, в котором она зародилась во Франции в XVIII в. Опыт последних лет, отмеченный существенным реваншем правых (республиканских) сил в США, представители которых, критикуя своих оппонентов-демократов, непременно называют их левыми, лишний раз свидетельствует о том, что актуальность этой некогда локальной и ситуативной оппозиции, на целые столетия ставшей общемировым политическим трендом, до сих пор не исчерпана. Однако ключевой вопрос в дискуссии о политическом размежевании остается прежним: можем ли мы приблизиться к

смысловому ядру этих понятий, найти *modus operandi* и поставить точку в этих дискуссиях, или же мы обречены и дальше ставить многозначительное многоточие в ожидании продолжения развития исторического процесса?

K.V. Zhigadlo, E.R. Zabuga*
**Marcel Gauchet – connecting the unconnected:
universal and contextual in terms of “left” and “right”
(Review)**

For citation: Zhigadlo K.V., Zabuga E.R. Marcel Gauchet – connecting the unconnected: universal and contextual in terms of “left” and “right”. *Political science (RU)*. 2025, N 2, P. 269–278. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2025.02.13>

References

- Aron R. *Opium of intellectuals*. Moscow: AST Publishing House, 2021, 448 p. (In Russ.)
- Afanas'yev M.N. Typology of Ideologies: The Right-wing Idea. *Social sciences and modernity*. 2011, N 4, P. 29–43. (In Russ.)
- Bobbio N. *Left and right: The significance of a political distinction*. Cambridge: Polity Press, 1996, 124 p.
- Gauchet M. *Right and left: History and fate*. M.: New Literary Review, 2024, 144 p. (In Russ.)
- Heywood A. *Politics (4th ed.)*. New York: Palgrave Macmillan, 2013, 496 p.
- Kapustin B.G. *Ideology and politics in post-communist Russia*. Moscow: URSS Editorial, 2000, 136 p. (In Russ.)
- Laponce J. A. *Left and right. The topography of political perceptions*. Toronto: University of Toronto Press, 1981, 292 p.

Литература на русском языке

- Арон Р. Опиум интеллектуалов / пер. с фр. Л. И. Боровиковой. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 448 с.
- Афанасьев М.Н. Типология идеологий: Правая идея // Общественные науки и современность. – 2011. – № 4. – С. 29–43.
- Гоше М. Правые и левые: история и судьба / пер. с фр. В.А. Мильчиной. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – 144 с.
- Капустин Б.Г. Идеология и политика в посткоммунистической России. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 136 с.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА

2025 № 2

В журнале представлены результаты научных исследований, в том числе дискуссионного характера, поэтому их содержание не обязательно отражает точку зрения Учредителя и Редакции.

**Адрес редколлегии:
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 51/21, ИНИОН РАН,
Отдел политической науки,
e-mail: politnauka1997@gmail.com**

Оформление обложки С.И. Евстигнеев
Техническое редактирование и
компьютерная верстка К.Л. Синякова
Корректор М.П. Крыжановская

Подписано к печати 27 /V – 2025 г.
Формат 60 х84/16 Бум. офсетная № 1
Усл. печ. л. 16,3 Уч.-изд. л. 15,6
Тираж 800 экз.

**Институт научной информации
по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН),
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, 117418**

**Отдел печати и распространения изданий
Тел.: +7(925) 517-36-91
e-mail: izdat@inion.ru**

Отпечатано в типографии
АО «Т8 Издательские Технологии»,
109316, г. Москва, Волгоградский проспект,
д. 42, корп. 5, к. 6